ВРЕМЯ И МЫ
130
1995

СТОЛИЧНЫЕ ШТУЧКИ

В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ: МОСКОВСКИЕ ИГРЫ

ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

**Выходит один раз
в три месяца**

130
1995

**НЬЮ-ЙОРК - МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» - 1995**

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ЛЕВ АННИНСКИЙ **ГРИГОРИЙ ПОЛЯК**
ВАГРИЧ БАХЧАНЯН **ЛЕВ НАВРОЗОВ**
ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ **ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН**
ДЖОН ГЛЭД **ИЛЬЯ СУСЛОВ**
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ **МОРИС ФРИДБЕРГ**
ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ **ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ**
ЕФИМ ПИЩАНСКИЙ **ЕФИМ ЭТКИНД** *(зам. гл.редактора)*
ЯСЕН ЗАСУРСКИЙ

Главная редакция журнала "Время и мы"
409 Highwood Ave, Leonia,
New Jersey 07605, USA
Тел.: (201)592-61-55
Факс: (201)592-69-58

Московский центр журнала "Время и мы"
Заведующий центром Лев Аннинский
Адрес центра: 117415 Москва,
ул. Удальцова, 16/19.
Тел.: 131-62-45

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Пищанский
Адрес отделения: Neve-Yakob Reuven
Gamson Str., 32/3, JERUSALEM, 97350

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu,
92800 PUTEAUX, FRANCE

Представитель журнала в Берлине
Manama Shmargon, Shlosstr 30/30
1000 Berlin 19

OCR и вычитка — Давид Титиевский, октябрь 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА
Дина РУБИНА
Глаза героя крупным планом 5
Ирина ГРЭМ
Два рассказа 70

ПОЭЗИЯ
Наум БАСОВСКИЙ
Вековая дорога 112
Элеонора ИОФФЕ-КЕМППАЙНЕН
Из Петербурга в Хельсинки 122
Иван АХМЕТЬЕВ
Чтобы думать, нужно время 128

РОССИЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ
В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
Московские игры 134
Дмитрий БЫКОВ
Усталость 147

ЛИТЕРАТУРА И КРИТИКА
Иосиф КОСИНСКИЙ
«Западнизм» Александра Зиновьева 162
Григорий ПОМЕРАНЦ
Катон на стороне побежденных 179

РЕЛИГИЯ. ФИЛОСОФИЯ
Ричард ХЭЗЛЕТТ
Исповедь вероотступника 193

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
Владимир ВЕЙДЛЕ
Люди и время 212

КОРОТКО О РАЗНОМ
Ирина МУРАВЬЕВА
Памяти поэта 270
Лев АННИНСКИЙ
Умом Россию не понять 275

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ
Пассажир Аэрофлота в воздухе и на суше 283

ВЕРНИСАЖ «ВРЕМЯ И МЫ»
В. ПЕТРОВСКИЙ
О природе, древесной коре и силе искусства 287

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 296

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции

© "Время и мы"
ISSN 0737-7061

Дина РУБИНА

ГЛАЗА ГЕРОЯ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Своего ангела-хранителя я представляю в образе лагерного охранника — плешивого, с мутными испитыми глазками, в толстых, ватных штанах, пропахших табаком и дезинфекцией вокзальных туалетов.

Мой ангел-хранитель охраняет меня без особого рвения. По должности, согласно инструкции... Признаться, не так много со мной возни у этой конвойной хари. Но при попытке к бегству из зоны, именуемой «жизнью», мой ангел-хранитель хватает меня за шиворот и тащит по жизненному этапу, выкручивая руки и давая пинков. И это лучшее, что он может сделать.

Придя в себя, я обнаруживаю, как правило, что пейзаж вокруг прекрасен, что мне еще нет двадцати, двадцати шести, тридцати и так далее.

Вот и сейчас я гляжу из своего окна на склон Масличной горы, неровно поросший очень старым садом и похожий на

свалявшийся бок овцы, и думаю о том, что мне еще нет сорока, и жизнь бесконечна...

* * *

А сейчас я расскажу, как озвучивают фильм.

Несколько кадров отснятого материала склеивают в кольцо и пускают на рабочий экран.

В небольшой студии сидят:

Режиссер, он же Творец, он же Соавтор;

укладчица со студии Горького, приглашенная для немыслимого дела — при живом авторе сценария сочинять диалоги под немую артикуляцию актеров, не учивших ролей и потому на съемках моловших галиматью;

второй режиссер фильма — милейший человек, так и не удосужившийся прочесть сценарий, как-то руки не дошли;

оператор в белой майке с надписью по-английски: «Я устала от мужчин»;

художник фильма, если он не настолько пьян, чтобы валяться в номере гостиницы;

редактор фильма, в свое время уже изгадивший сценарий, а сейчас вставляющий идиотские замечания;

монтажер;

пара славиков-ассистентов неопределенных занятий, крутившихся на съемках под ногами;

два приблудных столичных актера, нагрянувших в провинцию — намолотить сотен пять;

прочие случайные лица...

Позади всех, бессловесный и подавленный, сидит автор сценария, сделанного им по некогда написанной им же повести. Он уже не пытается отождествить физиономию на экране с образом героя его произведения и только беззвучно твердит себе, что он не автор, а дерьмо собачье, тряпка, о которую все вытирают ноги, и что пора встать наконец, и объявить, что он — он, Автор! — запрещает фильм своим Авторским Правом. И посмотреть — как запляшет вся эта камарилья... Но автор не встает и ничего не объявляет, потому что уже вступил в жилищный кооператив и через месяц должен вносить пай за трехкомнатную квартиру...

Так вот, не знаю — почему, но лучше всего на беззвучную

артикуляцию актера ложится русский мат. Любое матерное ругательство как влитое укладывается в немое движение губ. Это проверено практикой. Вам подтвердит это любой знакомый киноактер.

Боюсь, читатель решит, что я пишу юмористический рассказ. А между тем, я давно уже не способна на то веселое напряжение души, которое и есть — чувство юмора и напоминает усилия гребца, идущего в канаке вверх по реке... В последние годы я все чаще отдаюсь течению жизни, я сушу весла и просто глазею по сторонам. Там, на берегах этой речки, все еще немало любопытного.

Собственно, для того, чтобы рассказать, как озвучивают фильм, я должна рассказать сначала, как его снимают, и даже, как пишут сценарий. Не потому, что это интересно или необходимо знать, а потому что одно влечет за собой другое.

Пожалуй, даже, я расскажу вообще все с самого начала.

* * *

У меня когда-то был приятель, милый порывистый мальчик. Он сочинял песни и исполнял их под гитару затаенно-мужественным баритоном. Он и сегодня жив-здоров, но сейчас он адвокат, а это, согласитесь, уже совсем другой образ. Кроме того, он уехал в другую страну. Вообще-то я тоже уехала в другую страну. Откровенно говоря, мы с ним опять живем в одной стране, но это уже другая страна и другая жизнь. И он адвокат, солидный человек, чего, собственно, и добивалась его мама.

А тогда, лет пятнадцать назад, она добилась, чтобы сын поступил на юридический. Невероятно одаренный мальчик, он поступил, чтоб она отстала, но продолжал сочинять стихи, писать на них музыку и исполнять эти песни под гитару на разных слетах и фестивалях в горах Чимгана. Все помнят это обаятельное время: возьмемся за руки друзья.

Одну из песен он по дружбе посвятил мне. Начиналась она так: «Вот на дороге черный бык, и вот дорога на Мадрид. Как на дороге тяжело взлетает пыль из-под копыт». Я так

подробно рассказываю, чтобы объяснить, что это был за мальчик, хотя в конечном итоге его мама оказалась права.

Короче, когда он как-то незаметно защитил диплом юриста, продолжая петь, искриться и шумно дышать наполненными горным озоном легкими, — тут-то и выяснилось, что распределили его в одно из районных отделений милиции города Ташкента — в криминальном отношении не самого благополучного города на свете. Тепло в Ташкенте, очень теплый климат. С февраля к нам сползалась уголовная шпана со всей простертой в холодах страны. Так вот — Саша... Да, его звали Саша, впрочем, это неважно. С возрастом я устаю придумывать даже имена. Он очнулся от песен следователем по уголовным делам отделения милиции Кировского района города Ташкента: ночные дежурства с выездами на место происшествия, выстрелы, кровь на стенах, допросы, свидетельские показания, папки, скоросшиватели, вещественные доказательства, опознания личности убитой...

Месяца на два он вовсе пропал из моей жизни. Когда же появился вновь, я обнаружила гибрид бардовской песни с уголовной феней. В своем следовательском кейсе он таскал подсудимым в тюрягу «Беломор». Как всякий артистически одаренный человек, он был отчаянным брехуном.

Я уже не помню ничего из наших экзотических прогулок по зданию тюрьмы. Помню только во внутреннем дворе тюрьмы старую белую клячу, запряженную в телегу, на которой стояли две бочки с квашеной капустой, и — высокий сильный голос, вначале даже показавшийся мне женским — из зарешеченного окошка на третьем этаже:

Ты начальничек, винтик-чайничек,
Отпусти на во-олю...
Видно скурвилась, видно ссучилась
Милая зазно-оба...

Разумеется, я написала про все это повесть. Друзья читали и говорили: «Не фонтан, старуха, но очень свежо!»

В повести действовал следователь Саша (я и тогда поленилась придумать имя), порывистый мальчик с интеллигентной растерянной улыбкой; его друг и сослуживец, загнанный в любовный треугольник; еврейская мама рас-

палась на бабушку и дедушку, папу я ликвидировала. Ну, и далее по маршруту со всеми остановками: любовь, смерть друга, забавные и острые диалоги с уголовниками, инфаркт деда... Словом, свежо.

Повесть была напечатана в популярном московском журнале, предварительно пройдя санобработку у двух редакторов. В те годы нельзя было писать о: наркоманах, венерических заболеваниях, проституции, взятках, о мордобоях и о чем-то еще. Не помню, что поначалу в повести было, а потом сплыло, ибо мое авторское легкомыслие в ту пору могло соперничать лишь с авторским же апломбом.

Нельзя было почему-то указывать местоположение тюрем, звания, в которых пребывали герои, и много чего еще: для этого по редакции слонялась специальная «проверяльщица», так называлась эта должность, тихая старуха-проверяльщица, которая стерегла мое появление в редакции, зазывала меня в уголок и говорила заботливым голосом:

— У **н а с** там накладка на шестьдесят четвертой странице... Там взяли фарцовщика с пакетиком анаши в носке на правой ноге. Это не пройдет...

— А на левой пройдет?

— Ни на какой не пройдет, — добросовестно подумав, отвечала она и вдруг озарялась вдохновенной улыбкой:

— А знаете, не переписать ли **н а м** этот эпизод вообще? Пусть он просто фарцует носками. Это пройдет... Словом, как раз тогда, когда повесть следовало отправить в корзину, она появилась на страницах журнала.

* * *

Недели через три мне позвонили.

— Ле-о, Анжелла Фаттахова, — проговорили в трубке домашним, на зевочке, голосом. — Мне запускаться надо, да... Але-ле?

— Я вас слушаю.

— Я запускаюсь по плану... Роюсь тут в библиотеке, на студии... Ну и никто меня не удовлетворяет... — она говорила странно мельтешащим говорком, рассеянно — не то сейчас проснулась, не то, сидя в компании, отвлеклась на чью-то реплику. — Але-у?

— Я вас слушаю, — повторила я, стараясь придать голосу фундаментальную внятность, как бы намагничивая ее внимание. Так крепкими тычками подправляют внимание пьяного при выяснении его домашнего адреса.

— Ну, ты ведь мои фильмы знаешь?

Я запнулась — и от панибратского «ты», неожиданно подтвердившего образ пьяного, вспоминающего свой адрес, и оттого, что впервые слышала это имя. Впрочем, я никогда не была своим человеком на «Узбекфильме».

— Смотрю, журнальчик на диване валяется, мой ассистент читал... И фотка удачная. Что за краля, думаю? Мне ж запускаться надо по плану, понимаешь, а никто не удовлетворяет... Симпатично пишешь... Как-то... свежо... Поговорим, а?

...Анжелка? — задумчиво переспросил знакомый поэт-сценарист. — Ну, как тебе сказать... Она не бездарна, нет... Глупа, конечно, как Али-баба и сорок разбойников, но... знаешь, у нее есть такой прием: камера наезжает... И Глаза героя крупным планом. Штука беспроигрышная, в смысле воздействия на рядового зрителя, если умело наехать... Это все равно, что на сирот-дебилов просить: только последняя сука не подаст...

Мы сидели на террасе недавно выстроенного кафе «Голубые купола». Это было странное сооружение, натужный плод современных архитектурных веяний с традиционно восточными элементами, например, резьбой по ганчу. Венчали здание несколько и вправду голубых куполов, глянцево блестевших под солнцем. Мы тянули пиво из кружек, сверху поглядывая на мелкий прямоугольный водоем, вымощенный голубой керамической плиткой, будто в воду опрокинули ведро синьки. По углам водоема вяло плевались четыре фонтанчика.

Мой знакомый поэт писал сценарии мультфильмов по узбекским народным сказкам. Сказками, как известно, Восток исстари кишит, тут только успевай молотить. Он и молотил: даже будучи сильно пьющим человеком, мой знакомый так и не ухитрился ни разу пропиться до штанов. Окружающим это представлялось хоть и небольшим, хоть и бытовым, но все-таки чудом. Однако факт оставался фактом: человек пил на свои. То есть, в известном смысле, жил в соответствующем своему занятию сказочном пространстве...

— К тому же она — фигура номенклатурная, единственная женщина-режисссер-узбечка. Правда, она татарка... Ты, может, видела ее ленту — «Можжевельник цветет в горах»?

— А он разве цветет? — неуверенно спросила я.

— А тебя это гребет? — уверенно спросил он. — Так вот, там часа полтора героиня мудохается по горам с каким-то пасечником. И камера наезжает, наезжает... Глаза героини крупным планом, выкатывается невинная подростковая слеза... Что ты думаешь: поощрительный приз на всесоюзном фестивале!

Он заказал себе еще пива, и я, опасаясь, что минут через двадцать он станет совсем непригоден к разговору, поспешила спросить о главном:

— А сколько платят за сценарий?

— Зависит от категории фильма. Штук шесть.

— Ско-олько?

— Да-да, — кивнул он с выражением скромного удовольствия, — из всех искусств для нас важнейшим. Кстати, тебе известен контекст этой знаменитой ленинской директивы? «Поскольку мы народ по преимуществу неграмотный, из всех искусств...», и далее по тексту. Так что, дерзай. Заработаешь, купишь квартиру, выберешься из своей собачьей конуры, пригласишь меня на новоселье и я — чем черт не шутит — может я тебя... и трахну от щедрот душевных.

По этой фразе я поняла, что мой знакомый поэт изрядно уже набрался; обычно с женщинами он держался корректно и даже скованно.

Но что касается квартирного вопроса, тут он попал в самую болезненную точку. Всю жизнь я жила в стесненных жилищных обстоятельствах. В детстве спала на раскладушке в мастерской отца, среди расставленных повсюду холстов. Один из кошмаров моего детства: по ночам на меня частенько падал заказанный отцу очередным совхозом портрет Карла Маркса, неосторожно задетый во сне моей рукой или ногой.

Консультацию по вопросам кинематографии можно было считать исчерпанной. Но в тот момент, когда я решила проститься, мой знакомый поэт-сценарист сказал:

— Да, вот еще: будь готова к тому, что Анжелка грабанет половину гонорара. В соавторы воткнется.

Тут я удивилась еще больше. И не то, чтобы мне в то время совсем было мало лет, но специальность преподавателя музыки, полученная после окончания консерватории, в те годы еще оберегала мое литературное целомудрие.

— Глупости! — сказала я решительно. — Повесть написана и опубликована, сценарий я сотворю в соответствии…

— Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел… — забормотал мой знакомый, — и от тебя лиса…

Он поднял на меня глаза, по цвету они удивительно сочетались с пивом в кружке. Ясно было, что он останется сидеть тут до закрытия. Я преувеличенно дружелюбно попрощалась. Я всегда преувеличенно дружелюбно разговариваю с пьяным, тем самым предупреждая и заранее лишая основания классический вопрос русского поэта-пьяницы. Впрочем, как и большинство русских поэтов-пьяниц, мой знакомый был евреем.

* * *

Я поднялась в лифте на пятый этаж огромного узбекфильмовского дома и, побродив по опоясывающей его внешней галерее, отыскала нужную квартиру.

За дверью кричали. Надрывно, нагло и одновременно беспомощно.

— Совсем охерела, совсем?!! — орал молодой, срывающийся голос. — Сказал — поеду, значит — поеду!! Да пошла ты!!…

Я еще раз сверила номер на двери с записанным на бумажке и поняла, что надо уходить.

В эту самую минуту дверь изнутри рванули — я успела отскочить в сторону — мимо меня, скалясь, пронесся мальчик лет девятнадцати и побежал по галерее к лестнице, на ходу подпрыгивая и лягая стены, как на тренировках в студии каратэ.

— Маратик! Свола-ачь!! — крикнули из глубины квартиры.

Оттуда на галерею выскочила маленькая грациозная женщина в джинсах, из тех, кого называют «огонь-девка», годам, эдак, к пятидесяти. Перегнувшись через перила, она крикнула во двор:

— Маратик, попробуй только взять машину, мало бился, сво-ла-ачь?!

И вглядываясь в спину удаляющегося по двору молодого человека, сказала:

— А ты входи, входи… Чего ты такая… скованная?

Так началась эта киноэпопея.

Я и раньше подозревала, что в нашем кинематографе не боги горшки обжигают. Но чтоб настолько — не боги!

Раз в два-три дня я появлялась у Анжеллы, «работать над сценарием». То есть, я зачитывала ей то, что написала за это время. Из архива киностудии Анжелла приволокла два литературных сценария, по которым я должна была насобачиться в этом деле: «Али-баба и сорок разбойников» и «Хамза» — об основоположнике советской узбекской культуры Хамзе Хаким-заде Ниязи. Собственно, это был один длинный тягучий эпос, в котором фигурировали симпатичные, худые, честные бедняки; алчные жирные баи, жестокие разбойники; трепетные, как лань, девушки в паранджах и шальварах; а также ослы, скакуны, вязанки дров и полосатые узбекские халаты.

Если не ошибаюсь, главные роли в обоих фильмах играл один и тот же известный узбекский актер. Так что образы Али-бабы и основоположника узбекской советской культуры слились у меня в немолодого одутловатого алкаша в лаковых туфлях.

Анжелла оказалась человеком в высшей степени прямым, то есть принадлежала к тому именно типу людей, который я ненавижу всеми фибрами души.

Этот тип людей сопровождает меня вдоль всей моей жизни. Я говорю — вдоль, потому что с детства стараюсь не пересекаться с этими людьми. Подсознательно (а сейчас уже совершенно сознательно) я уходила и ухожу от малейшего соприкосновения с ними.

Я определяю их с полуфразы по интонации, по манере

грубо вламываться в область неназываемого (на которую имеет право только настоящая литература) — поскольку всю жизнь я занимаюсь проклятым и сладостным этим ремеслом, то в людях типа Анжеллы я чувствую конкурентов, нахрапистых и бездарных.

Был у нее один тяжелейший порок, за который, по моему выстраданному убеждению, следует удалять особь из общества, как овцу выбраковывают из стада: она говорила то, что думала. И сказав, обычно приходила от произнесенного в восторг и изумление.

В этой огромной пятикомнатной квартире они жили втроем. И если мать с сыном связывали на редкость тугие, намертво завязанные узлами колючей проволоки отношения, то отец, на взгляд постороннего, казался настолько случайным человеком в доме, что впервые попавшие сюда люди принимали его за такого же гостя.

Сейчас, как ни силюсь, не могу припомнить, был ли в этих хоромах у него угол. Между тем прекрасно помню «кабинет» Анжеллы, комнату Маратика, всю обклеенную фотообоями: джунгли, обезьяны, застывшие на пальмах с кокосовым орехом в лапах, серебряные водопады, оцепеневшие на стенах. Поверх этого африканского великолепия наклеены были метровые фотографии каких-то знаменитых каратистов, схваченных фотокамерой в мгновение прыжка, с летящей железномускульной ногой, рассекающей воздух, как весло воду. А вот комнату Мирзы Адыловича, профессора, талантливого, как говорили, ученого, не помню, хоть убейте. Правда, в спальне стояла громадная, как палуба, супружеская кровать, но боюсь — хоть и не мое это дело — профессору и там негде был голову приклонить. Впрочем, на то была причина — о, отнюдь не амурного свойства! Скорее, наоборот.

Впервые я увидела Мирзу в тот день, когда пришла читать Анжелле начальные страницы сценария. Часам к пяти в дверь позвонили тремя короткими вопрошающими звонками. Анжелла пошла открывать и спустя минуту появилась с высоким, очень худым, неуловимо элегантным человеком лет пятидесяти. Он напоминал какого-то известного индийского киноактера — худощавым смуглым лицом, на котором неуместными и неожиданными казались полные, женственного рисунка губы.

— Это Мирза, — сказала Анжелла, интонационно отсекая от нас двоих присутствие этого человека. — Ну, читай дальше.

— Очень приятно, — сказал Мирза, протягивая мне странно горячую, словно бы температурную руку. — Творите, значит? Ну, творите, творите.

Я ощутила запах спиртного, перебитый запахом ароматизированной жвачки, которую он как-то слишком оживленно для своего почтенного возраста жевал.

— Не мешай нам! — крикнула Анжелла. — Пошуруй в холодильнике насчет ужина.

— Сию минутку! — с готовностью, возбужденно-весело отозвался Мирза. — Сей момент!

Он был основательно пьян. И, судя по всему, не слишком удивил этим Анжеллу. Тогда я поняла, кто он.

И правда, он очень быстро приготовил ужин, и когда позвал нас на лоджию есть — там стоял большой обеденный стол — оказалось, что все уже накрыто, и умело, даже изысканно, с салфетками, приборами, соусами в невиданных мною номенклатурных баночках.

Когда мы пообедали и вернулись в гостиную, Мирза, надев фартук, стал мыть посуду, хотя, на мой взгляд, ему бы следовало принять горячий душ и идти спать. Но он не ушел спать, а все возился на кухне, гремел кастрюлями. И хотя он находился в собственном доме, меня не покидало ощущение, что этому, почему-то с первой минуты безотчетно симпатичному мне человеку, некуда идти.

Час спустя явился Маратик, отец и его стал кормить. Я слышала доносящиеся из кухни голоса. Агрессивный — Маратика и мягкий, виновато-веселый голос отца.

— Дать?! — угрожающе спрашивал сын. — Дать, я спрашиваю?!.. Допросишься!..

Помнится, на этом, вот, эпизоде я попрощалась и ушла.

* * *

Литературный сценарий катился к финалу легко и места-

ми даже вдохновенно. Я отсекла все пейзажи, а вместо описаний душевного состояния героев писала в скобках «на фоне тревожной музыки».

За приличную взятку, кажется рублей в шестьсот, мама воткнула меня в жилищный кооператив, в очередь на двухкомнатную квартиру, и мы ходили смотреть место, где по плану должен был строиться «мой» дом.

В течение года, пока писался сценарий, снимался и озвучивался фильм, место будущего строительства несколько раз менялось, а мы с мамой и сыном все ходили и ходили «смотреть» разные пустыри с помойками.

— Место удачное, — веско говорила мама, — видишь, остановка близко, школа недалеко и тринадцатым полчаса до Алайского рынка.

Мама с энтузиазмом одобряла все пустыри, и действительно, у каждого было какое-нибудь свое достоинство. Думаю, в глубине души маме необходимо было оправдать нашу взятку, утвердить ее доброкачественность в высшем смысле, нарастить на нее некий духовный процент.

Когда дом уже построили и мы даже врезали в дверь моей квартиры замок, я вдруг уехала жить в Москву. Квартиру сдали в кооператив, взятка пропала. Мысль об этом просто убивала маму. Она часто вспоминала этот расход, как старый нэпман свою колбасную лавку, экспроприированную молодчиками в кожаных тужурках.

Потом я и вовсе уехала из России, что окончательно обесценило ту давнюю взятку за несбывшуюся квартиру, буквально превратило ее в ничто... так орел, поднявшийся в небо, уменьшается до крошечной точки, а потом истаивает совсем. И хотя мама уехала вслед за мной, и другие денежные купюры осеняют ее старость, нет-нет да вспоминает она ту упорхнувшую птицу. А учитывая, что, по всей вероятности, я когда-нибудь умру, Боже мой, Боже, — какой грустной и бесполезной штукой представляются наши взятки, как денежные, так и все иные...

Сценарий продвигался к концу, и по моим расчетам,

должна была уже возникнуть где-то поблизости фигура верноподданного Еврея. Я, озираясь, вглядывалась в окружающих, тревожно прислушивалась к разговорам — нет, вокруг было спокойно и даже благостно! Наконеця дописала последнюю сцену, сцену любви (конечно же, в скобках написала: «титры на фоне волнующей мелодии») и уже на следующее утро с выражением читала эту стряпню Анжелле. Иногда по ходу чтения она прерывала меня, как и положено соавтору и режиссеру.

— Видишь, морщины у меня вот здесь, под глазами? — спрашивала она, всматриваясь в зеркальце со свежим детским любопытством. — Знаешь, почему? Я сплю лицом в подушку.

Я смиренно ждала, когда можно будет возобновить чтение.

— Ты никогда не спи лицом в подушку! — с каким-то участием говорила она.

Хорошо, — отвечала я покладисто. И продолжала читать. Выслушав последние страницы моего вдохновенного чтения, Анжелла отложила зеркальце и спустила ноги с тахты, что придало ей вид человека, готового к действию.

— Ну вот, — проговорила она удовлетворенно, — теперь можно все это показывать Фаньке.

У меня неприятно подморозило живот, как это бывает при первой степени отравления.

— Кто такая Фанька? — спросила я без выражения.

— Наша редактор. Баба тертая. Да не бойся, Фанька своя. Она хочет как лучше.

Я тяжело промолчала. Верноподданный Еврей всегда в моей жизни был «свой» и «хотел как лучше». Более того, В.Е., как правило, мне симпатизировал. Порой у меня с В.Е. происходили даже полуоткровенные объяснения.

Фанька, Фаня Моисеевна оказалась величественной красавицей лет семидесяти с выпукло-перламутровыми циничными глазами. Такой я всегда представляла праматерь нашу Сарру. Говорила она хриплым баритоном и курила ментоловые сигареты.

— Ну что ж, неплохо... — затягиваясь и щелкая указательным пальцем по сигарете, сказала Фаня Моисеевна. — Эта

любовная сценка в лифте, монолог этого мудачка-деда... неплохо...

На ее указательном пальце сидел массивный узбекский перстень с крупным рубином, схваченным по кругу золотыми зубчиками. Казалось, она и носит эту тяжесть, чтобы нагруженным пальцем сбивать с сигареты пепел.

— Неплохо, неплохо, — повторила она, — только вот герой на «Узбекфильме» не должен быть евреем.

Это был абсолютно неожиданный для меня точный удар в спину. Признаться, я возводила оборонные укрепления совсем по другим рубежам.

— С чего вы взяли, что он еврей? — дружелюбно спросила я наконец. Любопытно, что мы с ней одинаково произносили это слово — табу, — смягчив произнесение, приблизительно так — ивре.... Словно это могло каким-то образом укрыть суть понятия и даже слегка его ненавязчиво ассимилировать. (Так, бывает, звонят из больницы, сообщая матери, что ее попавший в автокатастрофу сын в тяжелом состоянии, в то время как сын, мертвее мертвого, уже минут десять как отправлен на каталке в морг.) — С чего вы взяли, что он ивре..? — спросила я, глядя в ее перламутровые глаза, пытаясь взглядом зацепить на дне этих раковин некоего спасительного студенистого моллюска.

(О, скользкая душа Саддукея, древние темные счеты с иными из моего народа! В такие, считанные мгновения в моей жизни я проникала в один из побочных смыслов понятия «гой» — слова, которому я до сих пор внутренне сопротивляюсь, хотя знаю уже, что ничего оскорбительного для других народов не заложено в нем изначально.)

— Еврей! — воскликнула Анжелла радостно, как ребенок, угадавший разгадку. Она произнесла это слово твердо и хрустко, как огурец откусывала: «яврей». — Ну, конечно, яврей, то-то я чувствую чего-то такое...

— Помилуйте, это прет из каждой фразы, — Фаня Моисеевна снисходительно и по-родственному улыбнулась мне. — Этот дедушка, эта бабушка... «Поку-ушяй, поку-ушяй»... — последние слова она произнесла с типичной национальной аффектацией, очень убедительно. Так, вероятно, говорила с ней в детстве ее бабушка, где-нибудь в местечке под Бобруйском. Моя бабушка говорила со мной точно с такой же интонацией. И это меня особенно взбесило. С памятью своей бабушки она была вольна вытворять все, что ей заблагорассудится...

— А вот мою бабушку оставьте в покое, — сказала я, спуская брови с вершин изумления.

— Напрасно вы обиделись! — приветливо воскликнула Фаня Моисеевна. — Мы ничего не тронем в сценарии. Надо только верно расставить национальные акценты.

— Фанька, молчи! — вскрикнула Анжелла в странном радостном возбуждении. — Я вижу теперь, что она хотела устроить из моего фильма! Она синагогу хотела устроить! Все явреи!!

Я молча завязала тесемочки на папке, поднялась из кресла и направилась к дверям. Анжелла нагнала меня в прихожей и повисла на мне с хохотом. При этом изловчилась влепить мне в шею мокрый и крепкий поцелуй, превративший все мое благородное возмущение в пошлый фарс.

* * *

За все это время много раз создавая... (нет, избегу столь высокого слова) варганя фильм, я вставала и уходила с твердым намерением послать подальше этот фарс, и каждый раз до анекдота повторялась сцена бурного и страстного, с поцелуями взасос, водворения меня в кинематографическое русло.

— Дура! — кричала Анжелла, облапив меня и ногами отпихивая куда-то в сторону балкона мои сандалии, которые я пыталась обуть с оскорбленным видом. — Дура, кончай выпендриваться!

В комнате посмеивалась астматическим кашлем-смешком Фаня Моисеевна.

В конце концов она пригоняла меня в комнату и запихивала в кресло.

— Итак, надо подумать, как верно расставить национальные акценты, — затягиваясь сигаретой, продолжала Фаня Моисеевна.

— А че тут думать! — выпалила Анжелла. — Все узбеки, и тамон болды!

— Ну, Анжелла, вы как всегда, из одной крайности в другую, — мягко и укоризненно заметила Фаня Моисеевна. — Не забудьте, что кроме нашего Минкульта, есть еще Госкино. Образ Григория нужно оставить, как образ русского друга.

— Так он же тоже яврей!

— Не преувеличивайте, — отмахнулась Фаня Моисеевна. — Его любовницу Лизу тоже оставим русской.

— Любовницу — да, — согласилась Анжелла сразу.

Фаня Моисеевна глубоко задумалась, сбивая указательным пальцем пепел с сигареты. Рубиновая горючая слеза посверкивала в перстне.

— Очень серьезно надо отнестись к уголовному миру сценария, — сказала она, — вот у вас вор есть, осетин, и бандит кореец. Это никуда не годится.

— Почему? — спросила я уже даже с любопытством.

— Потому что крайне опасно задевать национальные чувства меньшинств.

— Я тоже отношусь к национальному меньшинству, — возразила я. — Тем не менее мои национальные чувства весь вечер вы не то что задеваете — вы лупите по ним кувалдой.

— Радость моя, какого черта? — интимно улыбнулась Фаина Моисеевна. — Вы мне еще двадцать раз спасибо скажете, пока сценарий и фильм будут инстанции проходить. — Нет, осетин у нас пройдет эпизодом в звании сержанта, а кореец будет просто милым соседом, помните, здоровается по утрам с нашим дедушкой. Весь преступный мир мы поделим пополам: на узбеков и русских. Дадим одного еврея — подпольного цеховика, сочините смешной диалог для его допроса. Главного героя Сашу мы назовем… — Фаня Моисеевна затянулась сигаретой.

— А пусть его зовут Маратик! — воскликнула Анжелла с такой нежностью, какая была бы прилична лишь при обсуждении имени первенца в семье, ожидавшей младенца многие годы.

Я испугалась по-настоящему.

— Но послушайте, — начала я осторожно, — существует ведь еще правда жизни и правда искусства. В узбекских семьях принято почтительное отношение к старшим, а наш герой то и дело говорит дедушке: «Ты что, дед, спятил?!»

В эту минуту в комнату вошел Маратик, босой, в спортивных трусах «Адидас». Развинченной походкой отдыхающего спортсмена он подошел к платяному шкафу и, молча поигрывая молодыми мускулистыми ногами, стал громко стучать вешалками.

— Чистую рубашку я найду в доме, — выдавил он со сдержанной яростью, не обременяя себя вопросительной интонацией.

— Рубашки все в грязном белье, Маратик, — заискивающим тоном ответила мать. — Надень спортивную майку.

Он развернулся, несколько секунд с холодным интересом изучая нас троих.

— Ты, мать, что, совсем сбондила со своими сценариями? — наконец спросил он громко.

— Анжелла, помните, — оживленно заметила Фаня Моисеевна, — когда Маратик был маленьким, он показывал пальчиком на мои глаза и говорил: «газки синьки, зеленьки», что означало «глазки синенькие, зелененькие».

Маратик с жалостливой гримасой уставился на Фаню Моисеевну:

— Фанька! Молци!

Прикрыв глаза, она засмеялась коротким одышливым смешком. Анжелла ушла искать по комнатам рубашку для Маратика, а мы с Фаней Моисеевной сидели и молчали.

— Послушайте, — спросила я хмуро, — у меня появились опасения, что главную роль в фильме наша козочка захочет подарить своему хаменку.

— Чш-ш-ш! — Фаня Моисеевна приложила к губам палец с перстнем и, скосив глаза на дверь, проговорила тихо и внятно: — Он, конечно, сукин сын. Но, между прочим, студент режиссерского факультета Театрального института и очень способный мальчик.

Фаня Моисеевна вздохнула и достала из пачки очередную ментоловую сигарету:

— И вообще, тут мы с вами бессильны.

— Вы ошибаетесь! — проговорила я торжественно, поднимаясь из кресла.

Впоследствии обнаружилось, что Фаня Моисеевна не ошибалась никогда.

* * *

— Знаешь, где выделяют место под строительство нашего дома? — сдержанно ликуя, объявила мама. — Пустырь за вендиспансером. Место дивное! На углу квас продают!

— Хорошо, — сказала я устало.

— А что!? — вскинулась она, будто я ей возражала. — Летом квас на углу — большое удобство!

— Как и вендиспансер, — добавила я.

— Что это за синяк у тебя на шее? — спросила она подозрительно, как в десятом классе.

— Ударилась, — ответила я, как в десятом классе.

Наутро я позвонила Анжелле и ровным дружелюбным голосом сообщила ей, что, к сожалению, вследствие многих причин потеряла интерес к будущему фильму и с сегодняшнего дня намерена заняться кое-чем другим. Она издала птичий клекот, но я повесила трубку и выдернула провод из розетки.

* * *

— Не думал, что ты такая дура, — сказал на это мой знакомый поэт-сценарист. Он был по-утреннему трезв и суров. Мы встретились случайно в гастрономе. — Кому ты сделала хуже? Сыну, у которого не будет теперь своей комнаты? И ради чего? Ради чистой совести? Не делай вид, что, кроме этого сценария, твою совесть не отягощают еще три тачки дерьма. Что хорошего еще сказать тебе, моя Медея? Могу поведать о многом. О том, например, что ни один уважающий себя человек и не пошел бы смотреть этот шедевр «Узбекфильма». Поэтому на твою гордую позу Литератора и Личности только голуби какнут, и то из жалости...

— Что же ты предлагаешь? — смущенно спросила я, мелко перебирая ногами в очереди к прилавку в молочном отделе.

— Я предлагаю немедленно пасть в ноги Анжелке, вылизать ее левый сапог и без перерыва приступать к написанию режиссерского сценария.

— Как?! — удивилась я. — А разве режиссерский сценарий пишет не режиссер?!

Он сморщился, пережидая схватку изжоги.

— Ну ладно, мне — в вино-водочный, — сказал он наконец.

Разумеется, левый сапог Анжеллы я вылизывать не стала, но вернувшись из гастронома, вороватым движением подключила телефонный аппарат. Он зазвонил через две минуты. Это была Фаня Моисеевна. Обволакивая меня хрипловатым баритоном, она сообщила, что сценарий одобрен редколлегией и через неделю мы с Анжеллой можем получить аванс в кассе киностудии: двадцать пять процентов гонорара.

— А при чем тут Анжелла? — строптиво спросила я. (Впечатляющей лекции в гастрономе хватило мне ненадолго.) — Сценарий написан мною от начала до конца.

— Да черт возьми! — воскликнула Фаня Моисеевна, сметая интонации приязни, как смахивают крошки со стола. — Кому это интересно? Расскажите это своим родственникам, и пусть они гордятся «нашей девочкой». Сценарий пойдет дальше — в Комитет по делам кинематографии, сначала республиканский, потом всесоюзный.

— Ну и что? — упрямо спросила я.

— А то, что Анжелла — первая женщина-режиссер-узбечка! — слышно было, как она щелкнула зажигалкой, закуривая, — правда, она татарка... Надеюсь, вы понимаете, чья фамилия должна предварять сценарий?

— Анжеллина? — тупо спросила я.

— Ну, не ваша же! — с усталой досадой проговорила Фаня.

* * *

Итак, с хозяйственной сумкой производства янгиюльской кожгалантерейной фабрики мы с мамой шли получать гонорар в кассе киностудии.

В сумке лежали: старые газеты «Комсомолец Узбекистана», кухонное полотенце и буханка хлеба.

— Сумму заворачиваем в носовой платок, — говорила мама с конспиративным напором, оглядываясь поминутно как бы на возможных преследователей. Вероятно, так студенты актерского факультета отрабатывают этюд на тему «погоня». — Сумму в платок, потом в полотенце, кладем на дно, сверху придавливаем буханкой...

То, что деньги мама называла «суммой», тоже являлось деталью торжественного действа, в которые моя артистичная мама любовно наряжала обыденность жизни. Я никогда ей не мешала: каждый имеет право наряжать жизнь по своему вкусу.

В одном из тесных коридоров «Узбекфильма» уже стояла плотная, словно литая, очередь к окошку кассы. Крайней оказалась Анжелла.

— Ну, прочухалась? — дружелюбно спросила она. — Башли-то получать охота?

Движением кисти она метнула паспорт на широкий облупленный подоконник кассы — напоминая бывалого картежника, сдающего колоду.

— Вот так-то, лапа, — нежно-покровительственно проговорила она, уступая мне место у окошка. — Когда-нибудь и я тебе что-то хорошее сделаю.

Эта прелестная невинность грабежа едва не лишила меня дара речи и свела скулы какой-то отвратительной кислятиной.

Машинально я расписалась в ведомости, машинально, с извиняющимся лицом, не в силах побороть смутного чувства незаслуженности огромных денег (доставшихся, как говорила моя бабушка, «на дурнычку») оставила кассирше на подоконнике двадцать рублей, хвостик гонорара.

— Всегда оставляй что-то кассиру, — учил меня мой папа, человек тоже не дельной профессии, художник (о, бесполезность всего моего рода!) — рука дающего не оскудеет.

Я отдала деньги маме, стерегущей меня в двух шагах от кассы. С тем же деятельным лицом, прижимая к сердцу хозяйственную сумку, она стала спрашивать каких-то молодых актрис, где тут туалет, всем видом показывая, что туалет ей нужен не за естественной надобностью, а для дела конспиративной важности. В другое время я покорно

поплелась бы за ней, следуя своему правилу не мешать никому обряжать жизнь в театральные одежды, и топталась бы рядом, пока она заворачивает эти деньги в платок и придавливает их буханкой хлеба. Но скулы мои все еще были сведены отвратительной кислятиной от дружелюбного насилия моего соавтора и я сказала:

— Оставь, ради Бога! — И пошла к выходу во двор. Эти деньги меня уже не интересовали.

Вообще, там, наверху, по моему ведомству, всегда заботились о том, чтобы я понимала смысл копейки. А поскольку от природы я мотовка, то для такого понимания приходилось меня тяжко учить. Полагаю, изобретение принудительных работ входило в обязанности моего ангела-хранителя. Это он выписывал наряды.

Например, в молодости, получая приличные гонорары за перевод романов узбекских писателей, я одновременно за сто двенадцать рублей в месяц мучительно преподавала в Институте культуры такую дисциплину: аккомпанемент.

Ездила двумя трамваями, четыре раза в неделю и занималась добросовестно и строго с юными пастухами, которых ежегодно рекрутировала по горным кишлакам приемная комиссия Института культуры.

Узбекский народ очень музыкален. Любой узбек с измальства играет на рубабе или гиджаке, на карнае, сурнае, дойре. Так что набрать группу абитуриентов на факультет народных инструментов не составит труда, даже если члены приемной комиссии, командированной в высокогорные кишлаки, все свое рабочее время проведут в застольях. В данном случае это даже неплохо, так как большой «той» всегда сопровождает игра музыкантов. Сиди себе на расстеленных «курпачах», потягивай водку из пиалы и указывай пальцем на какого-нибудь юного рубаиста.

Отобранные приемной комиссией дети пастбищ приезжали в беломраморную столицу советского ханства, которая за пять лет учебы растлевала их беззащитные души до нравственной трухи. С патриархальными устоями расправлялись обычно к концу второго семестра, судя по очереди на уколы в приемной венеролога.

По замыслу чиновников министерства, обогащенные

богатствами мировой культуры пастухи обязаны были вернуться в родные места, чтобы затем в должности худрука в сельском клубе способствовать просвещению масс.

Но — огни большого города! Всеми пальцами повисшего над пропастью пастуха, до судорог, дети гор цеплялись за чудно бренчащую жизнь.

Чаще всего они уходили в область коммерции, явно противоположную тем тонким материям, к которым их приобщали в Институте культуры. Я встречала то одного, то другого за прилавком какого-нибудь обувного магазина, и, просияв, он заговорщицки шептал мне: «Ест хароши арты-педишски басаножькя»...

Я получила распределение в Институт культуры после окончания консерватории. И хотя к тому времени уже было ясно, что не музыка выцедит мою душу до последней капли пота, мама считала, что запись в трудовой книжке о преподавательской деятельности в дальнейшем благотворно скажется на моей пенсии.

— Музыка — это кусок хлеба, — говорила мама. — Десять частных учеников в неделю уберегут тебя от такой жизни, как моя.

Отец считал, что я должна бросить все. Он так и говорил: наплюй на всех. Ты — писатель. Ты — личность! (К тому времени были опубликованы три моих рассказика.) Он гордился мной, его распирало родительское тщеславие, принимавшее порой довольно причудливые формы.

Однажды моя сокурсница, вернувшись из Москвы и с упоением рассказывая об экскурсии на Новодевичье кладбище, добавила со вздохом: «Какие люди там лежат! Нас с тобой там не похоронят!»

Дома за ужином я пересказала ее впечатления, не забыв ее эмоций, на мой взгляд, довольно занятных. Папа изменился в лице и, приподнявшись из-за стола, будто собирался произнести тост, воскликнул: «В таких случаях говорят только за себя! Ее, конечно уж, на Новодевичьем не похоронят. А тебя — похоронят!» — закончил он со стопроцентной убежденностью. Мама, помнится, застыла с ложкой у рта.

Но я все время отвлекаюсь. Так вот, Институт культуры.

Мне было двадцать два года. Первым делом я на всякий случай сломала замок на двери в аудитории, где проводила уроки. Тут надо кое-что пояснить. Строгая пастушеская мораль предков и священное отношение узбеков к девичьей чести абсолютно не касаются их отношения к женщине европейского происхождения, независимо от ее возраста, профессии, положения в обществе и даже группы инвалидности. По убеждению восточного мужчины — и мои мальчики не являлись тут исключением — все женщины-неузбечки тайно или открыто подпадали под определение «джаляб» — проститутка и блудница, продажная тварь. Возможно, тут играло роль подсознательное отвращение Востока к прилюдно открытому женскому лицу. И хотя к тому времени, о котором идет речь, уже три десятилетия красавицы-узбечки разгуливали без паранджи, в народе великолепно помнили, откуда пришла на Восток эта зараза. Ну, а я к тому же носила джинсы и пользовалась косметикой яростных тонов, то есть не могла претендовать даже на слабое подобие уважения со стороны учеников. Но я знала, что мне делать: строгость, официальный тон и неизменное обращение к студенту на «вы». Я им покажу кузькину мать. С тем я и начала свою педагогическую деятельность.

Особенно боялся меня один студент, высокий красивый мальчик лет восемнадцати, в розовой атласной рубахе. Его буквально трясло от страха на моих уроках. Я слышала, как шуршит язык в его пересохшем рту. К тому же он, как и большинство его товарищей, почти не говорил по-русски.

Сидя сбоку от пианино, я строго смотрела мимо студента в окно, постукивая карандашиком по откинутой крышке инструмента.

— Что я вам задавала на дом?

Стоя на почтительном расстоянии от меня и как бы полукланяясь, он отвечал робко:

— Шуман. Сифилисска песен…

Карандашик завис в моих пальцах.

— Что-что?! — грозно прервала его я. — Как-как?!

От страха по лицу у него пошли темные пятна.

— Доставайте ноты!

Он быстро и суетливо достал из холщовой пастушеской сумки ноты «Сицилийской песенки».

— Читайте!

Сощурив глаза от напряжения и помогая себе, как указкой, подрагивающим пальцем, он старательно прочитал: «Си-си-лисска песс...»

Особенно ярко, слово в слово, запомнила я один из таких уроков. Может быть потому, что впервые искра сострадания затеплилась в моей душе. Накануне мы разучивали «Серенаду» Шуберта. Разумеется, перед тем как приступить к разучиванию самой пьесы, я подробно и внятно, простым, что называется, адаптированным языком объяснила, что это за жанр, когда и где зародился...

— Итак, повторяем прошлый урок, — начала я, как обычно, сурово. — Будьте любезны объяснить, что такое «серена¬да».

Он сидел на стуле, держа на коленях смуглые небольшие кисти рук, и тупо глядел в блошиную россыпь нот перед собой.

— Так что это — «серенада»?

— Ашул-ля! — наконец, выдавил он.

— Правильно, песня, — милостиво кивнула я. — На каком инструменте обычно аккомпанирует себе певец, исполняющий серенаду?

Он молчал, по-моему напряженно вспоминая смысл того или другого русского слова.

— Ну... — подбодрила я и левой рукой как бы взялась за гриф, кистью правой изобразив потренькивание на струнах.

Не повернув головы, он скосил на меня глаз и испуганно пробормотал:

— Рубаб - гиджак, дрын -дрын...

— М-м... правильно, на гитаре... Э-э... «серенада», как вы знаете — «ночная песнь», исполняется под балконом... чьим?

— Ну? Чьим?.. — Я теряла терпение. — Для кого, черт возьми, поется серенада?

— Там, эта девчонкя живет, — помявшись, выговорил он.

— Ну-у, да, в общем... что-то вроде этого. Прекрасная дама! Так, хорошо, начинайте играть.

Его потные пальцы тыкались в клавиши, тяжело выстукивая деревянные звуки.

— А нельзя ли больше чувства? — попросила я, — ведь это песнь любви. Поймите. Ведь и вы кого-нибудь любите?

Он отпрянул от инструмента.

— Нет! Нет! Мы не любим!

Этот неожиданный и такой категоричный протест привел меня в замешательство.

— Ну... почему же..? — неуверенно спросила я. — Вы молоды, э... э... наверняка какая-нибудь девушка уже покорила ваше... э... вы ее любите...

— Нет! — страшно волнуясь, твердо повторил мой студент. — Мы... не любим! Мы... женитц хотим!

Он впервые смотрел прямо на меня, и в этом взгляде смешалась добрая дюжина чувств. «Это ваши мужчины, — говорил его взгляд, — у которых нет ничего святого, готовы болтать с первой встречной «джаляб» о какой-то бесстыжей любви. А наш мужчина берет в жены чистую девушку, и она всю жизнь не смеет поднять ресниц на своего господина».

Именно после этого урока в голову мою полезли несуразные мысли о том, стоит ли скрещивать пастушескую песнь под монотонный звук рубаба с серенадой Шуберта?

Дома я затянула серенаду о том, что пора уматывать из Института культуры.

— Бросай все! — предлагал мой всегда отличавшийся размахом папа. — Я тебя прокормлю. Ты известная личность! Ты писатель! Я уверен: тебя похоронят на Новодевичьем!

Мама умоляла подумать о куске хлеба, о моей будущей пенсии.

Беспредельное отчаяние перед вечной жизнью в стенах Института культуры дребезжало в моем позвоночном столбе. Я пыталась себя смирить и приготовить к этой вечной жизни.

Однажды, выйдя из дамского туалета, я заметила своего ученика, который на мгновение раньше вышел из мужского. Он со своим русским товарищем шел впереди меня по коридору в сторону аудитории, где должен был начаться

наш урок. И тут я услышала, как с непередаваемой тоской он сказал приятелю:

— Урок иду... Умирайт хочу... Мой «джаляб» такой злой! У мне от страх перед каждый занятий — дрисня… — Прислонившись к стене, я истерически расхохоталась. Я с абсолютной ясностью ощутила, что жизнь моя, в сущности, кончена. Нескончаемый ряд юных рубаистов вырос передо мной. В далекой, туманной перспективе этот ряд сужался, как железнодорожное полотно. И год за годом, плавно преображаясь из юной «джаляб» в пожилую, я строго преподавала им «Серенаду» Шуберта. Потом меня проводили на пенсию в звании доцента. Потом я отдала концы, высушенная «джаляб-доцент», к тихому ликованию моих вечно юных пастухов.

Отшатнувшись от стены, выкрашенной серой масляной краской, я побрела к выходу во внутренний двор, огороженный невысоким забором-сеткой; там, за сеткой, экскаваторы вырыли обморочной глубины котлован под новый корпус — Институт культуры расширялся.

Подойдя к сетке, я глянула в гиблую пасть земли и подумала, что если как следует разбежаться и нырнуть головой вниз, то об этот сухой, крошащийся грунт можно вышибить, наконец, из себя эту — необъяснимой силы глинистую тоску. Мне было двадцать два года. Никогда в жизни я не была еще так близка к побегу.

Краем глаза я увидела какую-то ватную личность на скамейке неподалеку. Мне показалось, что спрашивают, который час, и я обернулась. Плешивый мужик в стеганых штанах крутил толстую папиросу. Он лизнул бумагу широким, обложенным языком, заклеил, прикурил и поманил меня к себе пальцем, похожим на только что скрученную папиросу.

Я приблизилась. От него несло махоркой и дезинфекцией вокзальных туалетов. Он равнодушно и устало глядел на меня мутными, испитыми глазками бессонного конвойного, много дней сопровождающего по этапу особо опасного рецидивиста.

— Вы спрашивали который час? — проговорила я неуверенно.

— Домой! — вдруг приказал он тихо. И добавил похабным тенорком. — Живо!

Что прозвучало как «щиво!»

И я почему-то испугалась до спазма в кишках, оглохла, попятилась и пошла на слабых ногах в сторону главного входа, не оборачиваясь, испытывая дрожь облегчения, какая сотрясает обычно тело после зряшного испуга.

Я уходила из Института культуры, оставив в аудитории соломенную шляпу, тетрадь учета посещений студентов и ручные часы, которые по старой привычке пианистки всегда снимала на время занятий.

Я уходила все дальше, спиной ощущая, какая страшная тяжесть, какой рок, какая тоска покидают в эти минуты обреченно ожидающего меня в нашей аудитории мальчика в розовой атласной рубахе.

Ни разу больше я не появилась в Институте культуры, поэтому в моей трудовой книжке не записано, что год я преподавала в стенах этого почетного заведения. Не говоря уже о том, что и сама трудовая книжка в настоящее время — всего лишь воспоминание, к тому же не самое необходимое. А пенсия? До пенсии все еще далеко.

Режиссерский сценарий побежал у меня живее: любое чувство изнашивается от частого употребления, тем более такая тонкая материя, как чувство стыда. Пошли в дело ножницы. Я кроила диалоги и сцены, склеивала их, вписывая между стыками в скобках: «крупный план», или «средний план», или «проход».

Когда сценарий был сработан, Анжелла с углубленным видом пролистала все семьдесят пять страниц, почти на каждой мелко приписывая перед пометкой «крупный план» — «камера наезжает».

Из республиканского комитета по делам кинематографии тем временем подоспела рецензия, где некто куратор Шахмирзаева Х.Х. сообщала, что в настоящем виде сценарий ее не удовлетворяет и предлагала внести следующие изменения, в противном случае... и так далее.

Поправки предлагалось сделать настолько идиотские,

что я даже не берусь их пересказать. Да и не помню, признаться. Кажется, главного героя требовали превратить в свободную женщину Востока, убрать из милиции, сделать секретарем ячейки; бабушку перелицевать в пожилого подполковника-аксакала и еще какую-то дребедень менее крупного калибра.

И опять я вскакивала, бежала как в муторном сне по длинным кривоколенным коридорам «Узбекфильма» и за мной бежали ассистенты и костюмеры, возвращали, водворяли в русло.

Месяца через полтора я потеряла чувствительность, как бывает во сне, когда занемеет рука или нога и снится, что ее ампутируют.

Между тем мы внесли деньги в жилищный кооператив, и на очередном желто-глинном пустыре, в котором мама все же сумела отыскать некую привлекательность (кажется, прачечную неподалеку) экскаваторы стали рыть котлован, такой же страшный, пустынный и желто-глинный.

Я уже ничего не писала, кроме сценария, переставляя местами диалоги, вводя в действие новых ублюдочных персонажей. Когда казалось, что все это пройдено, очередная инстанция распадалась, как сувенирная матрешка, и передо мной являлась следующая инстанция, у которой к сценарию были свои претензии.

Я впала в состояние душевного ступора. У меня работали только руки, совершая определенные действия: резать, клеить, стучать на машинке. Мама не могла нарадоваться на эту кипучую деятельность и каждый день приходила вымыть посуду, потому что я забросила дом.

Анжелла звонила мне каждое утро, требуя немедленно — возьми такси! — явиться, помочь, посоветовать... Целыми днями я хвостом болталась за ней по коридорам и пыльным павильонам «Узбекфильма». Изображались муки поиска актера на главную роль. Анжелла рылась в картотеке, веером раскладывала на столе фотографии скуластых раскосых мальчиков, студентов театрального института. Все уже знали, кто будет играть главную роль. Меня же все еще согревала идиотская надежда: найдем, найдем, ну должен он где-то быть, пусть скуластый и раскосый, но

обаятельный, мягкий, талантливый мальчик с растерянной улыбкой.

— Малик Азизов! — читала Анжелла на обороте очередной фотографии. — Как тебе этот, в фуражке?

Я пожимала плечами.

— Симпатичный, нет?

— Просто симпатяга! — встревала Фаня Моисеевна. Анжелла смешивала карточки на столе, выкладывала их крестом, выхватывая одну, другую...

— Вот этот... Турсун Маликов... как тебе?

Я мрачно молчала. Все эти претенденты на главную роль в фильме были похожи на моих пастухов из Института культуры.

— Что-то в нем есть, — задумчиво тянула Анжелла, то отодвигая фото подальше от глаз, то приближая.

— Есть, определенно есть! — энергично кивала Фаня Моисеевна, закуривая тонкую сигарету. — Эдакая чертовщинка!

— Боюсь, никто, кроме Маратика, не даст образ, — вздыхала Анжелла.

— Только Маратик! — отзывалась Фаня Моисеевна.

— Да, но как его уговорить! — восклицала Анжелла с отчаянием. Она любила своего ребенка любовью, испепеляющей всякие разумные чувства. Он был смыслом ее существования, и моя незадачливая повесть была выбрана ею именно потому, что пришло время воплотить ее божка на экране.

Когда несколько лет спустя, уже в Москве, меня догнала весть о гибели Маратика в автомобильной катастрофе (ах, он всегда без разрешения брал отцовскую машину, и бессильная мать всегда истерично пыталась препятствовать этому), я даже зажмурилась от боли, не в силах и на секунду представить себе лицо этой женщины.

* * *

Из Москвы Анжелла выписала для будущего фильма оператора и художника.

Хлыщеватые, оба напоминавшие подростков, друг к дру-

гу они обращались: Стасик и Вячик, и нежнейшим образом дружили семьями лет уже двадцать. У одного были жена и сын, у другого — жена и дочь, и оба о женах как-то перекрестно-ласкательно упоминали: «Танюша», «Оленька»...

Они постоянно менялись заграничными панамками, курточками и маечками. Я не удивилась бы, если б узнала, что Стасик и Вячик живут в одном номере и спят валетом — это вполне бы вписывалось в их сдвоенный образ. Да если бы и не валетом, тоже не удивилась бы.

Анжелла гордилась тем, что ей удалось заполучить в Ташкент профессионалов такого класса. Я, правда, ни о том, ни о другом ничего не слышала.

— Что, скажешь, ты не видела классную ленту Беларусьфильма «Связной умирает стоя»?! — спросила Анжелла.

Мне пришлось сознаться, что не видела;

— Ты что — того? — взглянула на меня с интересом. — А «Не подкачай, Зульфира!» студии Туркменфильма, в главной роли Меджиба Кетманбаева?.. А чего ты вообще в своей жизни видела? — после уничтожительной паузы спросила она.

— Так, по мелочам, — сказала я, — Феллини-Меллини... Чаплин-Маплин...

— Снобиха! — отрезала она. (Я вытянула из сумочки записную книжку и вороватым движением вписала это дивное слово.)

Выяснилось, что Стасик, оператор, как раз снимал фильм «Связной умирает стоя», а художник, Вячик, работал в фильме «Не подкачай, Зульфира!»

По случаю «нашего полку прибыло» Анжелла закатила у себя грандиозный плов.

На кухне колдовал над большим казаном Мирза: мешал шумовкой лук и морковь, засыпал рис, добавлял специи. На его худощавом лице с покорно-женственной линией рта было такое выражение, какое бывает у пожилой, умной домработницы, лет тридцать живущей в семье и знающей всю ее подноготную.

Он был еще не сильно пьян, даже не качался, и мы с ним поболтали, пока он возился с пловом. Он рассказал о величайшем открытии, сделанном учеными буквально на

днях, что-то там с полупроводниками: бедняга, он не знал, что рассказывать мне подобные вещи, все равно, что давать уроки эстетики дождевому червю.

За столом ко мне подсел оператор, Стасик, и дыша коньяком, проговорил доверительно и игриво:

— Я посмотрел ваш сценарий, там есть еще куда копать, есть!

Я кивнула в сторону огромного блюда с желто-маслянистой горой плова, в которой, как лопата в могильном холме, стояла большая ложка, и так же доверительно сказала:

— Копайте здесь.

Он захохотал.

— Нет — правда, там еще уйма работы. Жестче надо, жестче! Не бойтесь жесткости, не жалейте героя.

— Чтоб связной умирал стоя? — коротко уточнила я.

А через полчаса меня отыскал уже непотребно пьяный Вячик. Он говорил мне «ты», боролся со словом «пространство» и не в силах совладать с этим трудным словом, бросал начатое, как жонглер, упустивший одну из кеглей.

— А как ты мыслишь художественно… просра… просраста фильма? — серьезно допытывался он, зажав меня в узком пространстве между сервировочным столиком и торшером. — У тебя там в... ссынарии… я просра… простарства не вижу...

* * *

Целыми днями Анжелла с «мальчиками» — Стасиком, Вячиком и директором фильма Рауфом — искали «натуру». Они разъезжали на узбекфильмовском «рафике» по жарким пригородам Ташкента, по узким улочкам кишлаков.

Я не могла взять в толк — зачем такая масса сложностей, в то время как в самом Ташкенте, в старом городе, зайди в любой двор и снимай самую, что ни на есть национальную задушевную драму — хоть «Али-бабу», хоть «Хамзу», хоть и нашу криминальную белиберду. Помню, я даже задала этот вопрос директору фильма, Рауфу.

— Кабанчик, — сказал он проникновенно (всех, включая директора киностудии, он называл «кабанчиком», что было довольно странным для мусульманина), — чем ты думаешь,

кабанчик? Если не уедем, где я тебе командировочных возьму?

Я балда, поняла, наконец: снимая фильм в черте города, съемочная группа лишилась бы командировочных — 13 рублей в сутки на человека.

Для съемок тюремных эпизодов выбрали миленькую, как выразилась Анжелла, тюрьму, только что отремонтированную, с железными, переливающимися на солнце густо-зеленой масляной краской воротами.

Съемочная группа дружной стайкой — впереди какой-то милицейский чин, за ним щебечущая Анжелла в шортах, Стасик в кепи и с кинокамерой на плече, пьяный с утра Вячик, мы с Рауфом — прошвырнулась по коридорам пахнущего краской здания.

Нас даже пустили во внутренний прогулочный двор. Это была забетонированная площадка, со всех сторон глухо окруженная бетонной высокой стеной, с рядами колючей проволоки над ней. Вдоль торцовой стены — как сцена — возвышался подиум с двумя ведущими к нему ступенями. На подиуме рядком стояли три новеньких унитаза, по-видимому установленные на днях в ходе ремонта. Они отрадно сверкали эмалью под синим майским небом, свободным — как это водится в тех краях — от тени облачка.

«Течет ре-еченька по песочку, бережочки мо-оет...» — послышалось мне вдруг. Запрокинув голову, я пересчитала взглядом зарешеченные окна вверху. Нет, послышалось. Щелк ассоциативной памяти.

«Ты начальничек, винтик-чайничек, отпусти до дому. ..»

После длительных поисков Анжелла и мальчики остановили свой выбор на районном центре Кадыргач — была такая дыра в окрестностях Ташкента. Для съемок на лето сняли большой, типично сельский дом с двориком, принадлежащий бухгалтеру колхоза, а для постоя съемочной группы — верхний этаж двухэтажной районной гостиницы «Кадыргач».

Стояла жара, еще не пыльный августовский зной, но уже душный жар середины мая. Не знаю, какую культуру, кроме хлопка, выращивал колхоз «Кадыргач», но в местной гостинице и закрытой столовой обкома, куда нас однажды по ошибке пустили пообедать (смутно помню голубцы по двенадцать копеек порция, жирный плов и компот из персиков) — во всем этом благословенном пригороде реяли, парили, зависали в плывущих облаках зноя зудящие сонмища мух.

Гостиница производила странное впечатление. Первый этаж — просторный, с парадным подъездом, с мраморными панелями и полом и даже двумя круглыми колоннами в холле — выглядел вполне настоящим зданием. Второй же этаж казался мне декорацией, наспех возведенной к приезду съемочной группы. Это были узкие номера по обеим сторонам безоконного и вечно темного коридора, разделенные между собой тонкими перегородками.

Впрочем, в номере оказался унитаз — удобство, о котором я и мечтать не смела. Унитаз был расколот сверху донизу, то ли молния в него шарахнула, то ли ядрами из него палили, но трещину заделали цементом, и он продолжал стойко нести свою службу.

Анжелла сняла «люкс» в противоположном конце коридора: две смежные комнатки с такой же командировочной мебелью. В гостиной, правда, стояли несколько кресел образца куцего дизайна шестидесятых годов. Вокруг Анжеллы крутились пять-шесть девочек от восемнадцати до шестидесяти лет — костюмерши, гримерши, ассистентки. Появился второй режиссер фильма Толя Абазов — образованный, приятный и фантастически равнодушный ко всему происходящему человек. Он единственный из всей группы не имел претензий к моему сценарию, поскольку не читал его.

Первые дни в «люксе» шли репетиции. Сидя в кресле и разложив на коленях листки сценария, Анжелла лениво отщипывала по сизой виноградине от тяжелой кисти. Репетировали небольшой эпизод из середины фильма.

Если до того рухнули все мои представления о работе режиссера над сценарием, то сейчас полетело к черту все, что я знала и читала когда-либо о работе режиссера с актерами. С утра Толя Абазов привозил из Ташкента в «рафике» двух студентов театрального института, занятых в эпизоде. Один репетировал роль уголовника, другой —

роль лейтенанта милиции. Текста сценария оба, естественно, не знали, и как выяснилось, к актерам никто и не предъявлял подобных вздорных требований. А я, как на грех, почему-то нервничала, когда вместо текста актер нес околесицу. Эта моя реакция неприятно меня поразила. Я была уверена, что мое авторское самолюбие благополучно испарилось, но выяснилось, что оно лишь уснуло летаргическим сном и сейчас зашевелилось и дало о себе знать.

— Не психуй! — раздраженно отмахивалась Анжелла. — Мы же потом наймем укладчицу!

Слово «укладчица» вызывало в моем воображении грузных женщин в телогрейках, с лопатами, выстроившихся вдоль полотна железной дороги.

— Толя, что значит «наймем укладчицу»? — шепотом спросила я у Абазова. Тот окинул меня безмятежным взглядом и мягко проговорил:

— Приедет блядь с Мосфильма. Заломит цену. Ей дадут. Она всем даст. Потом будет сидеть, задрав ноги на кресло, и сочинять новый текст в соответствии с артикуляцией этих ферганских гусаров.

— Как?! — потрясенно воскликнула я. — А... а сценарий!! А... все эти инстанции?!

Он нагнулся к блюду с фруктами и, оторвав синюю гроздку, протянул мне:

— Хотите виноград?..

Буквально репетиции проходили так.

— Ты входишь оттуда, — приказывала Анжелла одному из мальчиков, репетирующему роль подследственного. — А ты стоишь там, — указывала она пальцем мальчику, репетирующему роль следователя.

— Да нет, Анжелла, нет!! — взвивался оператор Стасик, который с самого своего приезда ревностно выполнял обязанности Старшего Собрата по творчеству. — Куда это годится, ты разрушаешь всю пространственную концепцию. Это он, наоборот, должен стоять там, а тот выходить оттуда!

Потоптавшись у дверей, мальчик, репетирующий подследственного, делал нерешительный шаг в сторону окна, где стоял его товарищ, репетирующий следователя, и неестественно бодрым голосом произносил:

— Здорово начальник! Вызывал?

— Там нет этого идиотского текста!! — восклицала я из своего угла. — Почему вы не учите роль?!

— Отстань, приедет укладчица, всех уложит, — огрызалась Анжелла. — Не мешай репетировать. Сейчас главное, как они двигаются в мизансцене. А ты не стой, как козел! — обращалась она к мальчику. — Ты нахальней, так: «Здорово, начальник! Вызывал?»

— Учите роль, черт возьми! — нервно вскрикивала я.

— Нет-нет, Анжелла, я принципиально против этой мизансцены! — Стасик вскакивал с кресла, атласно выбритый, в белом кепи и белой маечке с английской надписью на груди «Я устала от мужчин». — Он должен стоять вот здесь, спиной к вошедшему, и когда тот входит и говорит: «Здорово начальник вызывал», поворачивается...

— И камера наезжает, — подхватывала Анжелла, — и глаза крупным планом... Ну, пошел, — предлагала она первому студенту. — Оттуда, от дверей...

— Здорово, начальник! Вызывал? — вымученно повторял тот, косясь на Анжеллу.

— Да не так, не так, более вкрадчиво: «Здорово, начальник, вызывал?»

— Здорово, нача-альник...

— Нет! — Анжелла откидывалась в кресле, сидела несколько мгновений, прикрыв глаза, потом говорила мне устало. — Покажи ему, как надо.

* * *

После того, как на главную роль в фильме был утвержден Маратик, я вообще перестала интересоваться его героями.

Толя Абазов съездил в Москву и привез двух актеров. кажется из театра Советской армии. Один должен был играть Русского Друга, впоследствии убитого уголовной шпаной (трагическая линия сценария), второй, маленький армянин с печальными глазами, играл узбекского дедушку главного героя (комическая линия сценария). Ребята

были бодры, по-столичному ироничны и всегда поддаты. Они приехали подзаработать и поесть фруктов и шашлыков.

На роль бабушки главного героя (лирическая линия сценария) привезли из Алма-Аты народную артистку республики Меджибу Кетманбаеву, плаксивую и вздорную старуху с окаменелым лицом скифской бабы. Она затребовала высшую ставку, 57 рублей за съемочный день, «люкс» в гостинице и что-то еще невообразимое, кажется, горячий бешбармак каждый день.

Директор фильма Рауф приезжал увещевать бабку.

— Кабанчик, — взывал он к ее совести, — ты же нас режешь по кусочкам! Где я тебе бешбармак возьму, мы и так тебе народную ставку дали. Кушай народную ставку, кабанчик! (В конце концов она повздорила с Анжеллой и уехала, не доснявшись в последних эпизодах.)

В один из этих дней Анжелла с гордостью сообщила, что музыку к фильму согласился писать не кто иной, как сам Ласло Томаш, известный композитор театра и кино. Дальше следовал рассказ, будто Ласло Томаш, прочитав наш сценарий, пришел в такой восторг, что не дождавшись утра, позвонил Анжелле ночью.

Не веришь? — сказала Анжелла. — Спроси сама. Сегодня в три часа он будет на «Узбекфильме».

Мы околачивались на студии, подбирали костюмы, смотрели эскизы Вячика к фильму. Основной его художественной идеей было драпирование объектов. Всех.

«Драпировать!» было единственное трудное слово, которым он владел в любом состоянии. Драпирование как мировоззрение героя. Он — в коконе. Весь мир — в коконе. Складки, складки, складки... Гигантские складки неба... гигантские складки гор...

— Слушай, где небо, где горы? — слабо отбивалась Анжелла, — главный герой — следователь милиции. Маратик не захочет драпироваться.

Между тем было — было что-то в этой идее, которой посвятил свою жизнь Вячик, который за несколько часов до неузнаваемости задрапировал дом главного бухгалтера: развесил по стенам, люстрам и стульям какие-то дымчатые, прозрачные ткани. Все эти воздушные шарфы и шлейфы нежно клубились в струях сквозняков. А поскольку левое крыло дома осталось обитаемым и по двору время от времени сновали юные дочери и невестки бухгалтера, то все это чем-то смахивало на декорации гарема.

Впрочем, в первый день съемок, примчавшись на гремящем мотоцикле, Маратик навел порядок на съемочной площадке. Он посрывал все драпировки мускулистой рукой каратиста, покрикивая: «Оно по голове у меня ползает! Я что — пидорас, что ли, в платочках ходить?»

А директор фильма Рауф успокаивал чуть не плачущего Вячика:

— Кабанчик, ну не скули, какой разница, слушай, тряпка туда, тряпка сюда. Все спишем, кабанчик!

И тут мы спохватились, что забыли позвонить на проходную, заказать пропуск для Ласло Томаша, а на проходной сидел-таки вредный старикашка. Вернее не сидел, а полулежал за барьером на сдвинутых стульях, накрытых полосатым узбекским халатом, и весь день пил зеленый чай из пиалы. По нескольку раз в день он заставлял демонстрировать бумажку-пропуск или красные членские книжечки творческих союзов. Выскочишь, бывало, за пивом — проходная пуста. И вдруг на звук твоих шагов из-за барьера вырастает, как кобра, на длинной морщинистой шее голова: «Пропск!» Бежишь назад с бутылками пива, над барьером опять всплывает сморщенная башка: «Пропск!» Етти твою, дед, я ж три минуты назад проходил! Нет, хоть кол ему на голове... «Пропск!»

Так что Анжелла попросила меня спуститься, вызволить на проходной Ласло Томаша. Я сбежала по лестнице, пересекла виноградную аллею узбекфильмовского дворика. Навстречу мне шел высокий человек в очках с крючковатым маленьким носом.

— Вы Ласло? — спросила я как можно приветливей. — Ради Бога, извините, мы забыли заказать пропуск. Вас, наверное, охранник не пускал?

Он внимательно и сумрачно взглянул на меня сверху. Производил он впечатление человека чопорного и в высшей степени респектабельного; назидательно приподняв

одну бровь, отчего его маленький крючковатый нос стал еще высокомернее, он сказал:

— Вех-о-ятно, собихался не пускать... Но я его схазу выхубил. На всякий случай. (Он одновременно грассировал и по-волжски окал. Так бы мог говорить Горький-Ленин, если б был одним человеком.)

—...Как..? — вежливо переспросила я, полагая, что ослышалась. В конце концов Ласло был венгром и в Союзе жил только с 65 года.

— Да так... Саданул сапогом по яйцам и — будь зд-о-хов, — пояснил он, не меняя назидательного выражения лица. — Вон он, валяется квех-ху жопой. С кем имею честь столь пхиятно бесед-о-вать?

— Я автор сценария, — пробормотала я, косясь в сторону проходной, где и правда старик охранник неподвижно лежал на сдвинутых стульях.

После этих моих слов Ласло Томаш повалился мне в ноги. Лбом уперся в пыльный сандалий на моей правой ноге и замер. Оторопев, я смотрела на его шишковатую плешь, окруженную легким седоватым сорнячком, и не могла сдвинуть ногу, к которой он припал, как мусульманин в молитвенном трансе. Наконец Ласло вскочил, поцеловал мне руку и стал говорить, как ему понравился сценарий, какие в нем легкие, изящные диалоги.

— Вы... вытрите, пожалуйста... вот здесь, — показала я ему след на лбу от моего сандалия.

За те три минуты, в течение которых мы шли по коридорам студии, я успела узнать, что Ласло последний венгерский граф Томаш, что он расстался с женой, не сумевшей родить ему сына, который бы унаследовал титул, что недавно он перешел из лютеранства в православие и нынче является монахом в миру; что ленинградский Кировский театр готовит к премьере его новый балет «Король Лир», и нет ли у меня с собой какой-нибудь крепящей таблетки, поскольку с утра у него (от дыни, вероятно) сильнейший понос.

Через полчаса мы сидели в маленькой студии и смотрели куски отснятого материала: кадр — бегущий куда-то Маратик, кадр — немо орущий в камеру Маратик, кадр — профессионально дерущийся Маратик и два кадра, в которых

старая хрычовка Меджиба Кетманбаева отрабатывала свою народную ставку в немой сцене с внуком Маратиком.

Когда зажегся свет, я услышала тяжелый вздох Толи Абазова.

— Гениально! — твердо и радостно проговорил Ласло Томаш. — Поздхавляю вас, Анжелла! П-о-здхавляю всю съемочную гхуппу! Это будет лента года. Я напишу очень х-о-х-ошую музыку. Я уже слышу ее — вступление. Это будет двойной свист.

Наступила пауза.

— Двойной? — зачарованно переспросила Анжелла.

— Мужской и женский свист на фоне лютни и ксилофона.

Толя опять вздохнул.

Когда часа через полтора мы с Ласло Томашем вышли за ворота киностудии, Анжелла попросила меня показать композитору город, я осторожно спросила:

— Ласло... а вам действительно понравилось то, что вы сегодня видели на экране?

— К-о-нечно! — оживленно воскликнул тот. — Пхосто я, как пх-о-фессионал вижу то, чего еще нет, но обязательно будет. Я убежден, что это будет сногсшибательная лента... По вашему гениальному сценахию... — (тут я искоса бросила на него взгляд: нет, воодушевление чистой воды), — с замечательной хежиссухой Анжеллы и блистательным главным гехоем — кстати, что это за выдающийся мальчик, где вы его нашли?

Целый день мы гуляли по городу с последним венгерским графом. Постепенно, в тумане полного обалдения от всего, что выпевал он своим горьковско-ленинским говорком, я нащупала то, что называют логикой характера. Граф был веселым мистификатором, обаятельным лгуном. Он, как и моя мать, обряжал жизнь в театральные одежды, с той только разницей, что моя задавленная бытом мама никогда не поднималась до высот столь ослепительных шоу.

По пути мы зашли в гостиницу «Узбекистан», где остановился Ласло. Кажется, ему потребовался молитвенник; получалось так, что без молитвенника дальнейшей прогулки он себе не мыслил. В одноместном номере над узкой, поистине монашеской постелью, чуть правее эстампа «Уз-

бекские колхозники за сбором хлопка» висело большое распятие. (Я постеснялась спросить, как он запихивает его в чемодан.) Ласло демонстративно преклонил колена и, сложив ладони лодочкой, мягким голосом прогундосил молитву на латыни. Я наблюдала за ним с доброжелательным смирением.

Поднявшись с колен, монах в миру потребовал, чтобы я немедленно надписала и подарила ему свою новенькую книжку, изданную ташкентским издательством. (В те дни она только вышла, и я таскала в сумке два-три экземпляра и всем надписывала.)

Потом Ласло велел прочесть вслух один из рассказов в книге.

— Я читаю и г-о-в-охю на восьми языках, — пояснил он, — но кихилицу пхедп-о-читаю слушать.

Тут я поняла, что он просто не мог прочесть моего сценария. У меня как-то сразу отлегло от сердца, и я с выражением прочла довольно плохой свой рассказ, от которого Ласло прослезился.

— Да благословит Господь ваш талант! — проговорил он, плавно перекрестив меня с расстояния двух метров. Так художник широкой кистью размечает композицию будущей картины на белом еще холсте. — Я увезу вас в Шахап-о-ву охоту, — заявил он, просморкавшись.

— Куда? — переспросила я.

— Шахапова охота — это станция под Москвой. У меня там дом. Я увезу вас в Шахапову охоту, пхикую кандалами к письменному столу и заставлю писать день и ночь...

— Спасибо, — сказала я благодарно, стараясь посеребрить свой голос интонациями преданности. — Боюсь, что...

— Вам нечего б-о-яться! — воскликнул он страстно. — Я монах в миху, и вы интехесуете меня только с духовной стохоны...

Под вечер мы добрели ко мне домой, просто некуда было девать графа: он повсюду плелся за мной. В холодильнике у меня обнаружились (спасибо маме) свежие котлеты, я нарезала помидоры и огурцы, открыла банку «сайры». Перед тем как приступить к ужину, Ласло опять молился на

латыни, благоговейно склонив голову с легким седым сорнячком вокруг неровной лысины. Мой шестилетний сын, привычный к разнообразным сортам гостей, завороженно смотрел на него.

После ужина Ласло размяк, играл на моей расстроенной гитаре Скарлатти, потом читал стихи Гете на немецком и время от времени повторял вдохновенно и угрюмо:

— Я увезу вас в Шахапову охоту, пхикую к письменному столу, а вашего сыночку буду учить игхать на лютне.

Наконец, часам уже эдак к двенадцати, когда пение молитв на латыни, грассирующее оканье и звуки гитары слились для меня в одуряющий плеск прибоя, мне удалось проводить Ласло Томаша до нашей станции метро.

Увидев приближающийся к платформе поезд, монах в миру, последний граф Томаш, попеременно целовал мне руки, а потом размашисто крестил меня из уносящегося в туннель вагона...

Тихо открыв дверь ключом, я на цыпочках, чтоб не разбудить сына, вошла в комнату. Мой сын стоял у окна и, сложив ладони лодочкой, сонно бормотал куда-то в потолок:

— Боженька, прости меня, что я у Кривачевой трусы подглядывал...

* * *

Анжелла обожала ночные съемки. Утром съемочная группа тяжело отсыпалась в душных гостиничных койках. Часам к двенадцати вяло поднимались и по двое-трое плелись на крошечный местный базар купить лепешек и фруктов. Днем репетировали очередную сцену, видоизмененную в процессе репетиций настолько, что я уже путалась в героях и совершенно не помнила порядок эпизодов. Вечером опять расходились по номерам, а к ночи набивались в «рафик» и пыльными кривыми улочками, мимо двухэтажной школы и глинобитной мечети с невысоким минаретом (скорее похожим на трибуну, наспех сколоченную для первомайской демонстрации) вваливались во двор дома главного бухгалтера. (Бедняга бухгалтер, надо полагать, уже проклял ту минуту, когда, польстившись на узбекфильмовские деньги, пошел на

столь опрометчивый шаг — отдал на поругание дом своего деда.)

Со времен борьбы с басмачами сонные улочки колхоза «Кадыргач» не оглашались подобными криками, руганью на обоих языках. «Рафик» гоняли в гостиницу и обратно еще раза два-три. Почему-то все орали друг на друга: Анжелла — на всю съемочную группу, Маратик — на Анжеллу, Стасик на Маратика, который не желал двигаться согласно пространственной концепции оператора. Маратик вообще не желал делать ничего, что не исходило из глубин его собственного организма, а организм его поминутно сотрясали импульсы, наработанные годами тренировок в республиканской школе каратэ. (Вероятно, поэтому лирический герой в нашем фильме рубит воздух железной ладонью и лягается, как мул, которому досаждают слепни.)

Но наступал момент, когда все наконец оказывались на своих местах: Стасик за камерой, актеры — где кому положено по замыслу оператора и режиссера, ублаженный матерью, но все равно презрительно остервенелый Маратик — в центре сцены, и тогда:

— Мо-торрр!! — пронзительно тонко вскрикивала Анжелла. При этом она выбрасывала вверх руки и задирала голову в ночное агатовое небо.

— Мо-торр! (Урра!!) — воздетые тонкие руки вразброс, голова запрокинута: восторг, упоение, салют, бумажный змей на ветру, воздушные шары над стадионом… Я все ей сразу простила. Просто махнула рукой, поняла, с кем имею дело. Это был неразумный, невоспитанный ребенок сорока восьми лет, которого не научили, что чужую игрушку брать нехорошо, обзываться — некрасиво, а влезать в разговор взрослых со своими детскими глупостями — нельзя. И я, человек от рождения не просто взрослый, а пожилой, простила ей, как прощают детям…

Кажется, меня хватило на две такие ночные съемки. Потом я стала увиливать, отговаривалась головной болью.

Сейчас трудно поверить, что в гостинице меня удерживали тринадцать рублей суточных. Честно говоря, все пытаюсь вспомнить, неужели так худо было у меня с деньгами, неуже-

ли за тринадцать рублей я терпела эту гостиницу с табунами мух, переругивающихся Анжеллу с Маратиком, пьяного Вячика с его драпировками, Стасика с его майкой «Я устала от мужчин» ?..

* * *

В одну из ночных съемок я осталась в гостинице. Выждала, когда от главного входа отчалит узбекфильмовский «рафик», уносящий к бухгалтеру нашу галдящую кодлу. («А где шляпа? Где соломенная шляпа для дедушки?» — «Кабанчик, откуда я тебе шляпу возьму, пусть вот мою тюбетейку наденет…») — и от нечего делать спустилась в вестибюль, посмотреть телевизор.

У гостиничной стойки прохаживались три молодых негра. Двое — высокие, поджарые, с неестественно выпуклыми грудными клетками и столь же крутыми задами; третий обладал устрашающей бизоньей внешностью: налитые кровью глаза, мощный торс, обтянутый хлопчатобумажной дико-оранжевой майкой производства ташкентской трикотажной фабрики. По вестибюлю носился навязчивый запах спиртного. Негры на ломаном русском препирались с администратором Машей. «Откуда они?» — подумала я, не слишком, помнится, сосредотачиваясь на этой мысли. В Ташкентском ирригационном институте обучались студенты из дружественных стран черной Африки, так что ничего сверхъестественного в появлении этих парней здесь не было.

Минуты три я лениво наблюдала по телевизору национальные узбекские танцы, в сопровождении дойры, потом вышла на улицу. Через пыльную площадь к гостинице слаженно танцующей походкой подплывали еще двое. Эти были откровенно пьяны, и у одного — необычайно гибкого, как лиана, из кармана брюк торчала бутылка. Заметив меня, они почему-то страшно оживились, задергались, замахали руками и закричали довольно мирно, впрочем, что-то по-французски. Я различила слово «мадемуазель». Поднимусь-ка я в свой номер, подумала я. Проходя мимо стойки, где Маша запирала какие-то шкафчики, я спросила:

— А вы, что, уходите, теть Маш?

— Да вот, внучка заболела, — сказала она расстроенно. У нее было уставшее стертое лицо, такой бывает кожа на пальцах после длительной стирки. — Воспаление легких. И где подхватила в такую жару? Пойду, посижу с ней, здесь недалеко. Ничо, не сгорит тут без меня эта халабуда.

— А те привлекательные молодые люди, что, туристы? — спросила я.

— Кто, черножопые? — уточнила она. — Да шут их знает, какая-то у них тут конференция, что ли... Вон, зенки-то залили... Ты, девка, иди-ка в свой номер, иди, — посоветовала она. — Неча тебе тут околачиваться. А чуть чего — вот у меня телефон. Зови милицию.

Я поднялась в свой номер, заперла дверь и вдруг поняла, что осталась в гостинице одна с чудненькой компанией, свезенной сюда на какую-то таинственную конференцию.

Не зажигая света, я прилегла в одежде на койку и стала напряженно прислушиваться к звукам, доносившимся из вестибюля.

Участники конференции явно не собирались расходиться. Наоборот, веселье крепло и, судя по ритмичным прихлопываниям, приобретало плясовой характер.

И тут я отчетливо различила слово «мадемуазель».

Сердце мое обвисло тряпочкой, как воздушный шарик. Я взметнулась с койки и бросилась к окну: очень высокий второй этаж. К тому же окно выходило во внутренний двор гостиницы, заваленный много лет невывозимым мусором: тут были обломки кирпичей, битые бутылки, ящики из-под пива, перевитые ржавой проволокой.

— Мадемуазель! — орали снизу. — Идьем сьюда!!

Надо было прыгать, и все. В эту темень, — спиной, животом, коленями на эти ящики, головой об этот мазутный асфальт.

Сухой жар ужаса сделал меня невесомой. Не исключено, что если б в тот момент я порхнула из окна, то, зависнув в воздухе, плавно опустилась бы на битые пивные бутылки. Я опять ринулась к окну. Горланя что-то по-французски, эти дети свободной Африки довольно легко вышибали двери во всех номерах.

— Мадемуазель!! — неслось из коридора. — Идьем! Будьет карашо!!

Мой номер был угловым. Рядом с окном спускалась водосточная труба. Пора было прыгать. Я взобралась на окно, цепляясь за раму, и еще раз глянула вниз. В умирающем ночниковом свете чудом уцелевшего фонаря на углу я разглядела под своим окном выступавшие из стены кирпичи. И даже прочитала надпись, в которую они складывались: «прораб Адылов».

Никогда в жизни я не соображала так быстро. Я поняла, что ухватившись за ржавую скобу от водосточной трубы и спустившись на эти кирпичики, увековечившие имя славного прораба, я смогу распластаться по стене под широким подоконником, так что из окна обнаружить меня будет невозможно.

И тут загрохотала дверь в моем номере.

— Мадемуазе-е-ель!! — раздался истошный крик. — Гдье ты-и-и?!!

— Мадемуазель!! Ты убьежал, суким, бильядам!!

Я стояла, зачем-то закрыв глаза, как в детстве, когда кажется — вот зажмурюсь и стану невидимой, и вы меня не найдете... Господи, хоть бы кто-то из этих киношных придурков забыл в гостинице какую-нибудь дрянь, необходимую для съемок, и вернулся!

И вдруг сверху на меня что-то полилось... Это было настолько неожиданно и неправдоподобно, что несколько секунд, оцепенев, я стояла под теплыми струями, бегущими сквозь щель между стеной и подоконником мне за шиворот, абсолютно не понимая — что происходит. Потом поняла...

Не помню, сколько времени они куражились в номере: переворачивали мебель, били бутылки и, судя по ритмичному топоту, даже танцевали... Потом снизу раздался разъяренный причитающий голос тети Маши и спустя еще минут пять послышались мужские голоса: очевидно приехал наряд милиции.

— Вот они, гады!! — кричала Маша. — Где девушка?! Снасильничали — убили?!!

Участники конференции, судя по всему, не сопротивля-

лись милиции. Слышно было только пыхтение и страстное бормотание одного из них:

— Нет — убили! — Убили — нет! Мадемуазель, суким, убьежал...

— Господи, в окошко сиганула?! — ахнула надо мной Маша.

Я сказала шелестящим голосом, стараясь не шевелиться:

— Теть Маш... Я здесь... Снимите меня, пожалуйста...

Дальше все происходило быстро и слаженно. Маша с двумя узбекскими юношами — вероятно, дружинниками, — расстелили подо мной три матраса, на которые я благополучно свалилась окоченевшим кулем.

— Детка, ты что ж такая мокрая! — воскликнула Маша. — Понятно!

До сих пор не перестаю изумляться сообразительности этой простой женщины. Она повела меня в единственную душевую и минут тридцать сосредоточенно и усердно намыливала с головы до ног мое почти бесчувственное тело.

Скоро должна была вернуться группа с ночных съемок. Но все это уже не имело никакого значения. Жизнь была кончена. Мне было то ли двадцать семь, то ли двадцать восемь лет, но чудовищную подлинность и завершенность этого чувства я помню и сегодня.

Так я просидела на стуле часа полтора, не шевелясь. В пять ко мне тихо постучали.

Это был известный узбекский актер, одутловатый выпивоха в лаковых туфлях. Он исполнял в нашем фильме роль коварного и жестокого главаря мафии. Безнадежный алкоголик, он был в высшей степени интеллигентным человеком (под интеллигентностью я понимаю главным образом врожденное умение не обременять собою окружающих).

Трижды извинившись за то, что побеспокоил меня так рано, он сказал, что возвращается на день в Ташкент и вот, подумал, не нужно ли мне домой, он был бы рад подбросить...

Да-да, сказала я, спасибо, очень кстати. В халате главного администратора гостиницы «Кадыргач» я спустилась вниз и села в старенький синий «москвич» известного актера. Лучшего катафалка в последний путь придумать было невозможно.

Всю дорогу мы ехали молча, вероятно он чувствовал мою несостоятельность как собеседника, что лишний раз подтверждало подлинную интеллигентность этого вечно пьяного, крикливо одетого, безграмотного узбека.

Мы ехали довольно быстро. По краям шоссе бежали хлопковые плантации, иногда проскакивали тоскливые мазанки. Вдали слезились два тающих огонька. Казалось, это желто-глиняное пространство вращалось вокруг машины, как гончарный круг.

— Италии был, Швейцарский Альпа был, Венеция видел, Норвегий-Марвегий был... — певуче проговорил мой спутник. — Такой красивый земля, как наша, нигиде нет...

Как я и предполагала, сын ночевал у мамы. Но мне следовало пошевеливаться. В любой момент мать могла нагрянуть за какой-нибудь хозяйской надобностью.

В ванной, в тазу было замочено белье. На поднявшемся из воды островке сидел упавший с потолка таракан. Я освободила таз, наполнила горячей водой и поставила на стол. Села на табурет, опустила в таз обе руки, примерилась. Вот так в самый раз: когда я потеряю сознание, то просто тюкнусь физиономией в воду. Потом я вяло принялась искать бритву. Время шло, надо было скорее с этим кончать. Я взяла нож, конечно же тупой, как и все ножи в этом никчемном доме без мужчины, отыскала точильный брусок и также вяло принялась точить о него нож.

Я сидела в халате главного администратора гостиницы «Кадыргач», точила на себя, как на кусок говядины, кухонный нож и думала о том, что пошлее этой картины ничего на свете быть не может. Но я ошибалась.

Зазвонил телефон. От неожиданности я уронила на ногу тяжелый точильный брусок и, вскрикнув от боли, заковыляла к аппарату. Хамоватый тенорок украинского еврея произнес скороговоркой:

— Ничео, шо я рановато? Вам должны были передать, так шо я только напомнить: у меня большие яйца.

— ...Что я должна делать по этому поводу? — спросила я.

— У меня самые большие яйца! — обиженно возразил он. — Потому шо они от Замиры. Можете сравнить!

Господи, мысленно взмолилась я, почему Ты заставля-

ешь меня подавать реплики в этом эстрадном скетче! А вслух проговорила устало:

— Зачем же. Я вам верю. Можете привезти пару десятков.

— Так я живо! — обрадованно выпалил он, и это прозвучало как «щиво»...

... Разумеется, никто и никогда не привез мне яиц. Да и какой болван стал бы звонить человеку в шесть утра! Конечно, это был он — конвойная харя с ухватками вертухая, в ватных штанах, пропахших махоркой и дезинфекцией вокзальных туалетов. Мой ангел-хранитель, в очередной раз навесивший мне пенделей при попытке к бегству из зоны, именуемой жизнью...

Я вылила воду из таза и бросила в ящик стола кухонный нож. У меня болела спина и ныла шея, как будто, колотя, меня долго волокли за шиворот к моему собственному дивану. И я повалилась на него и проспала мертвецким сном целые сутки.

* * *

И вот приехала укладчица — юная особа русалочьего племени со всеми полагающимися причиндалами: длинными русыми волосами, как тяжелые водоросли скользящими по узкой спине, граненными камешками зеленых глаз и прочей сексуальной мелочишкой, вроде торчащих грудок, маленького оттопыренного ушка, за которое закладывалась тяжелая русая прядь и медленных долгих ног, сладострастно обвивающих друг друга независимо оттого, в какой позе укладчица пребывала — стояла, сидела или полулежала в кресле.

Звали ее... ой, я забыла, как ее звали. Хорошо бы — Виолетта: мне кажется, это имя с двумя плывущими гласными вначале и фокстротно притоптывающими «тт» в конце удивительно подходит ей. Если бы заложенный в ней сексуальный заряд обладал разрушительной силой, то, ручаюсь, она взорвала бы не только весь комплекс узбекфильмовских построек, но и район жилых домов в радиусе километров, этак, семи...

Стоит ли упоминать, что в нашу студию слетелись мужчины всех возрастов со всех этажей и из всех построек «Узбекфильма».

Когда, усевшись и вытянув во всю их благословенную длину ноги поверх кресла переднего ряда, Виолетта впервые просмотрела отснятый материал, Анжелла, помнится, спросила ее тревожно:

— Ну, что? Дня за три управишься?

Та неопределенно пожала плечами, погладила одной ногой другую.

— Не управишься? — еще тревожней спросила Анжелла.

В ту минуту я подумала, что ее заботит финансовая сторона вопроса. Однако, как показали события ближайших дней, дело было совсем не в том. Сигарета казалась приставной деталью личика Виолетты, вынимала она ее изо рта только для поцелуя. Дверь маленькой студии, где на рабочем экране во тьме беззвучно крутилось кольцо из склеенных кадров, распахивалась каждые пять минут. На пороге возникал силуэт очередного мужчины и, слабо застонав в экстазе узнавания, Виолетта распахивала объятия, в которые вошедший и падал.

Так появился в студии и известный столичный актер, к тому времени сыгравший главную роль в нашумевшем фильме знаменитого режиссера. Он вошел, Виолетта вгляделась прищуренными зелеными глазами в силуэт, и они расцеловались.

И вот тут, впервые за все эти месяцы, я наконец стала свидетелем того, что принято называть «высоким профессионализмом». Подсев на ручку кресла к Виолетте и поглаживая ее коленку, известный актер несколько мгновений вяло следил за происходящим на экране. Там крутилась довольно дохлая сцена выяснения отношений на свеженькую тему «отцы и дети», снятая в высшей степени изобретательно. Поочередно крупный план: внучек, поигрывающий желваками на высоких скулах половецкого хана; крупный план — сморщенное лицо страдающего дедушки. В конце сцены камера наезжает: из правого глаза деда выкатывается скупая актерская слеза.

Кольцо крутилось бесконечной каруселью: лицо внука — лицо деда — скупая слеза; лицо внука, лицо деда, слеза и так далее.

Виолетта, покуривая и сплетая атласные ноги, придумы-

вала подходящий текст под шевеление губ. Помнится, на этом кадре она почему-то застряла. И вот известный актер, просмотрев гениальный кадр всего один раз, уже на следующем витке, не снимая ладони с яблочно светящейся в темноте коленки, с фантастической точностью уложил некий текст в шевелящиеся на экране губы Маратика.

— Хули ты нарываешься, старый пидор? — негромко, с элегантной ленцой проговорил Маратик всесоюзно известным бархатным голосом. — Я те, ебенть, по ушам-то навешаю...

Эта фраза так соответствовала характеру самого Маратика и такой логически безупречной выглядела после нее скупая слеза на обиженном лице деда, что все, без исключения, сидевшие в студии, застыли, осознав сопричастность к большому искусству. А известный актер выдавал все новые и новые варианты озвучания кадра, в которых неизменным оставалось лишь одно — дед с внуком матерились по-черному. И каждый вариант был поистине жемчужиной актерского мастерства, и каждый хотелось записать и увековечить.

Порезвившись так с полчаса, известный актер вышел покурить. Я выскочила следом выразить восхищение.

— Ну, что вы! — устало улыбнувшись, возразил он. — Это давно известный фокус. Помнится, однажды с Евстигнеевым и Гердтом мы таким образом почти целиком озвучили «Гамлета». Вот это было интересно. Кстати, в подобном варианте монолог «Быть или не быть?» несет на себе гораздо более серьезную философскую нагрузку...

...Если не ошибаюсь, в конце концов кадр был озвучен следующим текстом:

Дед: — Неужели ты решился на этот поступок?

Внук: — Дедушка, вспомни свою молодость.

Камера наезжает. Из лукавого армянского глаза дедушки выкатывается густая слеза воспоминаний...

Потом известный актер удалился в обнимку с Виолеттой.

Надо сказать, она постоянно исчезала куда-то с тем или другим работником искусства.

— Пойдем, покурим, — предлагала она. Возвращалась, как после курорта, отдохнувшая, посвежевшая...

— Ах, — светло вздыхала она, закуривая. — Какой дивный роман когда-то был у нас с Мишей.

Казалось, на «Узбекфильм» она приехала, как возвращаются в родные места — встретиться с еще живыми друзьями детства, вспомнить былое времечко.

И снова в конце коридора возникал какой-нибудь киношный ковбой. Они с Виолеттой бросались друг к другу — ах, ох, давно ли, надолго?

— Пойдем, покурим, — предлагала Виолетта...

И снова:

— Ах, какой нежный роман был у нас с Кирюшей лет восемь назад...

Спустя дня три напряженной работы Виолетты над укладкой текста, я спросила Фаню Моисеевну:

— Слушайте, а сколько, собственно, годков этому дитяте?

— Ну, как вам сказать... Лет уже двадцать я работаю на «Узбекфильме», и... — она задумалась, что-то прикидывая в уме, — и все эти годы всех нас укладывает Виолетта.

Весь укладочный период работы над фильмом прошел под знаком оленьих драк за Виолетту. Я не говорю о мелких потасовках между мальчиками-ассистентами, осветителями, гримерами. Да я и не упоминаю всех этих перипетий, потому что все чаще уклонялась от посещений киностудии. Но вот обрывок странного разговора между Анжеллой и Фаней Моисеевной помню:

— А я вам сто раз говорила: три дня — и точка. И ни минутой дольше. Многолетний опыт подсказывает.

— Но, Фаня, у меня такой сплоченный коллектив!

На поверку самым слабым звеном в сплоченном коллективе оказалась парочка старинных друзей. Да-да, многолетняя дружба Стасика и Вячика треснула по швам на глазах у всей съемочной группы. Разумеется, с каждым из них у Виолетты когда-то был «светлый, дивный роман». Разумеется, они уже дважды съездили друг другу по физиономии.

— Но при чем тут мой фильм! — горестно восклицала Анжелла. — Творчество, творчество при чем?!

Увы, разрыв отношений у Стасика и Вячика произошел-таки на творческой почве.

— Ты импотент! — заявил оператор художнику. — Всю жизнь носишься с идеей драпирования объектов. Просто твое творческое бессилие!

— Я — импотент?! — угрожающе поднялся Вячик. — Это ты — импотент! Крупный план — задница героя — выкатывается слеза!!

— Фрейд на том свете сейчас имеет удовольствие, — заметил вполголоса Толя Абазов, присутствовавший при этой сцене.

— А я ей говорила — три дня и точка! — бубнила за моей спиной Фаня Моисеевна.

Мой взгляд случайно наткнулся на Виолеттины ноги под креслом. Они кейфовали. Скинув горделиво выгнутую туфельку на высоченном каблуке, левая, большим пальцем тихо и нежно поглаживала крутой подъем правой…

И напрасно директор фильма Рауф втолковывал Виолетте: «Кабанчик, не бесчинствуй!»

Творческий разрыв между оператором и художником углублялся. Отношения становились все более напряженными. Получая гонорар, из-за которого, собственно и задержались оба в Ташкенте, они поцапались из-за очереди в кассу. Вячик обозвал Стасика некрасивым словом «говно»... Как и следовало ожидать, оба в конце концов поставили Анжеллу перед сакраментальной ситуацией «я или он». Анжелла выбрала Стасика, и Вячик уехал оскорбленный, напоследок, разумеется, высказав все, что думает — об идиотке режиссерке, кретинке сценаристке, бесполом мудаке-операторе и бездарных актерах.

— Давай, давай, — со свойственной ей прямотой, отвечала на это Анжелла. — Иди, драпируй свою…

Выбегая из студии, он споткнулся о неосторожно вытянутую мной ногу, упал, ушибся и весь в слезах крикнул: «Бездарь, бездарь!»

Меня это почему-то расстрогало. Я вообще испытываю грустную нежность к прототипам своих будущих героев, особенно к тем, кого почему-то называют «отрицательными», хотя, как известно, отрицательный персонаж в очищенном виде — это редкость в литературе. Я заранее испытываю по отношению к ним нечто, похожее на томление вины. Говорят, палачи испытывают некий сантимент к будущей жертве.

Вот и я, гляжу на оскорбленного Вячика, на торжествующего Стасика в белой маечке с надписью «Я устала от мужчин» и сладострастно думаю: милый, милый… а ведь я тебя смастерю. Нет, не «изображу» — оставим дурному натуралисту это недостойное занятие. Да и невозможно перенести живого человека на бумагу, он и на ней останется бумажным, застывшим. Но персонаж можно сделать, создать, смастерить из всякой мелочишки (подобно тому, как во дни прихода Мессии по одному единственному шейному позвонку обретут плоть и оживут давно истлевшие люди).

Могу рассказать, как это делается. Из одной-двух внешних черточек лепится фигура (тут главное тщательно соскрести лишнее) и одной-двумя характерными фразочками в нее вдыхается жизнь.

Этот фокус я воспроизвожу уже много лет, и как любой фокусник, конечно же, не открою публике последнего и главного секрета. Но, спрашиваю я вас, при чем тут прототип — живой, реальный, не слишком интересный человек? Да не было, не было у Стасика никакой белой маечки с надписью «Я устала от мужчин!» Я ее выдумала. Но в том-то и фокус, что могла же и быть. А теперь даже и странно, что ее не было. Фокус-покус, театр кукол, студия кройки и шитья…

А дом мой все строился на моем пустыре. Уже возведены были бетонные стены; по воскресеньям мы с мамой и сыном ходили «смотреть нашу стройку» и, рискуя сломать ноги, бродили в горах строительного мусора, среди обломков застывшего бетона и кусков арматуры.

— Замечательно… — приговаривала мама, взбираясь по лестничному пролету без перил, — вот здесь будет дверь в нашу квартиру… Нет, вот здесь… Дети, не споткнитесь об эту плиту. Нет, здесь будет дверь в туалет… А тут, в прихожей, мы повесим зеркало…

Озвучивать ленту Анжелла решила на студии Горького.

Ноябрьским слякотным утром небольшой группой мы прилетели в Москву, чтобы завершить последний этап работы над фильмом.

И с этого момента в моей памяти исчезли целые эпизоды, кадры побежали, словно киномеханик вдруг ускорил темп, текст неразличим, лента смялась и, вообще, застряла в аппарате. Раздражающий перерыв в действии, когда вдруг вспоминаешь, что у тебя полно неотложных дел, а ты сидишь здесь, теряешь время на какую-то чепуху. Минута, две… и ты уже встаешь, не дожидаясь, пока пьяный механик исправит аппарат, и идешь по рядам к выходу, спотыкаясь о чьи-то посторонние ноги…

Мокрый снег, уже на трапе самолета заплевавший физиономию; неожиданная, нелепая ссора с Анжеллой в студии звукозаписи — не помню повода, а скорее всего, не было повода, просто время пришло, слишком долго друг друга терпели; несколько раз кряду выкрикнутое ею «Кто ты такая?! Нет, кто ты такая?!» (Кстати, никогда в жизни я не могла внятно ответить на этот вопрос) — и патетическое: «Я плюю на тебя!»; стояла она очень близко, да еще наступала на меня, картинно уперев кулаки в бока, как солистка в опере «Сорочинская ярмарка». Так что я позорно бежала (о, всю жизнь я не кулачный боец, как всегда — задний ум, остроумие на лестнице…) — выскочила из студии, навалясь боком на гладкие перила, и, как в детстве, съехала по лестнице в вестибюль с грязноватыми лужицами натекшего с обуви снега.

За мной мчался Толя Абазов, на ходу ловил мои руки, приговаривая: «Голубчик, не надо, ну, не надо! Да плюньте вы, плюньте!..» Это все очень вписывалось в сцену, но как-то разрушало его образ человека ко всему равнодушного. Хотелось спросить: а почему же вы сценария моего не читали?

Я вырвала руку, выбежала на улицу в мокрый, косой, заплевывающий куртку снег.

В номере моем трезвонил телефон. Это была, конечно, Анжелла. Ей, как всегда, ничего не стоил переход от оскорблений к лобызаниям, страстным извинениям и признаниям в любви. Абсолютно искренним. В отличие от моего, у нее был легкий характер.

Не снимая куртки, я схватила телефонную трубку, чтобы одной-двумя фразами оборвать навсегда эти никчемные отношения, и:

— К-о-вахная! — услышала я из трубки голос монаха в миру, последнего графа Томаша. — Как вы смели не телефониховать мне с бохта самолета! Я не ожидал от вас подобной подлости!

— Ласло, дорогой, здравствуйте…

— Мы должны встхетиться сейчас же! Я веду вас в мастехскую к одн-о-му гениальному художнику.

Мне ужасно не хотелось опять выходить в ноябрьскую сумрачную слякоть, трястись в метро. Но мысль, что в любую минуту сюда может явиться Анжелла, хохотать, виснуть на шее и целовать взасос, была еще невыносимей. Надо было смываться отсюда, переночевать у кого-то из знакомых и, поменяв билет, вылететь завтра домой.

Мы договорились с Ласло о встрече на метро «Маяковская» — где-то там, во дворце пионеров на Миусской площади, обитал совершенно ненужный мне художник.

На встречу Ласло пришел не один, а с девочкой, по виду лет пятнадцати, высоконькой, плосконькой, с неестественно прямой, как щепочка, спиной и разработанными комковатыми икрами балерины. Она оказалась балериной Кировского Ленинградского театра. Ее детское чистое лицо было полностью свободно от какого-либо выражения; легкая полуулыбка на аккуратных бледных губах имела явно не духовное, а мускульное происхождение. Леночка.

Последний венгерский граф Томаш, монах в миру, трепетал, как терьер на весенней охоте. Он брал девочку под локоток, время от времени размашисто крестил и благословлял на трудное служение искусству. На меня он тоже изредка обрушивал короткое, но пронзительное внимание, оглушал — так «моржи» зимой выливают себе на голову ведро ледяной воды. Между делом сообщил, что снял с себя сан монаха в миру и из лона православной церкви перешел в лоно католической (в его транскрипции слово

«лоно» приобретало оттенок чего-то непристойного). Впрочем, все его внимание было поглощено балериной.

— Я увезу вас в Шахап-о-ву охоту! — восклицал он, — пхикую кандалами к станку и заставлю танцевать день и ночь!

Интересно, что на девочку эти страсти не производили никакого впечатления. Я плелась за ними в бурой каше таявшего снега, заводя волынку со своим внутренним «я», пытаясь понять: какого черта любому, кому не лень, позволено делать с моей жизнью все, что он посчитает забавным и нужным.

В моменты отчаяния я всегда раздваиваюсь и затеваю с собой внутренние диалоги или затягиваю тягучий назидательный монолог, обращенный к некому никчемному существу во мне, которое в такие минуты даже не оправдывается, а просто плетется в ногу со мной, понуро выслушивая все справедливые обвинения, которые приходят мне в голову. В психиатрии для обозначения этого состояния существует специальный термин, который я, впрочем, забыла.

Мы пересекли Миусскую площадь, в центре которой чугунно громоздились две группы героев Фадеева: молодогвардейцы перед расстрелом и конный Метелица, с пешим Левинсоном. (Фадеев — хороший писатель, — утверждала мама, — он не был антисемитом.)

Мы поднялись на второй этаж Дворца пионеров мимо раскрашенных диаграмм. Двери «Изостудии» были заперты. Я вздохнула с облегчением.

— А вот и он, — воскликнул Ласло в сторону коридора, — дхугмой, гений и собхат! — и, склонившись ко мне, добавил: — Он был в востохге от вашего сценахия и мечтал хаботать в фильме!

Со стороны туалета к нам приближался человек с жестяной банкой в одной руке и пучком мокрых кистей в другой. Он шел против света — темный силуэт, худощавый человек; интересно, что даже в таком освещении было видно, что одет он в старомодный и неприлично поношенный костюм. Не то, чтоб бахрома на рукавах, но… откровенно, откровенно. И вообще, такие силуэты принадлежат не художникам, подумала я, а скромным провинциальным бухгалтерам.

— Б-о-хис, — продолжал Ласло громко в сторону приближающейся фигуры. — Я пхивел вам двух ваших будущих моделей. Вы должны пхиковать их к стулу кандалами и писать, писать…

— Здравствуйте, — сказал художник будничным и мягким голосом, в котором слышался сильный акцент уроженца Украины (да, бухгалтер, бухгалтер). Он проговаривал все буквы в приветствии, словно ведомость составлял; но это сразу делало стертое служебное слово — смысловым. — Простите, у меня руки мокрые, я кисти мыл.

После красочных словесных гирлянд графа Томаша звук этого голоса и манера говорить производили впечатление ровного бормотания осеннего дождя непосредственно после исполнения парковым оркестром марша «Прощание славянки». Художник отворил дверь студии, и мы из полутемного коридора попали в огромную комнату с рядом высоченных окон. Вокруг стояли школьные мольберты и грубые, радужно заляпанные гуашью табуреты.

Я обернулась: художник смотрел на меня в упор. У него была небольшая аккуратная борода, заштрихованная легкой проседью, и аккуратная, циркульно обозначенная лысина, классической греческой линией продолжающая линию лба. Вообще внешность у него была южного, крымско-эгейского замеса. И конечно — какой там бухгалтер! — темнота меня попутала. Он разглядывал меня профессионально невозмутимыми глазами. Я не смутилась: так смотрят на женщин художники, фотографы и врачи — те, кто по роду профессии соприкасается с женским телом не только на чувственной почве.

— Б-о-хис, помните, я пхосил вас пхочесть мне вслух один гениальный сценахий? — спросил Ласло.

— Да, да, — ответил тот, раскладывая кисти. — Кошмарное произведение. Где советский следователь поет песни? Что-то несусветное…

Физиономия бывшего монаха в миру заиграла всеми оттенками удовольствия. Я почему-то страшно обиделась.

«Вот этот самый отвратный, подумала я о художнике, — мерзкий, лысый, наглый провинциал!»

Это был мой будущий муж. И я надеюсь, Судьба окажется ко мне столь милосердной, что до конца своих дней, проснувшись и повернув голову, я буду натыкаться взглядом на эту лысину. Со всем остальным я смирилась. Например, с тем, что опять я сплю в мастерской, среди расставленных повсюду холстов, и время от времени ночью на меня падает неоконченный мой портрет, неосторожно задетый во сне рукой или ногой...

Ласло, припрыгивая вокруг балерины, кружась, совершая, не скажу — балетные, но явно танцевальные па, потребовал, чтобы «Бохис» немедленно познакомил нас со своими гениальными полотнами.

Художник зашел за свисающую с потолка в конце зала длинную серую занавесь и стал выносить оттуда картины — холсты, натянутые на подрамник, картонки.

Я ничего не поняла в этих работах. В то время я воспринимала только внятное фигуративное искусство. Веласкес. Рафаэль. Модильяни — с усилием. А Ласло подскакивал к холстам, шевелил пальцами возле какого-нибудь синего пятна или расплывчато-серого силуэта и отскакивал назад, объясняя Леночке, в чем гениальность именно этого пятна или силуэта. Леночка держала полуулыбку, как держат спину в той или иной балетной позиции и — молчала. Кажется, она так и не произнесла ни слова за все время.

Через полчаса Ласло заявил, что никогда в жизни еще не был счастлив, как сегодня. И если б не срочный, через час, отъезд в Ленинград, где в Кировском проходят репетиции балета «Король Лир», в котором Леночка танцует Корделию, то ни за что и никогда он не расстался бы с нами. Он увез бы нас в Шарапову охоту, приковал кандалами одного — к мольберту, другую — к письменному столу и заставил бы «Бохиса» писать и писать портрет «Кинодраматург за работой»...

Затем — целование ручек, размашистые в воздухе кресты; наконец, они исчезли.

Художник подхватил в обе руки две последние картонки и понес за занавес.

— Не обижайтесь на Ласло, — послышался оттуда его голос. — Он одинокий и сумрачный человек. Эксцентрик. Пиротехник... Все эти шутихи и петарды — от страха перед жизнью...

Он вышел из-за занавеси и сказал:

— У меня сейчас дети, в два тридцать. А потом мы можем пообедать в столовой, тут рядом.

— Да нет, спасибо, — сказала я. — Мне пора идти.

— Напрасно, — сказал он, — столовая обкомовская, цены дешевые...

Стали появляться дети. Художник облачился в синий халат, все-таки придающий ему нечто бухгалтерское, и стал раскладывать детям краски. Он переходил от мольберта к мольберту.

Один мальчик лет пяти вдруг сказал звонко:

— Это Буратино. Он мой друг, понимаешь? Я его жалею, как друга!

День в высоких, запорошенных снегом окнах стал меркнуть, в зале зажглись лампы дневного света. Надо было немедленно встать и уйти, но этот провинциальный, с украинским акцентом, человек был так внятен, вокруг него расстилалось пространство здравого смысла и нормальной жизни, и я все тянула с уходом; после стольких месяцев барахтанья в пучине бреда, мне нравилось сидеть на этом утоптанном островке разумного существования.

Я и топчусь на нем до сих пор, не позволяя волнам бреда захлестнуть мою жизнь...

После занятий мы пошли в обкомовскую столовую, куда после трех пускали простых смертных, и мы ели винегрет, действительно дешевый. Платил — едва ли не в первый и последний раз в нашей жизни — художник; выскребал мелочь из засаленного, обшитого суровыми нитками старушечьего кошелька. Впоследствии платежные обязанности перешли ко мне, старушечий кошелек я выбросила, да и дешевые столовые как-то ушли из нашей жизни... Нет, я не

сноб, или, как говорила Анжелла — снобиха. Просто казенные винегреты невкусные...

* * *

На этом и завершилась моя киноэпопея. Я еще присутствовала на каких-то просмотрах, кланялась в шеренге съемочной группы на премьере фильма в ташкентском Доме кино. Шеренга мной и заканчивалась, если не считать в углу сцены мраморного бюста Ленина, на который — словно бы по замыслу Вячика — живописно ниспадал вишневый занавес, придавая бюсту сходство с римским патрицием.

Кстати, о римских патрициях. Я живу на краю Иудейской пустыни, эти мягкие развалы желтовато-замшевых холмов, эта сыпучесть, покатость, застылость меняет свой цвет и фактуру в зависимости от освещения. В яркий день, в беспощадном, столь болезненном для глаз свете вселенской операционной эти холмы напоминают складки на гипсовой статуе какого-нибудь римского патриция.

Выводя на прогулку своего любимого пса, я гляжу на скульптурно-складчатые холмы Иудейской пустыни и вспоминаю неудачную попытку Вячика задрапировать этот мир. Что ж, думаю я в который раз — то, что не удалось сделать хрупкому, несчастному и не всегда трезвому человеку, вновь и вновь с мистической легкостью воссоздает Великий Декоратор...

Публика хлопала вяло, но доброжелательно. Положение спасала прелестная музыка, которую, как и обещал, написал к нашему фильму ЛаслоТомаш. Нежную нервную мелодию напевал девичий голосок, и мальчишеские губы влюбленно подсвистывали ему.

После премьеры меня разыскал в фойе Дома кино знакомый поэт-сценарист.

— Ну, вот видишь, — сказал он, — все уладилось. На черта была тебе твоя девственность? Забудь об этой истории, как о страшном сне, и въезжай в новую квартиру... По идее ты должна была бы мне банку поставить, — добавил он. — Но я, как настоящий мужчина, сам приглашаю тебя обмыть этот

кошмар. Получил вчера гонорар за мультяшку: «Али-баба и сорок разбойников»...

Все-таки, он был трогательным человеком, этот мой знакомый!

Мелькнуло среди публики и слегка растерянное лицо Саши — прототипа героя, следователя и барда... Он не подошел ко мне. Может, с обидой вспоминал, как ради всей этой бодяги оформлял очной ставкой мои экскурсии в тюремную камеру.

Я даже помирилась с Анжеллой. Она, повиснув на мне, прокричала в ухо что-то задорное, я (что возьмешь с этого ребенка!) пробормотала нечто примирительное. Вместе, как было уже не раз, мы получили поровну и последний гонорар в кассе киностудии. Я была холодна и покорна, как князь, данник Золотой Орды. Все это было уже по другую сторону жизни. Мы сдали в кооператив нашу квартиру, в дверь которой успели врезать замок, и уехали с сыном жить в Москву. Мама очень горевала, а отец воспринял это с некоторым даже удовлетворением. Возможно, мой переезд в столицу представлялся ему стратегическим шагом в верном направлении (если, опять-таки, конечной целью считать почетное-захоронение-всем-назло-моего-праха на Новодевичьем).

Пускаясь в то или иное предприятие, я всегда предчувствую, как посмотрят на дело там, наверху, по моему ведомству: потреплют снисходительно по загривку, или, как говаривала моя бабушка, «вломят по самые помидоры». Не должна была я жить в этом доме, не должна! Все говорило об этом, надо лишь чутче прислушиваться к собственным ощущениям в безрадостных прогулках по чужим пустырям. Не должна была я жить в этом чужом доме, не должна была снимать этот чужой фильм. И наверняка не должна была писать эту повесть по заманчивым извивам чужой судьбы...

Перед отъездом в Москву я зашла к Анжелле, чтобы забрать кое-какие свои журналы и книги. Мы поговорили минут десять. Анжелла была непривычно натянута и стеснена, впрочем, как и я: сказывалась натужность нашего

примирения. Я, с облегчением попрощавшись, уже направилась в прихожую, но тут резко зазвонил звонок входной двери — настырным будильничьим звоном. В прихожую, застревая в дверях, пытались прорваться трое. Им это не удавалось, потому что группа представляла собой двоих молодых людей, нагруженных чьим-то бесчувственным телом. Вглядевшись, я узнала вусмерть пьяного Мирзу. Голова его со свалявшимися седыми космами каталась по груди, как полуотрубленная. Молодые люди, по-видимому, аспиранты, подхватив профессора под руки и полуобняв за спину, деловито переговаривались, как грузчики, вносящие в дом пианино.

— Разверни́сь, — говорил один другому, сопя от напряжения, — втаскивай его боком…

— На-поили-и! — крикнула Анжелла жалобно куда-то в комнаты. — Маратик! Его опять напоили на банкете!

Из комнат выбежал Маратик, в трусах «адидас», с выражением закостенелой ненависти на перекошенном лице степняка. Он каким-то приемом крутанул отца, встряхнул его, как куклу, и поволок в глубь квартиры. Оттуда послышались звуки тяжелых шмякающих ударов, тоненькие стоны и всхлипы, Молодые люди, тоже не слишком трезвые, смущенно переглянулись.

Я скользнула между ними и, минуя лифт, бросилась вниз по лестнице навсегда из этого дома.

* * *

Почему я вспомнила сейчас, как аспиранты, натужно сопя, вносили в дом бесчувственного профессора? Потому что мне привезли стиральную машину, и крошечный жилистый грузчик-араб, обвязавшись ремнями, поднимает ее на спине на четвертый этаж.

Он приветлив, подмигивает мне и, поправляя ремень на плече, время от времени оживленно повторяет:

— Израиль — блядь! — неизвестно, какой смысл вкладывая в это замечание: одобрительный или осудительный. — Израиль — блядь! — весело повторяет он. Очевидно, его научили этому коллеги, «русские»», не исключено, что и аспиранты, в последнее время пополнившие ряды грузчиков.

Я полагаю, что человек за все должен ответить. Он должен еще и еще раз прокрутить ленту своей жизни, в иные кадры вглядываясь особенно пристально — как правило, камера наезжает, и они подаются крупным планом.

Я с трудом читаю заголовки ивритских газет, и моя собственная дочь стесняется меня перед одноклассниками. Это мне предъявлен к оплате вексель под названием «сифилиска песен». Я так и вижу ухмыляющуюся плешивую харю: «Давай, давай, голубушка, — говорит он, мой конвойный, — ну-ка, еще раз: «си-си-лисска песен...» — это широким ковшом отливаются мне тоска и страх мальчика в розовой атласной рубахе.

И некуда деться — я обязана сполна уплатить по ведомости, спущенной мне сверху, даже если невдомек мне, за что плачу. Кстати, я так и бытовые счета оплачиваю, не выясняя у компаний, за что это мне столько насчитано. Похоже, мой ангел-хранитель так и не приучил меня понимать смысл копейки...

Изредка нам позванивает наш старый друг, Лася, Ласло Томаш. Он по-прежнему страшно одинок, все ищет истинного Бога и грозится приехать на Святую землю.

На днях и вправду позвонил и сообщил, что приезжает на какой-то христианский конгресс по приглашению англиканской церкви в Иерусалиме. Просил меня выяснить точные условия прохождения обряда гиюра.

— Чего?! — крикнула я в трубку, думая, что ослышалась. Я всегда волнуюсь и плохо слышу, когда мне звонят из России.

— Пехейти в иудаизм! — повторил Ласло. — Я никогда не г-о-вохил вам, что моя покойная мама была евхейкой?

— Ласло, — проговорила я с облегчением, — тогда вам не нужно проходить гиюр, можете смело считать себя евреем, но, — добавила я осторожно и терпеливо, — не следует думать, что для двухнедельной поездки в Иерусалим вы обязаны перейти в иудаизм. В принципе, здесь не убивают людей и другой веры. К нам ежегодно приезжают паломники, и христиане, и буддисты.

— Пхи чем тут буддисты?! — завопил он.

Я помолчала и зачем-то ответила виновато:
— Ну... буддизм — тоже симпатичная религия...

* * *

Склон Масличной горы, неровно заросший Гефсиманским садом, напоминает мне издали свалявшийся бок овцы. Того овна, что вместо отрока Исаака был принесен Авраамом в жертву — тут, неподалеку. Все малопристойные события, которым человечество обязано зарождением нравственности, происходили тут, неподалеку. И в это надо вникнуть за оставшееся время.

Я смотрю из огромного моего полукруглого окна вниз, на двойную черную ленту шоссе, бегущего в Иерусалим, на голые белые дома арабской деревни, — коробочки ульев, расставленные, как попало небрежным пасечником.

Камера наезжает: в голых кустах у магазина шевелится вздуваемый ветром полиэтиленовый мешочек. Вот он покатился, взлетел, рванул вверх, понесся над склоном нашей горы ровно и бесшумно, как дельтаплан, вдруг взмыл и стал подниматься все выше, полоскаясь в небе, словно бумажный змей на невидимой нитке.

— Смотри, мотэк, — говорит рыжий Цвика, хозяин лавки, — я в своей жизни пошлялся по разным американ-франциям... по этим... как их? — швейцарским альпам... Поверь, красивей, чем наша с тобой земля, нет на свете...

Пятый год я размышляю о своей эмиграции, но лишь на днях обнаружила, что думаю о ней скрупулезно и настойчиво. С обстоятельностью лавочника взвешиваю прибыль и торопливо списываю убытки, подсчитываю промахи, казню себя за недальновидность. День и ночь я зачем-то обдумываю свою эмиграцию, как будто мне только предстоит решиться или не решиться на этот шаг.

Забавно, что единственную в своей жизни окончательность, единственную бесповоротную завершенность я как бы и не желаю заметить. Это похоже на старый еврейский анекдот, помните: «Умер-шмумер, лишь бы был здоров!»

Ну, я и здорова. Тем более, что до Новодевичьего кладбища отсюда приличное расстояние.

«Ты начальничек... винтик-чайничек... отпусти до дому...»

А какие здесь пейзажи! Боже, какие пейзажи: на эти живые, грозно ползущие по холмам «жемчужные тени армад небесных» можно любоваться часами. А если принять стакан, то немудрено и вовсе застыть у окна, столбенея от счастья, что нередко со мною здесь происходит — ведь мне еще нет сорока, говорю я себе, и жизнь бесконечна!.. Бесконечна, черт бы ее побрал!

Ирина ГРЭМ

ДВА РАССКАЗА

Год змеи

На авеню Жоффр, главной улице французской концессии Шанхая, с ее витринами модных лавок, кафе и ресторанами, всегда отворены большие ворота, ведущие в проходной двор, где ряд за рядом теснятся трехэтажные дома с длинными, во весь фасад, балконами. Этот особый стиль колониальной архитектуры называется в Шанхае «террасами»; в них сдаются хозяйками домов меблированные комнаты.

В прихожей террасы «Линда» висит мутное зеркало; взглянешь, — и вместо лица отразится кривой пузырь. На лестнице пахнет сырым луком и пригоревшим молоком, половик истерт жильцами. Комнаты чем выше, тем дешевле; под самой кровлей лепятся каморки, где летом душное пекло, а зимою по углам иней. Хозяйка дома, известная в околотке как «Куприяниха» — медведица в ситцевом капоте — встречает желающих поселиться в террасе «Линда» сурово:

— Где служите? Дети есть? С детьми не сдаю. Плата за месяц вперед и залог.

Куприяниха ежегодно повышает цены, а если жильцы протестуют, то перекрывает воду, выключает электричество и телефон запирает на замок. С утра Куприяниха на ногах, осматривает свои владения:

— Опять крант на кухне не закрыли! Кто входную дверь настежь оставил?

Весь день проходит в хлопотах и дрязгах, а чуть зазвонят к вечерне, Куприяниха, повязавшись платком, шествует ставить свечку Заступнице, чтобы уберегла от супостатов: Зыков опять скандалил, и Анка халдит, никакой управы нет,

В коридоре второго этажа, около закрытой двери, расселась на горбатой кушетке компания женщин. Сидят молча, курят, подпиливают себе ногти, роются в сумочках, пудрятся. За дверью слышны негромкие голоса, иногда раздается вскрик, заглушенный отрывистым женским смешком и песенкой «My Darling». Тогда сидящие на кушетке, вздохнув, смотрят на часы. Но вот дверь распахивается, и на пороге появляется жгучая блондинка, невысокая, крепко сбитая, в белом докторском халате. В руках у нее эмалированное ведро или эйсмарховская* кружка.

— Здравствуй, Любочка, — вразбивку приветствуют ее с кушетки.

— Халло, халло, — отвечает Любочка. — Потерпите, я скоро!

Песенка «My Darling» доносится из уборной, грохочет спущенная вода, и Любочка, вышагивая ногами, похожими на кегли, торопится обратно. Через минуту из комнаты поспешно выходит пациентка, а за ее спиной Любочка сияет золотозубой улыбкой:

— Ну, дарлинги, чья очередь?

Любочкина комната лучшая в доме. В ней тахта с множеством подушек — атласных, бархатных, вышитых по канве, — подарены больными. И на комоде подарки: серебряные чайные ложки, серебряная лопаточка для торта, серебряное ручное зеркало. Тахта, ковер, фикус, радио и вся

* Кружка для клизмы

мебель тоже дареные. Приемная Любочки за ширмой: там врачебная койка, на столике в металлической коробке кипит вода, стерилизуются инструменты и шприцы. Подушечки из марли, вата, бинты, — все стерилизовано. Есть и стетоскоп; Любочка им пользуется, как заправский доктор, хотя она только акушерка-фельдшерица. Большинство ее пациентов косметички, мелкие служащие, девушки из кабаре. Ходят они к ней подлечиться. Любочка ставит банки, выводит глистов, делает массаж, педикюр, прописанные врачами уколы, диатермию, дежурит у постели тяжело больных. Серьезные болезни Любочка не лечит, а если к ней пристают с просьбами, рукой машет:

— Ступай, дарлинг, к доктору.

Но в своем деле она воистину мастер.

— Ну, ну, не пищи, а то подумают будто я тебя убиваю, — смеется она, приближаясь к пациентке со шприцем.

— Ты только не больно, Любочка, миленькая, — тоскливо молит больная.

У Любочки рука легкая, а оспу она прививает так успешно, что ее просят:

— Привей, Любочка, да так, чтобы не принялась.

— А ты радуйся, если примется, — наставительно замечает Любочка. — Не дай Бог заболеешь оспой, на всю жизнь корявой останешься.

Имеет Любочка и повивальную практику: по этим делам к ней наведываются китаянки.

— Китаянки мои не кричат, а только охают, — рассказывает она. — И едва схватка их отпустит, сразу есть просят. Подадут им жареный рис, пельмени, свинину, — все съедят. Сколько раз схватит, столько и съедят. И не успеют родить, опять подавай им еду!

Берет Любочка недорого и лечит в кредит, если пациентке нечем платить. Но узнав, что у той завелись деньжата, ссориться не станет, а поймает должницу в кинематографе или магазине и примется укорять:

— Ты что же, дарлинг, в кино ходишь, а ко мне дорогу забыла. Ты за двенадцать визитов мне должна, да за лекарство. У меня, дарлинг, все записано.

Практикует Любочка и в семейных домах. Когда у кого-

нибудь бронхит, прострел или дети объелись, обязательно зовут Любочку.

Любочка незаурядный диагност: присмотрелась к болезням. За талант этот пациенты называют ее в шутку «доктор Миллер». Фамилия у нее иностранная: муж покойный, Герман Иваныч, был латыш, профессиональный борец. Познакомилась с ним Любочка в родном Златоусте.

— Влюбилась в него до безумия, из дому бежала, — рассказывает она. — Папаша мой слышать не хотел, чтобы за Германа Иваныча шла: «Циркач, говорит, голый на арене корячится». Хоть я фельдшерские курсы кончила и практиковала, а папа был у-ух строгий! Ну, и пришлось нам бежать.

Добежали Любочка с Германом Иванычем сначала до Читы, оттуда через Харбин до Шанхая. Там и похоронила она Германа Иваныча: сердце климата не выдержало. Любочка очень горевала, осунулась, поседела, пришлось в блондинку выкраситься. И странно: за жгуче-соломенный цвет волос проходу не стало от ухажеров; на улице матросы и морские пехотинцы пристают, мужья пациенток увиваются. Сергей Семеныч, например: чуть придет Любочка к его постоянно хворающей жене, как он суется с поцелуями.

— Что вы, Сергей Семеныч, — отмахивается Любочка. — Не стыдно ль вам, я Анну Васильевну сколько лет пользую, вам геморрой выводила, с ума вы сбесились?

— При чем здесь геморрой, оставим прозу, — не унимается Сергей Семеныч и лезет снова.

Случались у Любочки романы, всегда, однако, они мирно заканчивались. Один из ее бывших сожителей, штурман британского крейсера, до сих пор шлет ей открытки из разных стран; другой мореход, навигатор торгового судна, хотя и женился у себя на Родине, тоже присылает поздравления к празднику. От тяжелой работы и бессонных ночей возле постели больных у Любочки в сорок лет под глазами морщинки, но фигура у ней подбористая. Жить бы Любочке до бестревожной старости, если бы не встреча с Чарли.

Произошла она вечером: Любочка торопилась на рикше к роженице, в китайский квартал, и вдруг увидела, что квартал закрыт: полиция и американские морские пехотинцы стояли на карауле перед проволочным заграждением.

Рикша Любочки остановился и, опустив оглобли своей коляски на землю, объявил:

— Мею фадза, мамачо!*

— Что ты мелешь? — рассердилась Любочка. — По другой улице поезжай! Скорей, чоп-чоп!**

— У-квэ, — ухмыльнулся рикша. — У квэ, мисси!***

Любочка топнула ногой и стала торговаться. На шум вышел из-за баррикады американский марин****.

— Что случилось, лэди? — вежливо спросил он.

— Я доктор, — стала взволнованно объяснять Любочка. — Меня вызвали к больной, ей нужна скорая помощь!

— О'кэй, доктор, — улыбнулся марин. — Я вас провожу.

Заграждение подняли и марин, взяв любочкин саквояжик, пропустил ее вперед. На дворе стоял февраль, но было совсем не холодно. Луна блестела на осколках битого стекла, вставленного остриями вверх на высоких заборах для защиты от воров.

— Как тепло, — сказала Любочка.

— Весна! — сказал ей спутник. Сняв свою круглую шляпу, он отер лоб. У него было молодое нежное лицо. И Любочке вдруг стало жалко этого американца, одного, на чужбине.

— Вы давно в Шанхае? — спросила она.

— С прошлого года. — Марин опять снял шляпу. — Мое имя Чарли Тэйлор. Позвольте с вами познакомиться, доктор.

Любочка хотела, было, признаться, что она не доктор, но американец смотрел почтительно, серьезно; нехорошо перед ним врушей оказаться, да и объяснять долго, времени нет.

— Вы, доктор, мужчин тоже лечите? — спросил он.

— Конечно! Пошлите за мной если вы, не дай Бог, захвораете. Я живу на авеню Жоффр, в террасе «Линда». Вот мой адрес.

Марин лихо отсалютовал и замаршировал на свой пост.

— Сегодня же он меня забудет, — подумала Любочка, позвонив в дверь роженицы.

---

* Неудача, надо ждать.
** Скорей.
*** Пять долларов.
**** Марин — морской пехотинец.

* * *

Зинаша, жена Зыкова, донского казака, привозившего из Урги монгольских лошадей для продажи, вбежала в свою комнату, держась за правую руку.

— Степан! Степан! — кричала Зинаша. — Меня Дуськина собака за палец укусила!

Лошадник обожал Зинашу, голубоглазую блондинку с детским личиком.

— Что? Укусила? Больно укусила? — испугался он. — Вот я ей сейчас покажу!

И Степан, разъярившийся не на шутку, ринулся задать жару и Дусе и ее псу:

— Эй, вы, как вас! Дуся! Где вы там спрятались? Выходите!

— А ну-ка, ну-ка! — вышла навстречу Дуся.

Ее Тубик — умнейшее животное и никогда никого не укусит.

— Врете вы! — заорал лошадник. — Вашу дворняжку повесить надо!

— Только попробуйте! — угрожающе подбоченилась Дуся. — Жаль, что Тубик вашей жене голову не откусил! Моя собака не дворняжка, Тубик породистый шпиц, а вы... свинья, вот вы кто!

— Мордоворот и шлюха! — вскричал лошадник.

Конечно, Дусю уродовало багровое родимое пятно во всю щеку, но, как она могла быть шлюхой при таком безобразии? От двойного оскорбления Дуся зарыдала, а шпиц сочувственно затявкал. На крики выскочила Любочка со стаканом воды и валерьянкой; лошадник плюнул и отступил. В это момент и появился Чарли на лестнице террасы «Линда», бравый и подтянутый, в мундире морского пехотинца. Под мышкой он держал коробку шоколада, в руках букет.

— Вы меня помните, доктор? — обратился он к Любочке, хлопотавшей около всхлипывающей Дуси.

— Ах, как же, как же! — сияла Любочка. — Какой приятный сюрприз!

Покраснев от удовольствия, она пригласила Чарли войти и тут же стала варить кофе, пока он, усевшись, осматривался по сторонам. Чарли не удивился тому, что женщина-врач

снимает комнату в невзрачном доме: он знал, что русским тяжело дается кусок хлеба. Любочка хозяйничала, ловко орудуя в комнате в своем белом докторском халате. Ноги ее были, пожалуй, толстоваты по сравнению с ногами Маджи, его невесты в Америке, но что из этого? Маджи не имела докторского диплома. У этой русской докторши была премилая улыбка; несколько золотых зубов ее совсем не портили. Ей-Богу, она должно быть замечательный человек! В Америке у нее была бы приемная в центре города, секретарша, автомобиль и великолепный доход.

— Вам нужно переселиться в Америку, — объявил Чарли, принимаясь за кофе с печеньем. — У нас доктора живут на славу.

— Кому я там нужна? — усмехнулась Любочка. — Я плохо говорю по-английски, никого в Америке не знаю. А вы откуда родом? Из Нью-Йорка?

— Нет, я уроженец штата Айова.

Чарли вынул из бумажника фотографию своих родителей, живших на ферме и карточку Маджи. Любочка нашла ее миленькой, но Маджи вдруг показалась Чарли пресной. После кофе он предложил Любочке пойти в кинематограф.

— Если только вас не смущает мой солдатский мундир, — добавил он, вспомнив о своем социальном неравенстве рядом с доктором медицины.

— Что за вздор! — засмеялась Любочка. — Вы военный и служите своей родине.

Это замечание заставило Чарли приосаниться. В кино шла комедия «Дорога в Занзибар», и Любочка до слез хохотала над проделками Кросби и Хоупа. Из кинематографа новые знакомцы пошли в шашлычную «Казбек». Ужиная, Чарли размышлял о том, что бы сказала его мать о русской женщине-враче? У нее был странный, певучий говор; она заметила, что американцы слишком много пьют; это вредно для здоровья, можно нажить цирроз печени. Чарли поспешил уверить ее, что он пьет очень умеренно.

— Русские тоже много пьют, — вздохнула Любочка. — Мой дядя выпивал на пари ящик пива. Русские пьют водку, и она их сжигает. Меня раз вызвали к больному с белой горячкой. Я его застала совершенно голым за четвертью водки. Он

мне объявил, будто по всей его комнате летают зеленые мухи. Как только он стал их ловить, я стукнула его по голове, он свалился, я сделала ему укол и отвезла в больницу. Там ему промыли желудок, и что вы думаете? Через месяц он опять начал зеленых мух ловить.

Чарли отлично провел время и напоследок спросил, может ли он надеяться на продолжение знакомства. В то время у Любочки не было постоянного кавалера; в душе чувствовала она, что молодой марин ей в сыновья годится, но она любила мужское общество и условилась встретиться с Чарли в конце следующей недели.

* * *

— Ты что, ребенка взяла на воспитание? — осведомилась Дуся.

Любочка пропустила эту шпильку мимо ушей. Дуся насмешничала не со злости, а от несчастной жизни: целыми днями она делала искусственные цветы, разговаривая со своим шпицем.

— Какая нынче жарища, — жаловалась она понятливо виляющему хвостом Тубику. — Ведь только начало апреля, а уже парит, как в июле. В России теперь ирисы зацветают, благодать, а тут я коленкоровые ирисы мастерю. Собачья жизнь, больше ничего. Да что я? Ты ведь, Тубичка, лучше моего живешь, собачечка ты моя!

Остальные жильцы Куприянихи тоже обсуждали еженедельные визиты Чарли. Зинаша выглядывала всякий раз из двери, услышав его голос на лестнице, а Зыков подумывал о том, как бы через Чарли продать несколько «монголок» командиру «Седьмых марин»*.

— Можно ему комиссионные дать, — говорил он Зинаше.

— Ты сперва узнай, нужны ли им твои лошади, — сказала мужу Зинаша. — А то спросишь ни с того, ни с сего и в дураках останешься.

Несмотря на свою кукольную внешность, Зинаша была очень практична и только она умела справляться с Зыковым, когда он, пьяный, вообразив себя полицейским, арестовывал обитавшего этажом выше Михаила, сторожа уголь-

* Батальон Корпуса Морской Пехоты, стоял в Шанхае.

ного склада. Тот вступал в драку; из французской полиции являлся вызванный Куприянихой участковый с суровым лицом Тамерлана, в форме сержанта; тогда Зинаша, подступив к бушевавшему Зыкову, давала ему пощечину. Мгновенно усмиренный, лошадник покорно следовал за Тамерланом в участок, платить штраф и выслушивать внушение дежурного лейтенанта, а Зинаша запиралась на ключ.

— Зинаша, отопрись! — молил вернувшийся лошадник. — Отопрись, золотко! Зинаша, вот моя голова: оторви ее! Вот нож, режь меня!

Визиты Чарли особенно волновали Лолу и Аниту, молоденьких партнерш по танцам в кабаре, живших вместе. Девушки из кабаре меняли свои имена на иностранные: Маруся становилась Мэри, Женя делалась Дженни, Леля — Лолой и Аня — Анитой. Черноокая Лола, выдававшая себя за грузинскую княжну, и Анита, мать троих внебрачных детей, входили в комнату Любочки без стука, едва появлялся Чарли. Лола пыталась соблазнить его, надевая прозрачные неглиже; Анита играла на гармони и исполняла песенки. Но Чарли оставался равнодушен и к чарам полуобнаженной Лолы и к пению Аниты: он явно не одобрял поведения девиц, он-то знал, что смугленькая дочка Аниты родилась от савойского гренадера, а белокурый сынишка от матроса американского флагмана. Неизвестно, от кого родился третий малыш; молва приписывала ему двух возможных отцов. Дети жили у матери Аниты и было объявлено об их продаже. На них находились бездетные покупатели. Но тотчас отступали, узнав, что каждый малыш стоит тысячу долларов. Почему-то Анита думала, что, заплатив приличную сумму, приемные родители не станут обижать ее детей.

И вообще, Любочкины соседи огорчали Чарли.

— Отчего вы, доктор, не переедете отсюда? — спрашивал он.

Любочка отказывалась уезжать. Новый адрес может принести ей неудачу в делах. Чарли дивился суевериям, столь необычным для ученой женщины. Лечебные средства ее были тоже удивительными: красная шерстинка, например, обвязанная вокруг безымянного пальца, помогала ячменю засохнуть; стаканчик водки с перцем останавливал резь в желудке, и лучшим средством от простуды была горчица, насыпанная в надетые на ночь шерстяные носки.

Любочка рассказывала, что некоторые русские старухи умеют заговаривать кровь. Все это было очень странно, но несмотря на разногласия, они получали удовольствие от общения друг с другом: ходили в кинематограф, ужинали в «Казбеке», играли в домино и шашки. Чарли приносил Любочке все, что можно было купить в военном кооперативе, — кофе, сахар, чай, мед, печенье, консервы и сигареты для обмена в соседней лавочке. Встречались они уже больше месяца, но Чарли даже и мысли не допускал о каких-то вольностях, так велико было его уважение к женщине-врачу, честной и порядочной, жившей своим трудом.

* * *

Приближалась русская Пасха. Любочка предложила Чарли пойти с ней к заутрене и потом разговеться дома. Приготовления начались за неделю до праздника. Любочка красила яйца, пекла куличи, которые никогда не видел Чарли, сделала «пасху» — творожный торт в форме усеченной пирамиды. Когда Чарли зашел за ней, Любочка встретила его в нарядном белом платье и кружевной мантилье; свежевыкрашенные ее волосы блестели, три золотых зуба тоже блестели. Улыбка Любочки стала еще шире, когда Чарли поднес ей бутоньерку с орхидеей и духи «Шанель N5».

Русская церковь, ярко освещенная, находилась поблизости. Улица и паперть кишели людьми; многие дамы были в вечерних туалетах, а мужчины в смокингах. Шумная толпа американских матросов в шапочках пекарей стояла отдельно со своими русскими подружками. Пришли и старушки в старомодных одеждах, сохранившихся в сундуках после всех войн и революций. Многие держали в руках свертки, обернутые салфетками. Любочка объяснила, что в свертках были куличи и пасхи для освящения.

В полутемной церкви молящиеся стояли плечом к плечу; причудливые гроздья свеч горели перед громадной иконой Богоматери; ее смуглый и нежный лик в жемчужном уборе чуть розовел в мерцании огней. Со стен смотрели длинно-

бородые святые, витавшие в облаках. Любочка купила две свечи и дала одну из них Чарли. Прихожане тихо перешептывались...

Вдруг зазвонил колокол, вспыхнул свет, из алтаря с пением вышли священники в белых облачениях, один из них нес Распятие и трехсвечник, обвитый белыми лилиями. Несколько молящихся шагнули вперед, взяли длинные палки с прикрепленными к ним золотыми и серебряными иконами и последовали за священниками. Шествие замыкал хор, люди с зажженными свечами шли вереницей вокруг церкви, пение хора разносилось легким майским ветерком. Разрумянившаяся Любочка со слезами на глазах взглянула в лицо Чарли и сказала:

— Мы должны поцеловаться, потому что Христос воскрес!

И она троекратно облобызала растроганного Чарли. От нее пахло духами «Шанель № 5» и чуть-чуть карболовым мылом. Все вокруг христосовались, матросы обнимали своих подружек, хор продолжал греметь, гудели рожки автомобилей.

Любочка, напевая пасхальный гимн, шла под руку с Чарли. Темные дома террасы «Линда» стояли в тишине под звездным небом. В комнате Любочки было светло, вазы с розовыми и лиловыми гиацинтами украшали стол, уставленный кушаньями. Любочка оказалась на удивление радушной хозяйкой, закармливала Чарли ветчиной, холодной телятиной, паштетом, сардинами, салатом из овощей, крутыми яйцами, куличом и пасхой. Она наполняла бокалы белым вином и, смеясь своим прерывистым смехом, расстегнула кушак, признавшись, что объелась. К черному кофе она подала бенедиктин и подсела к Чарли на тахту. Праздничное воодушевление Любочки передалось Чарли: он вдруг осмелел и обвил рукой ее несколько пышный стан. Не сопротивляясь, она разрешила себя поцеловать. Голова Чарли склонилась к ней на грудь, и Любочка выключила свет.

* * *

Счастье их было безоблачным. И если Чарли олицетворял для Любочки ушедшую молодость, то его привязывал к ней зрелый жизненный опыт подруги. Любочка баловала

Чарли больше, чем его родная мать, редко выказывавшая свои чувства. Пуританское воспитание и застенчивость удерживали его «ма» от проявлений нежности, и она осторожно ласкала сына только когда тот спал. Чарли часто себя спрашивал: понравилась ли бы Любочка его «ма»? Обе были труженицами и могли бы превосходно сойтись.

— Женской работы никогда не переделаешь, — говаривала «ма».

И у Любочки дела тоже не переводились. Эта вечная ее занятость даже чуть раздражала Чарли, но он уважал ее независимость. Все выходные он проводил с Любочкой, оставаясь у нее ночевать. Она уверяла его, что их интимные отношения ничуть не повредят ее репутации. Перед тем, как Чарли засыпал, она осеняла его крестом и негромко произносила:

— Господь с тобой!

Выучив несколько русских слов, Чарли стал называть свою подругу «мамочкой», а она звала его «сыночкой». Так называли его теперь все обитатели террасы «Линда».

— Поторапливайтесь, сыночка идет, — кричала Куприяниха, если Любочка замешкивалась в общей кухне. — Я его из окна вижу. Защитничек наш! Вылитый Георгий Победоносец!

— Чем она его приворожила? — недоумевала Лола. — Держу пари, что она знает секрет, как мужчин заманивать.

— Чепуху мелешь, — вздыхала Анита. — Она образованная, вроде врача, и знает анатомию, сразу скажет, где у кого почки или печень.

— Да на что сыночке знать, где у него почки? Нет, тут что-то не то!

У обеих девиц были неприятности: Лола очередной раз не уберегласъ, пришлось аборт делать, Анита поссорилась со своим сожителем, рыжим барабанщиком шотландского полка. Длиннозубый и довольно невзрачный, он, однако, выглядел молодцом, особенно когда маршировал впереди полка в накинутой поверх мундира и клетчатой юбки леопардовой шкуре, лихо выбивая дробь и жонглируя палочками своего барабана. Но узнав о существовании детей Аниты, барабанщик скрылся.

— Что же мне с моими малышами делать? — сокрушалась Анита. — Утопить, как котят? Мне двадцать шесть лет, а у меня трое, и я должна их содержать. Разве я их хотела? Все они родились от несчастного случая!

— Ты такая же плодовитая, как моя тетка княгиня Шах-Намэ, — сочувствовала Лола. — Она беременела от одного взгляда своего мужа. К сорока годам у нее было 14 человек детей.

— Спасибо на добром слове, — сердилась Анита. — Твоя тетка была такая же дура, как ты. Княгиня, фу ты, ну ты, ножки гнуты. В Грузии у кого есть три барана, тот и князь.

— Моя тетка не баранья княгиня! — вспыхивала Лола. — Она со стороны матери была черкешенка и в родстве с Шамилем.

— Ладно, успокойтесь, ваше сиятельство, и собирайтесь лучше в «Лидо» с матросами ча-ча-ча отхватывать.

* * *

Цветочница Дуся была частой гостьей Любочки и корпела над искусственными розами и тюльпанами, пока Любочка и Чарли играли в шашки.

— Одна моя знакомая осталась вдовой с двумя детьми, — рассказывала Дуся. — Стала она мужа искать, но ведь наши русачи мало зарабатывают, ну и пьют, конечно. Где же можно холостяка встретить? Только в баре или в кабаре. Устроилась моя вдовушка в таверну «Лидо». Заметь, Любочка, она при этом женщина вполне порядочная, без всяких фиглей-миглей, и стала партнершей для танцев только ради дела. И что ж ты думаешь? Месяца не прошло, как познакомилась с датским морским инженером, а на прошлой неделе повенчалась. Я вот могла бы тоже в кабаре поступить, но куда с моим пятном во всю щеку? Оно у меня от рождения, в доме пожар случился, мама испугалась, схватилась обеими руками за лицо, и я уродом родилась.

— Вам нужно сделать пластическую операцию, — вмешался Чарли. — У нас один сержант отстрелил себе поллица, когда чистил винтовку. Наш хирург его починил так, что ни единого шрама не видно.

— Где же я на операцию деньги возьму? — говорила Дуся.

— Что ж, я смирилась с моим несчастьем. Лет через 15 все равно старухой стану, и тогда мне будет все равно, урод я, или нет.

— Я тоже скоро стану старухой, — заметила Любочка. — Сыночка меня будет на тачке возить.

— Что ты, мамочка! — возмутился Чарли. — Ты всегда будешь красавицей!

Идиллия их была нарушена нападением Германии на Россию. Страсти в террасе «Линда» разгорелись; жильцы образовали партии.

— Никогда колбасникам не завоевать России, — выходил из себя лошадник. — Я казак всевеликого войска Донского, мы не раз немчуру били! Мы из них котлету сделаем!

Куприяниха стояла за немцев и предсказывала, что большевики поплатятся за свое безбожие.

— Кто бы о безбожниках говорил, да не вы, мадам! — взрывался лошадник. — Вы сами безбожница, хотя в церковь каждый день бегаете. Вы ханжа, вот что! Вы не нагрели воду в трубах, когда Зинаша ванну принимала, и теперь у нее насморк. Я конский человек, но не позволю, чтобы моя жена в холодной ванной купалась!

Лола, памятуя о своем лже-княжеском происхождении, сначала была за немцев, но Анита привела ее политические взгляды в порядок.

— Пойми, дура, если бы немцы не начали прошлой войны, ты бы сейчас в Тифлисе шашлык ела, а не дрыгала ногами в «Лидо». Я с колбасниками больше не танцую!

— Как надоела мне эта политика! — капризно морщила носик Лола. — Выйти бы замуж за американца и уехать с ним в Холливуд. Мне один дядька сказал, что я вылитая Дороти Ламур.

Дуся и Любочка стояли за победу России. Остальные жильцы спорили заполночь, из открытых окон слышались возбужденные голоса:

— Немцы Смоленск взяли!

— Они до Москвы дойдут!

— А Наполеона вспомните! И русский мороз? Мужики замерзших французов ловили, как зайцев! Почитайте «Войну и мир»!

— Что мне ее читать? Я уже читал.

К Михаилу, караулившему угольный склад и проживавшему над комнатой Лолы и Аниты, приходила Варя, маникюрша из салона красоты «Магнолия», и Иван Иванович, линотипист русской газеты, его сосед; все они занимались у Михаила спиритизмом.

— Кутузов! — раздавался глухой ночью голос Вари. — Это ты, Кутузов? Скажи нам: возьмут немцы Москву?

— Перестаньте колдовать! — кричала Анита, выйдя на лестницу. — Я только вернулась с работы, мне выспаться нужно!

Любочку сильно беспокоила война; что случится, если в нее вступит Америка?

— Не волнуйся, мамочка, — успокаивал ее Чарли. — Мы воевать не станем. Янки в Европу не пойдут!

Угнетающе долго тянулись летние дни. Раскаленные улицы дышали зноем, город изнемогал. Полицейские томились под зонтами, врытыми на перекрестках. Европейцы пили ледяные напитки, а китайцы горячий жасминовый чай. Ради прохлады Любочка и Чарли катались на моторном пароме, ходившем по мутной реке Вампу до крепости Вузунг, стоявшей в устье Желтого моря. С палубы виднелись плоские берега, серо-желтые и бурые глиняные фанзы, крытые рисовой соломой, проплывала древняя пагода с кружевной каменной беседкой. Буйно-пламенный закат багрянцем просвечивал паруса джонок, уходивших в открытое море. Наступал душный, безветренный вечер. За ужином Любочка зорко следила за тем, что Чарли ест.

— В городе эпидемия желудочного вируса, — говорила она. — Я троих пациентов отправила к специалисту.

Любочка никак не могла решиться сказать Чарли о своем скромном звании в медицинской профессии; она боялась за свою ложь и не хотела разочаровывать сыночку.

— Почему ты не делаешь операций? — спрашивал ее Чарли. — Хирурги зарабатывают кучу денег, и ты ничем не хуже их.

— У меня не рука хирурга, — возражала Любочка. — У них большие руки и длинные пальцы, а у меня короткие и квадратные.

— При чем здесь пальцы, если у тебя есть уменье и опыт? — спорил Чарли.

Вечером они прогуливались по ипподрому, отгороженному от кривых переулков, где двигались толпы китайцев, в лавчонках гремело радио: под аккомпанемент медного гонга и тарелок оперные дивы выделывали пронзительные рулады. Уличные торговцы, перекрикивая друг друга, рекламировали свой товар, на узких тротуарах бродячие брадобреи стригли и брили клиентов. Разносчики предлагали белые булочки на пару, жареную свинину под кисло-сладкой подливкой, конвертики из морской травы, начиненные рисом, рыбу, жареную в бобовом масле. Старые сводни на козьих копытцах в крошечных туфельках треугольником высматривали любителей юных девочек, разодетых в яркие шелковые «джи-по»*, нарумяненных, с цветами в волосах. Нищие калеки показывали свои раны и язвы прохожим, катаясь под их ногами на самодельных тележках. Наркоманы, полубезумные от героина, изможденные, прикрыв наготу рогожей, тоже просили подаяние. Игроки в кости, вытащив столики наружу, выкрикивали: «Панг! Чао! Маджан!» Матери, выпростав груди, кормили своих младенцев.

— Посмотри, сколько детей, — говорила Любочка. — В этом году их больше, чем в прошлом. Так всегда бывает перед войной.

— Китайцы плодятся как кролики, мамочка, — отвечал Чарли. — Война тут ни при чем.

— Нет, сыночка, это верная примета. В этом году я принимала одних мальчиков. Вот и мои китайские больные боятся, они говорят мне, что в Китае теперь год Змеи, а в годы Змеи всегда начинаются войны. Еще они говорят, будто в Змеиный год все люди влюблены, женятся и выходят замуж.

— Вот это верно, мамочка! — обрадовался Чарли. — Я тебя встретил в этом году!

После одной из вечерних прогулок Чарли стал жаловаться на головную боль. Определив простуду, Любочка напоила его чаем из сухой малины, натерла камфорным маслом и уложила в постель.

---

* Джи-по — прямое платье в обтяжку с высоким воротником и разрезом до колена.

— Посмотрим, какая у тебя температура, сыночка, — она наклонилась над ним, держа термометр, и Чарли притянул ее к себе.

— Пусти меня, — засмеялась Любочка. — Что за глупости!

Она попробовала освободиться, но Чарли ее пересилил, прежде чем она положила градусник на ночной столик.

— Дурачок! — сказала Любочка со своим отрывистым смешком. — Не так уж ты болен.

— Любочка... — сонно бормотал Чарли. — Это год Змеи, мамочка...

* * *

Во время жары зарядили бесконечные тропические ливни, затоплявшие улицы и подвалы. Обитатели террасы «Линда» переругивались на всю улицу. К Михаилу, жильцу каморки под крышей, пришли маникюрша Варя, Иван Иванович, обитатель второй каморки, и какой-то Жорж. Все они пили и пели, затем стали выгонять Жоржа. Изгнанный Жорж начал исполнять под окнами советские песни, и Иван Иванович отправился его утихомиривать. Тем временем Михаил и Варя затеяли скандал.

— Я замужем десять лет и меня никто по зубам не бил, — рыдала Варя.

Иван Иванович, возвратясь, выступил в роли миротворца.

— Варя, — урезонивал он друзей слегка заплетающимся языком. — Ты будущая советская гражданка. Михаил, вспомни, что ты будущий советский гражданин. Вы ведете себя не по-граждански.

— Уходите отсюда обои! — заорал Михаил.

— Варя, пойдем ко мне ночевать, — предложил Иван Иванович. — У меня, правда, ночует дама, но ты можешь лечь с ней на кровати, а я лягу на полу.

Иван Иванович отправился выгонять свою даму; Варя и Михаил снова подрались, и Михаил выбросил Варин дождевик в окно. Была вызвана полиция.

В тот же вечер кто-то ограбил и зарезал хиромантку, обитавшую за углом от террасы «Линда». Убийство обнаружила Лола, пришедшая погадать. Все жильцы собрались на крыльце, обсуждая преступление.

— Я знала, что случится какая-нибудь беда, — говорила Дуся. — Тубик весь день скулил и ничего не ел.

— Подумать только, я вчера у ней была, — сказала Анита. — Она мне предсказала перемену в жизни, и мне выпал трефовый король со своей верностью и со своей сердечностью. Это, наверное, Хозе из «Хай-Алая»*, он что-то к нам в «Лидо» повадился.

— У меня тоже было предчувствие, — вмешалась Зинаша. — Мне прошлой ночью снилось, будто к нам в комнату вошел монах с черной бородой. Видеть монаха во сне не к добру.

Любочка вернулась домой поздно; рикша долго вез ее от больного по затопленным дождями улицам. Вернувшись, она приняла душ и только собралась в постель, как ввалился Чарли. Не снимая промокший дождевик, он обнял Любочку и громко заплакал.

— Царица Небесная! — ахнула Любочка. — Что случилось, сыночка? Кто тебя обидел?

Прижав ее к себе, Чарли потянулся за тянучкой к вазочке, стоявшей на столе, положил в рот и зажевал, продолжая рыдать. Любочка сняла с него дождевик, вытерла ему слезы и посадила к себе на колени, утешая его как ребенка.

— О, Любочка, моя ненаглядная мамочка! — наконец выговорил Чарли. — Нас отсылают на Филиппины.

Вот оно. Не напрасна была ее тревога.

— Когда? — спокойно спросила Любочка.

— Через две недели. Мамочка я не могу тебя оставить! Завтра мы поженимся.

Глаза его блуждали, губы распухли от плача.

— Но, сыночка, дарлинг, — сказала Любочка. — Я вдвое старше тебя. Через пять лет я буду старухой.

— Будь моей женой, мамочка! — закричал Чарли. — Будь моей женой или я застрелюсь!

И он опять заплакал. К грусти Любочки примешивалась гордость. Почему Чарли так ее любит? Ведь она не молода и не красива. Рано или поздно он узнает, что она не врач. Что же, выйти за него замуж и приготовиться к тяжелому объяснению? Простонародная ее смекалка заработала. Надвигается война. Страшная война. Жить будет жутко и

*«Хай-Алай» — зал для профессиональной игры в испанскую пелоту.

трудно, и она останется брошенной на произвол судьбы вместе с другими бесправными русскими людьми. Начнутся бомбардировки, голод. Сделавшись женой Чарли, она сможет уехать в Америку. Там она не пропадет, даже если Чарли ее оставит; у нее диплом медицинской сестры; она всегда сможет устроиться в госпитале. Не глупо ли будет оттолкнуть Чарли и продолжать борьбу за существование, да еще при страшной войне?

— Сыночка, — сказала она. — А меня пустят в Америку, если ты на мне женишься?

— Пустят, мамочка! Я тебя вывезу из Шанхая! Наше консульство все сделает! Любочка-мамочка, скажи, что ты согласна!

На следующий день они стояли перед аналоем русской церкви. Лошадник и Дуся были свидетелями. Любочка надела белое платье и держала в руках букет душистого горошка. Чарли был бледен.

— Настоящая мокрая курица, — шепнула Лола Аните. Они тоже явились в церковь.

— Не бузите, принцесса, — прошептала та в ответ. — Зелен виноград!

Чарли заметил, что лошадник держал над его головой венец, а бородатый церковный сторож держал венец над головой Любочки. Священник водил новобрачных вокруг аналоя и пел, ему басом вторил лошадник и фальцетом сторож. После венчанья лошадник выступил с речью.

— Сыночка, — начал он, — я хочу сказать, мистер Чарли. Я казак всевеликого войска Донского, а вы американский марин. Но не в этом дело. Вы теперь муж русской женщины. Душа у нее большая, как Россия. Я здесь только конский человек из-за проклятых большевиков, но они сейчас дерутся, как львы, и разобьют колбасников вдребезги. Сыночка, то бишь, Чарли! Считайте меня своим братом!

И лошадник, обняв Чарли, расцеловался с ним. Дуся, Анита и Лола плакали; Дуся плакала оттого, что была рада за Любочку и жалела себя, а Лола и Анита — потому что американские моряки уезжали. На испанцев, игроков «Хай-Алая», было мало надежды: на них было слишком много охотниц. Впереди ждало одно горе.

Все вышли из церкви; Любочка и Чарли шли под руку впереди. По авеню Жоффр катился человеческий поток: матросы и марины со своими подругами, нагруженные покупками, ходили из лавки в лавку, делая запасы для остающихся. Вокруг виднелись заплаканные лица: осиротевшие девушки провожали тех, кто заботился о них, создавая подобие семейной жизни.

— Вон идут Женя, и Маруся, и Соня, — сказала Анита. — Уезжают их заступники. Oh, boys, good-bye!

Кровавое солнце садилось над Шанхаем, свирепое солнце войны.

Король с головы до ног

Памяти князя Теймураза Константиновича Багратиона-Мухранского

Когда король Гавриил Девятый, низложенный и находящийся в изгнании, вышел из нью-йоркского Центра социальной помощи, получив свое ежемесячное пособие, над городом висела железная августовская жара. Несмотря на нее, король был одет в легкий, летний костюм, в белую рубашку и носил галстук. Стройный и прямой, как стрела, в свои семьдесят с лишним лет, он шел быстрой и легкой поступью. У него было худое, орлиное лицо постаревшего архангела византийского письма; темные его глаза оживленно искрились. Идти ему было некуда, и он отправился домой.

Король жил вблизи Ист Ривер, на семидесятых улицах, где посреди невзрачных домов сохранились немногие деревья; пронизанные солнцем громадные платаны высились за решеткой Рокфеллеровского института. Они встретили короля шелестом листьев и прохладным ветерком от шевелившихся ветвей. Платаны стерегли вход в институт, как часовые, и напоминали королю его дворцовую стражу в зеленых с золотом мундирах. Район резко изменился, когда король приблизился к своему жилищу: обреченное на слом,

оно одиноко стояло посреди зоны, стертой с лица земли рабочими в стальных шлемах. Железные ставни закрывали окна покинутых квартир и казались слепыми; пустые лавки нижнего этажа были завалены досками, штукатуркой, плесенью и засорены стоками канализации. В доме оставалась лишь горстка жильцов; все они получали городское пособие и дружно выдерживали натиск выселявшего их Луиджи Морро, нового владельца всего участка. Король остановился перед одной из дверей второго этажа и постучался; не получив ответа, он отпер дверь своим ключом и вошел в прихожую.

— Это вы, Sire?* — спросил по-французски тихий женский голос. — Вы пришли, как небесный ангел, потому что я умираю.

— Неужели, милая графиня, мое появление может вызвать подобную катастрофу? — шутливо спросил король.

Сняв синий баскский берет, он пригладил свои темные, вьющиеся волосы, тронутые проседью, и вошел в маленькую, неопрятную комнату тем же легким и эластичным шагом, каким когда-то входил в тронный зал, где его ожидали придворные. Комнатушка выходила на юг, и беспощадный солнечный свет заливал ее, делая запустение еще более гнетущим: запачканные стены, куски отставшей штукатурки свисают с черного от копоти потолка. Большая фотография молодой женщины, в подвенечном наряде лежавшей в гробу, висела между окон. Нос ее зловеще смотрел вверх. На ветхой кушетке лежала растрепанная седая старушка в поношенном кимоно. Глаза ее выражали муку нетерпения.

— Скорее, Ваше Величество! — простонала она. — Ради Бога!

— Терпение, милая, — твердо ответил король.

Он быстро достал из-под кушетки ночную посуду, ловко подложил под старушку и накрыл ее пледом.

— Я сварю вам шоколад, — сказал он, пока старушка бормотала слова благодарности.

Король познакомился с графиней Старицкой до Первой мировой войны, в Париже, будучи наследником престола

* Государь.

одной из карпатских стран. Графиню выслали из России после светского скандала: муж ее, гвардейский офицер, убил на дуэли любовника своей жены. Скомпрометированная громким разводом, — муж не пощадил ее репутации, — она обосновалась в Париже со своими двумя дочерьми. Трагедия сопутствовала ей повсюду и привела в Нью-Йорк после Второй мировой войны. Одинокая, искалеченная суставным ревматизмом, она получала городское пособие и ютилась в убогой комнате.

Король вернулся, неся на подносе чашку шоколада и несколько бисквитов.

— Ваш завтрак готов, графиня, — сказал он, улыбаясь.

— Merci, Sire, — поблагодарила старушка.

Король вынул из-под нее ночную посуду, накрыл полотенцем и вынес вон. Старушка сидела, размешивая ложечкой шоколад.

— Вам, кажется, очень уютно завтракать в постели, — возвратившись, сказал король. — Не так ли приносил вам чашку шоколада ваш ливрейный лакей?

— Как я смею сравнить вас, Государь, с моим лакеем! — весело ответила графиня. — Его звали Степаном, он был курносым и безбожно помадился.

— Бедняга помадил свою шевелюру, чтобы вам угодить, — заметил король, и в глазах его зажглись лукавые искорки.

— Виделись ли вы, Государь, с девицей из Отдела социальной помощи? — спросила больная.

— Да, я совсем недавно расстался с очаровательной мисс Яо. Она уроженка Китая, но не признает общеизвестных китайских церемоний. Правда, чрезмерная вежливость часто скрывает подхалимство, не так ли?

— Она, должно быть, чудовище, — решила графиня. — Что она вам сказала, Государь?

— Инвалидный дом «Подсолнечник» примет вас, графиня, как только там освободится комната. Я выяснил, что этот дом расположен в саду и напоминает загородную виллу, — сказал король.

— Ваше Величество имеет какие-нибудь вести от принца Ярослава? — продолжала свои расспросы графиня.

— Вчера я получил от него открытку с изображением

какого-то городка во Флориде. Он называется «Радугой» или что-то в этом роде. Этот проказник Ярослав приглашает меня жить вместе с ним на «Радуге», среди пальм и прочей флоры и фауны.

Глаза старушки наполнились слезами.

— Вы скоро отсюда уедете, Ваше Величество, — сказала она дрожащим голосом.

Король взял ее искалеченную руку и прикрыл своей. В глазах графини он увидел ту же боль, какая была в глазах солдат, лежавших в лечебнице во время войны: они смотрели на него с надеждой, когда он накладывал на раненых руки, как это делали некогда короли Франции; его подданные верили в чудотворную силу королевских рук.

— Какая маленькая ручка, — сказал он, целуя руку графини. — On dirait du satin*. Но как вы могли заподозрить меня в коварстве? Прежде, чем отправиться на «Радугу», я должен сопроводить вас, если вы разрешите, в санаторию, носящую поэтическое название «Подсолнечник».

— Вы так добры, так великодушны, Ваше Величество, — вымолвила больная, снова собираясь заплакать.

— Нет, нет, прошу вас, милая, — в притворном ужасе взмолился король. — Я не выношу слез; они действуют на меня странным образом: женские слезы заставляют меня чувствовать себя преступником — убийцей, отравителем, палачом...

Графиня попробовала улыбнуться и вытерла слезы.

— Поэт сказал однажды, что женщины мешают слезы с улыбкой, как апрель. Ваши глаза сияют от слез больше, чем всегда, но я предпочитаю не видеть их из чувства самосохранения. А теперь скажите: что вам подать на завтрак? Холодный борщок со сметаной? Крылышко цыпленка? — спросил король.

— О, что угодно, Государь. Надеюсь, что вы окажете честь позавтракать со мной.

— Это вы окажете мне честь быть вашим гостем.

И поклонившись со старинной галантностью, добавил:

— Разрешите удалиться вашему покорному слуге.

---

* Словно атласная.

* * *

Марко Стенич, второй подопечный короля, обычно не ел, прежде чем тот принесет ему кушанье. Марко жил этажом выше графини. В противоположность ее светлой комнате, окна Марко смотрели на север, и в ней было полутемно. Запах мочи был так невыносим, что король, войдя к Марко, задержал дыхание.

Согбенный старичок, похожий на воробья, сидел в кресле, поджав подсебя босые ноги. Портреты маслом молодых дам в бальных туалетах, написанные в стиле Сарджента, и розовощекие девочки, написанные в манере Ренуара, с бантами в распущенных локонах, смотрели со стен и стояли на полу. Казалось, что эти нарядные дамы с лебедиными шейками и розово-голубые девочки спрашивали себя: как они попали в эту трущобу?

— Zdravo*, Габриэль, — сказал Марко глухим голосом. — Kako ste?**

— Вот твой сандвич, старина, — ответил король. — Поешь, а я пока уберу твою постель.

— А ты уверен, что он не с человеческим мясом? — спросил Марко, нюхая сандвич. — Американцы страшные плуты. Они торгуют человечиной.

— Что за вздор, — сказал король. — Только дикари экваториальной Африки поджаривали миссионеров. Но они пировали до того, как ты родился на свет. Африканцы давно эмансипировались, и у них самая изысканная французская кухня.

Король сдернул постельное белье с кушетки и, вытряхнув целую армию прусаков из простыни, обрызгал все вокруг флитом и постелил кушетку.

— Благодарю, Габриэль. Vrleste ljubazni***. Я скажу Богу, как мило ты ко мне относишься.

— Дай мне открыть окно прежде, чем тебя посетит Господь, — сказал король.

— Не, не, не! — замахал руками Марко. — Они явятся сюда как только ты откроешь окно. Они ждут. Их «миги» запарко-

---

* Здравствуй.
** Как поживаешь.
*** Ты очень любезен.

ваны на крыше, они спрыгнут на парашюте и будут здесь через минуту.

— Я попрошу моего брата Михаила защитить тебя, — заявил король. — Он славится тем, что убивает драконов. Давай откроем окно.

— Не, Габриэль, не, — упорствовал Марко. —У коммунистов лучи Лэзера и радиотрансмиттеры.

Пока он доедал сандвич, король принес таз с теплой водой, мыло и губку. Он старался держать Марко в чистоте, но с тех пор как тот окончательно потерял рассудок, задача короля усложнялась.

— Скоро в музее откроется моя выставка, — говорил Марко, пока король его намыливал. — Все зависит от возвращения экспедиции из Чили.

— Поздравляю тебя, — сказал король, обмывая тщедушное тело душевнобольного.

— Si, Signor! Я зарыл в трех милях от моей гациенды слитки золота в жестяной коробке.

— Надеюсь, что ты купишь мне ручное зеркало из настоящей яшмы, когда получишь свои миллионы, — сказал король. — Оправа моего зеркала сделана из фальшивой яшмы.

— Почему? Ведь у Бога очень много денег!

— У него есть средства, но Всемогущий очень бережлив, — вздохнул король, вытирая Марко полотенцем.

— Очень жаль. А зачем тебе зеркало, Габриэль? Это же дамское занятие!

— Зеркало в яшмовой оправе один из моих символов. И я люблю смотреться в зеркало. Я очень тщеславен.

— Уж это как есть! А что нового в раю?

— Ничего особенного. — Король надел на Марко чистую рубашку. — Я хочу переселиться на «Радугу». Там, говорят, прекрасный климат.

— А в раю много художников? — спросил Марко.

— Достаточно. Те, кто заслужили мученический венец, как, например, Ван Гог, живут среди нас.

— Значит, мне не о чем беспокоиться, — решил Марко. — Я тоже мученик искусства. Я не продал ни одной картины ни в моем родном Белграде, ни в Сантьяго! Но куда ты собрался, Габриэль?

— Я должен вернуться в рай. Я пришел к тебе в мой обеденный час и теперь опаздываю на работу.

— Ступай с Богом, Габриэль!

Марко не достиг мученичества артиста, потому что у него не было таланта, — размышлял король, спускаясь по лестнице. — Марко стал жертвой слепого страха, охватившего Европу после Второй мировой войны, заставившей людей бежать куда угодно из своих стран. Общий страх заразил Марко. В Белграде он давал уроки рисования и не был ни политическим деятелем, ни капиталистом. Ужас перед насильственной смертью и перед ссылкой в концлагерь заставил его бежать сначала в Польшу, оттуда в Германию, в Чили и, наконец, в Соединенные Штаты. Страх сделал из Марко перекати-поле, смутил его душу, приучил скитаться, отнял индивидуальность: он не знал больше, кто он такой. Портреты, написанные им в манере Саржента и Ренуара, были единственным доказательством реальности в его искаженном мире, не имевшем корней.

Король вошел в одну из пустых квартир, служившую ему прачечной. Окна в ней были выбиты, кругом валялся сор. Громадная крыса бросилась в дыру оторванной панели. Король выстирал жалкое белье графини и Марко и развесил его на веревке. Закончив эту работу, он отправился в свою комнату. Безукоризненно чистая, она была уютно и скромно обставлена. Над диваном блестела икона Богоматери. Молясь утром и перед сном, он всегда удивлялся словам в Богородичной молитве. Они как бы излучали видения голубых, невиданных цветов, золотого неба, старинных молитвенников в сафьяновых переплетах. Слова эти возникли в тайниках веры и говорили о звездах, сияющих вокруг лика Девы Света. Меч его предков, лишенный ножен, висел под иконой. Когда парламент принудил Гавриила Девятого отречься, ему позволили взять в изгнание меч, который на протяжении столетий несли перед его предками во время коронаций. Новое правительство конфисковало ножны, осыпанные драгоценными камнями, объявив их народным достоянием. Политиканы, говорившие от имени народа, игнорировали историческое прошлое: народ давно вручил свою волю королям, потому что так хотел Бог. Нет на земле

ничего более пышного, чем королевская власть. С чем ее сравнить? Люди собирают воедино лучи от всего народа в одно-единственное лицо, и оно сияет. На коронации сначала народ в храме молится на коленях за своего короля, который стоит один посреди собора. Потом весь народ стоит, а король коленопреклоненно молится за свой народ.

Служат ли народу узурпаторы, принудившие короля отречься? Служат ли они народу так же бескорыстно, как ему служил король? Жестокая междоусобица разорвала страну после изгнания короля. Реки крови и пепел пожарищ отметили путь революции, а затем борьбу мятежников за власть. Народ жил теперь под тиранией партии, называвшей себя народной, но взамен мистического единства, связанного Таинством, правители принесли народу безбожное владычество государства. Молчали обесчещенные тени пращуров короля; молчали тени народных героев страны, поруганные, оплеванные и сброшенные с пьедесталов. И молчало «упраздненное» Божество, ибо грозно сказано: «Не искушай Господа Бога твоего».

Король Гавриил Девятый давно примирился со своей судьбой и не сожалел о потере трона. В первые годы изгнания те, кто последовали за ним, окружили своего монарха горькой преданностью и обожанием. Они говорили только о мести в случае реставрации. Но король знал, что она невозможна. Бывает так, что песня, звучавшая так прелестно, вдруг теряет свое очарование, и нам не вернуть ее прежней прелести. Так и в жизни народа случается что-то такое, после чего старое становится навсегда ушедшим. В жизни нации бывают события, после которых старый уклад становится невыносимым, как бы хорош он ни был в прошлом; и король только молился, чтобы его народ стал счастлив после своего крещения огнем и мечом. Тем временем, от рождения и детства, сквозь годы юности и зрелости, путь жизни привел его к старости; дни и ночи мелькали перед его глазами, как фигурки на шахматной доске. Он давно потерял свою прекрасную королеву, угасшую на чужбине и не оставившую ему наследника. Его «старая гвардия» умерла, а молодежь, родившаяся в чужих городах, ассимилировалась. Немногие средства короля были истрачены на помощь его подданным, впавшим в нищету. Да, он являлся законным монархом, обрученным со своей родиной, но он был изгоем, сиротой и нищим. Даже самый превосходный хлеб горек в изгнании, а он получал только корку, которую ему из милости давал Городской отдел помощи. Что же делать королю, лишенному отчизны и народа? У него оставалась только честь. И его прямой долг требовал, чтобы он служил людям. Два забитых существа, исковерканных в застенке жизни, два чужестранца, никогда не видевших его родины, стали его единственными подданными. От его королевства остались два забитых человека. Он был им необходим. И Бог дал ему радость служить им

* * *

Закат расстилал над городом золотистый и алый восточный ковер, когда в дверь короля постучал профессор Срабьян.

— Могу ли я вторгнуться к Вашему Величеству? — спросил он.

— Я рад вас видеть, профессор, — ответил король, встав с дивана. — Садитесь, прошу вас!

Профессору Срабьяну было за восемьдесят. Его табачного цвета глаза печально смотрели за двойными стеклами очков, но он часто улыбался, и улыбка делала его похожим на зайца из мультфильма Уолта Диснея. В руках он держал несколько листов исписанной почтовой бумаги.

— Я принес на просмотр Вашего Величества мое сто двадцать первое прошение, — сказал профессор Срабьян, усевшись. — На этот раз я обращаюсь в Комиссию по атомной энергии. Это, оказывается, самая богатая научная организация в мире. Можете ли вы, Ваше Величество, выслушать мое прошение?

— Я буду очень рад, профессор.

— Благодарю, Ваше Величество.

Профессор встал и поднял руку вверх, словно обращаясь к аудитории.

— Милостивые государи, — воскликнул он сильным голосом. — Перед моим переселением в Соединенные Штаты Америки я состоял полным профессором и членом Акаде-

мии Наук в Софии, столице Болгарии, будучи уроженцем Еревани, столицы Армении. Я покинул мою родную страну после постыдной русской революции. Милостивые государи! Ваш покорный слуга до последней капли испил чашу страданий. Я боролся с преградами. Я был преследуем, заключен в тюрьму, оскорблен и оклеветан. Я страдал от голода, холода, незащищенности, болезней и на меня сыпалось множество унижений моего человеческого достоинства. Сотни раз я смотрел в глаза верной смерти. В борьбе за существование я потерял и моральную, и физическую силу. Достигнув берегов Америки, я не смог преподавать в университетах из-за моего преклонного возраста, но Агентство труда устроило меня уборщиком палат в госпитале. Прослужив немного лет, я вышел в отставку и получаю пенсию. Я также получаю городское пособие, так как пенсия не покрывает моих расходов. В этой стране неограниченных возможностей и торжествующей демократии я влачу жалкое существование. Милостивые государи! Я лишен всякой надежды изменить к лучшему мою жизнь. Сердце мое содрогается от отчаянья.

Профессор Срабьян сделал паузу, печально воззрился на короля, не позабыв улыбнуться, как заяц мультфильма.

— Что вы думаете, Ваше Величество, о моем прошении? Производит ли оно впечатление?

— Мне бы хотелось услышать окончание вашего прошения, профессор.

— Отлично! Итак, я продолжаю. Милостивые государи! Сердце мое переполнено отчаяньем от того, что, видя вокруг себя одну безнадежность, я заражен ее ядом. Когда сердце отравлено ядом безнадежности, оно не способно реагировать ни на одно явление. Оно окаменевает, оно погружено во мрак. Каждое утро, едва проснувшись, я осажден заботами, опасностями, даже страхом. Я могу сравнить мои бедствия с ямой, полной чудовищными пресмыкающимися. Они поднимают свои омерзительные головы и, шипя, грозят мне. Мой дух окутан беспросветным туманом. Отчего? Отчего, милостивые государи? Оттого, что из этого тумана возникает человеческая физиономия. Она принадлежит некоему Луиджи Морро. В Италии, стране, подарившей миру Данте, Микеланджело, Верди и Гарибальди, не говоря об остальных уроженцах этой великой страны, иногда появляются злодеи. Никем иным, как злодеем, нельзя назвать Луиджи Морро. Он намерен лишить крова нижеподписавшегося вместе с тремя другими многострадальными обитателями своего дома. Что же нам делать, милостивые государи? Что нам делать, мои ученые друзья?

Профессор Срабьян сделал драматическую паузу, и голова его на минуту поникла на грудь.

— Я бы выпустил оборот «ученые друзья», — мягко сказал король. — Такая форма обращения употребляется, главным образом, в Британском суде и в Британском парламенте.

— Вот как, Ваше Величество? — удивился профессор Срабьян. — Тогда я скажу: «Мои дорогие господа! Только вы можете возродить надежду в моем исстрадавшемся сердце. Только вы можете помочь мне и трем моим друзьям и соседям спастись от отчаянья. Купите дом этого исчадия ада, Луиджи Морро, и перестройте его в Дворец Бедных, где будут читаться лекции и оказываться помощь неимущим pro bene publico*. Сделайте это во имя милосердия и справедливости, мои ученые друзья, я хочу сказать, мои добрые господа! Во Дворце Бедных начнется битва против девяти чудовищ, врагов человечества, — жадности, жестокости, равнодушия, страха, воровства, лицемерия, лжи, коварства и нетерпимости во всех ее проявлениях. В доме Луиджи Морро нас четверо: почтенная дама, прикованная к постели неизлечимой болезнью, художник, ставший инвалидом и теперь живущий в мире грез, я, профессор Арамеис Срабьян, доктор наук и изящной словесности и наконец среди нас находится особа царской крови: нам принадлежит честь иметь своим соседом короля Гавриила Девятого, лишившегося трона в одной из стран на Карпатах. Милостивые государи! Судьба наша в ваших руках!

Профессор Срабьян утер пот со лба и спросил:

— Мне бы хотелось узнать мнение Вашего Величества.

— Мысль ваша прекрасна, дорогой профессор, — ответил король. — Но не предпочли бы вы уехать из этого вымороч-

* Ради общественного блага.

ного дома? Мисс Яо, служащая Отдела городской помощи, — очаровательная уроженка Китая, обещала мне устроить вас в самом скором времени. Графиня Старицкая будет помещена в дом для инвалидов, а Марко Стенич — в психиатрическую больницу.

Профессор Срабьян вздохнул.

— Я очень стар, Государь. Мой возраст позволяет мне рассказать вам детскую сказку. Во дни оны жил-был добрый король. Однажды, в снежный зимний вечер, когда метель заносила дороги сугробами, король ехал на коне во дворец, возвращаясь с охоты. Вдруг он увидел замерзающего в сугробе нищего. Сердце короля дрогнуло. Он спешился, сбросил свой теплый плащ, укрыл им застывшего от мороза бродягу, поднял его на седло и сказал:

— Поедем со мной. Тебя отогреют и накормят в моем дворце, и ты будешь в нем жить.

— Как вам нравится эта сказочка, Ваше Величество?

— Бедняга не подозревал, что его ожидает, — засмеялся король. — Во дворце невозможно жить. Там нельзя получить горячего обеда, потому что кухня находится далеко от столовой, и можно сломать ногу на навощенных до зеркального блеска паркетах. Чтобы ходить по залам дворца, требуется равновесие виртуоза на проволоке. Обитатели дворцов мечтают их покинуть! В моем случае желание это исполнилось!

* * *

Мисс Яо давно знала, что белые ничтожны, как варвары, и поэтому не заслуживают внимания. Но если варвар еще и «чи-кай», то есть нищий, то он не только не заслуживает внимания, но перестает существовать. Всем известно, что человек, обладающий деньгами, подобен дракону, а нищий подобен червяку. Как служащая Отдела социальной помощи, мисс Яо должна оберегать свои тайные мысли за крепостной стеной, и ее бархатные, длинные глаза были непроницаемы, когда она выслушивала клиентов, сидящих напротив ее стола. Все эти «чи-кай» нищенствовали. Некоторые были мрачны, иные чрезмерно, без конца, болтали о своих нуждах. Что бы они ни болтали, слова их лживы, ибо

только богатые говорят правду, а нищие неизменно лгут. Из всех клиентов мисс Яо только один не походил на нищих ничтожеств, и она насмешливо прозвала его «Хунг-ти», — «Императором». Довольно пожилой, он отличался манерами, достойными мандарина. Порода их давно вымерла, но сохранилась в памяти почтенной прабабушки мисс Яо, родившейся во времена старинного этикета и тонкого воспитания, когда все постоянно желали друг другу «Тао-минг-цзе», то есть сохранения лица. «Хунг-ти» давно его потерял, будучи подопечным города. Несмотря на бедственное положение, улыбка его была чарующей, манера держаться свободной. Чрезмерная вежливость означает, что клиент ожидает одолжения. Если бы мисс Яо доверяла «Хунг-ти», она бы намекнула ему, что должностное лицо никогда не бьет приносящего дары. Но она до поры до времени молчала, потому что торопливость ошибочна и вредит важным планам.

— Доброе утро, мисс Яо, — послышался мягкий голос возле ее стола.

Она подняла голову. Черные крылья ее волос были расчесаны до блеска. Уклончивая азиатская улыбка тронула ее губы.

— Только вспомнишь о Тсао-Тсао*. и он тут как тут, — подумала она и сказала вслух:

— Мне жаль, что я слишком занята, чтобы уделить вам время, сэр.

«Хунг-ти» улыбнулся с любезностью придворного:

— Как могли вы подумать, мисс Яо, что я намерен занять ваше драгоценное время?

— Боюсь, что вам придется подождать, сэр. — Комплименты «Хунг-ти» никуда его не ведут, и она не поднимет крышку кастрюли слишком рано.

— Я подожду, мисс Яо, и с вашего разрешения сяду поблизости.

Мисс Яо склонила свою на диво причесанную головку и достала папку с досье клиентов. Поведение «Хунг-ти» понятно: яйца не спорят с камнями. Ее положение должностного лица обязывает этого «Хунг-ти» вести себя серьезно.

---

* Китайская поговорка.

Свойственная ей мудрость советует заставить его ждать подольше. Тому, кто ожидает, мгновенье чудится годом и, когда она окажется готова принять «Хунг-ти», он будет достаточно ждать, чтобы постигнуть самоочевидную истину: из десяти причин, в силу которых должностное лицо займется разрешением дела, девять останутся для просителя неизвестными. «Хунг-ти» являлся в Городской отдел помощи ради трех нищих, живущих в одном с ним доме. Все они хворали, а дом был обречен на слом. Мисс Яо надлежало разместить нищих, чтобы они как можно скорее выехали из обреченного дома. Но она стерегла свое молчание, как драгоценную вазу. Прошел час, и она знаком указала «Хунг-ти» на стул возле своего бюро. Открыв досье, она взяла карандаш и стала делать заметки на полях блокнота.

— Вы оказываете мне честь, занявшись моим делом, мисс Яо, не так ли? — кротко спросил «Хунг-ти».

Он пытается вернуть себе лицо своими повадками мандарина. Он и похож на аристократа: изящная осанка, узкие руки с длинными пальцами... Ему только не хватает наперстков на концах пальцев, чтобы не сломать длинных и овально отточенных ногтей. И вдруг она заметила кольцо на безымянном пальце «Хунг-ти», сапфировое кольцо-интальо в старинной золотой оправе.

— Я познакомлю вас с моими данными, — сказала мисс Яо. Она отвела глаза от кольца «Хунг-ти», взглянула на досье и перевела взгляд на кольцо. — Вера Старицкая получает двести тридцать долларов от Социальной помощи, Марко Стенич получает двести пятьдесят долларов и Арамеис Срабьян — двести пятьдесят долларов. Если Вера и Марко будут помещены в инвалидный дом, ежемесячная стоимость их содержания превысит доход этих лиц. Поэтому добавочная сумма должна быть уплачена с помощью займов каких-нибудь доброжелателей, а так как их не имеется, то уплачена городом. Вы согласны с моими выводами, сэр?

— Бесспорно, мисс Яо. Вы превосходно разобрались в этих случаях.

Мисс Яо снова кивнула головкой и задумалась, перелистывая страницы досье. Зачем искать мяса на обглоданной кости? Но «Хунг-ти» является обладателем великолепного интальо. Должно быть, это семейная реликвия. Длинные глаза мисс Яо снова уставились на интальо. Не стоит лезть на дерево, чтобы найти на нем рыбу; согласно мудрой прабабушке мисс Яо, большие рыбы поедают маленьких, те поедают морских насекомых, а они поедают водоросли. «Хунг-ти» имеет статус рыбешки, обладающей великолепным кольцом; должностное лицо представляет собой большую рыбу, в настоящее время занятую превращением рыбешки в морское насекомое.

— Я нашла, что в личной жизни Веры, Марко и Арамеиса замешано множество скрытых сил, — объявила мисс Яо. — Они имеют большое влияние на устройство вышеупомянутых лиц.

— Вы сделали исключительно мудрый анализ, мисс Яо, — сказал «Хунг-ти». — Как отрадно видеть столько мудрости у молодой девушки!

На языке у него мед; не меч ли у него вместо сердца? В его годы он должен понимать, что дары трогают даже небожителей.

— Применив технику моей профессии работника социальной помощи плюс психологический анализ, — продолжала мисс Яо, — я нашла, что имею дело с очень больными клиентами, больными как физически, так и психически. Они регрессировали до мышления детей и им доступны только концепции понятий «я» и «мое».

Кольцо восхитительно. Мисс Яо взглянула на свои тонкие пальцы и бросила взор на перстень «Хунг-ти».

— Ваша оценка положения моих бедных друзей, мисс Яо, удивительна. — И «Хунг-ти» отвесил элегантный поклон. — Могу ли я льстить себя надеждой, что дело их будет разрешено положительным образом?

— Напротив, сэр, для Веры еще нет места в инвалидном доме «Подсолнечник» и вакансия для Марко в доме умалишенных еще не открыта. Что касается Арамеиса, то он тоже должен ожидать очереди в старческий дом.

— Как это прискорбно, — вздохнул «Хунг-ти». — Неужели нет ни луча надежды для моих друзей?

Почему в мягком голосе «Хунг-ти» прозвучала юмористическая нотка? Мисс Яо отвела глаза от досье и заметила, что интальо исчезло.

— Состояние графини Старицкой ухудшилось, мисс Яо, — сказал «Хунг-ти». — Она слабеет, а Марко Стенич находится в постоянном бреду. Он, например, утверждает, что картины его кровоточат.

Вот оно! Возле ее блокнота!

— Это очень грустно, сэр, — сказала мисс Яо, накрыв интальо рукой. — Я проверю досье срочных мер.

Кольцо покоится в ящике ее стола. Ловкие пальцы быстро перелистывают страницы досье. Она отнесет кольцо ювелиру, и он уменьшит его до объема ее безымянного пальца.

— Представьте, сэр, у меня для вас хорошие новости. Я перемещу моих клиентов. Через два дня Марко Стенич будет принят в дом для душевнобольных. Я устрою профессора Срабьяна в прекрасный старческий дом и завтра же лично переговорю с директором «Подсолнечника». Вас это устраивает, сэр?

Хотя «Хунг-ти» был низведен до уровня морского насекомого, он взирал на мисс Яо глазами мудрости.

— Вы делаете честь вашему учреждению, мисс Яо, — сказал он. — Я всегда верил в ваши исключительные способности: вы гуманист, и я предсказываю вам блестящую будущность. И разрешите мне откланяться.

* * *

Профессор Срабьян отер лоб — августовская жара давала о себе знать — и поднял бокал белого вина.

— Ваше Величество! — провозгласил он с чувством. — И вы, сударыня! Мои соседи! И, смею прибавить: мои дорогие друзья! Ибо вы являетесь единственными друзьями этого одинокого старца, который через час покинет сей дом. Как вам известно, для меня найден приют. Он также найден для нашего злополучного друга Марко. Его отъезд в учреждение, известное, как «Божий дом» во времена Франции 13-го века, так как безумные его обитатели нуждаются в помощи Господа бога, помешал Марко выпить бокал этого

превосходного рислинга, выбранного Его Величеством для нашей последней встречи. Ваше Величество! И вы, графиня! В течение пяти лет мы находились под этой крышей. И как только все мы освободим наши квартиры, дом этот будет превращен в пыль господами в стальных шлемах, управляющими чудовищными повозками разрушения, не уступающими танкам. Мои дорогие и благородные друзья! Мечты стоящего перед вами старого идеалиста будут погребены под развалинами дома, где он прозябал. Мною было отправлено сто двадцать одно прошение о сохранности этого дома и его переделке в Дворец Бедных. Увы! Ни одно академическое учреждение не откликнулось на мой призыв.

Телефонный звонок вдруг прервал речь профессора Срабьяна.

— Извините меня, друзья мои, — сказал король. — И позвольте мне подойти к телефону.

— Послушай, — услышал он гнусавый голос. — Когда ты и старуха уберетесь из моего дома?

— Как только инвалидный дом примет графиню Старицкую, — ответил король. — С кем я имею удовольствие беседовать?

— К черту твое дурацкое удовольствие. Когда вы оба съедете?

— Может быть, через два-три дня.

— Ты что, уверен в этом?

— Да, если я так сказал. — В мягком голосе короля прозвучала стальная нота.

— Вот что, субчик. У нашей корпорации есть куриная ферма в штате Нью-Джерси. Не хочешь ли ты туда прокатиться?

— Вы очень любезны, приглашая меня на вашу ферму, — сказал король. — К сожалению, я не имею времени.

— Наша куриная ферма особенная! — буркнул в трубке голос. — Она находится возле болота, полного черепов и костей. Лучше смойся из моего дома, о'кэй?

Король повесил телефонную трубку.

— Это сумасшествует синьор Морро, — сказал он с легким смехом. — Он решил изобразить из себя un bravo di

Venezia*. но ему не хватает ни стиля, ни колорита эпохи. Пожалуйста, профессор, продолжайте вашу вдохновенную речь.

— Что он вам сказал, Государь? — всполошилась графиня. — У него, должно быть, что-то ужасное на уме.

— Не пугайтесь, графиня! Этот чудак, наверное, выпил слишком много кьянти. Профессор, мы превратились в слух.

— Боюсь, что мне нечего больше сказать, Ваше Величество.

Профессор снова поднял бокал и печально огляделся по сторонам.

— Мне тяжело расставаться с вами и с графиней. Огорчение, нет, не огорчение, но скорбь поднимает в моей душе бунт. Скорбь заставляет меня сомневаться в моем существовании и вспомнить определение человеческой жизни, данное Эмпедоклом, одним из величайших античных философов в его «Очищениях». Я помню его наизусть: «Воздух несет дух человека в море, и оно извергает его на землю. Земля подбрасывает его к горящим лучам солнца, и оно отшвыривает его обратно, в водоворот воздуха. Это доказывает, что мы ничто иное как игра стихий». И я закончу мое ultimum vale** на той же ноте, взятой мной у великого Эмпедокла. Ваше Величество! Сударыня! Прощайте!

* * *

От окна, открытого в бездыханные сумерки, не веяло ни малейшим ветерком. Графиня лежала не шевелясь и только беспокойно ворочала голову направо и налево. Лицо ее приняло пепельный оттенок. Король сидел возле нее.

— Здесь совсем нет воздуха, Ваше Величество, — прошептала она. — Задохнуться можно.

— Не принести ли вам стакан холодного лимонада? — спросил король.

— Нет, спасибо, Государь. — Графиня открыла полусонные глаза.

— Так же жарко было в Центральном парке, — продолжала она. — Днем я находила тень и съедала кусок хлеба и

* Профессиональный убийца 18 века из Венеции, мафиози.
** Последнее прости.

сосиску, пока не истратила свой последний доллар. Гулявшие по аллеям бросали белкам кусочки хлеба, я подбирала их и ела. Я ночевала на скамейках парка. Если бы Ваше Величество не подобрали меня, я бы давно умерла.

— Перестаньте вспоминать ваш крестный путь, графиня, — сказал он. — Зачем эти мрачные воспоминания?

— Ваше Величество, я не могу понять, отчего Бог так жестоко меня наказал. Всю мою жизнь смерть шла за мной по пятам. Старицкий, этот изверг, застрелил моего возлюбленного Андрея. В полном отчаяньи я уехала из Петербурга в Париж, взяв своих двух девочек. Они были моим утешением. Старшая погибла в автомобильной аварии. Туся, младшая, уцелела. Она была дочерью Андрея. Моя красавица Туся была умна, добра, пела, как жаворонок, и танцевала, как фея. На нее засматривались даже в Париже, полном прекрасных женщин. Знаменитый Ворт, одевавший ее, утверждал, что Туся — само совершенство. Она вышла замуж по страстной любви за американца. Он скончался от удара через два месяца после свадьбы. Туся приняла сто таблеток веронала. Вот она лежит в гробу, мое дитя, мое солнце!

Старушка села на постели и дернула себя за седые волосы.

— Перестаньте мучить себя, мой друг, — сказал король. — В нашем возрасте надлежит не скорбеть о разлуке, но готовиться к близкому свиданию. Прошу вас, успокойтесь! Вам станет еще жарче, если вы не перестанете себя мучить!

Он поцеловал руку графини, и ее пальцы крепко охватили руку короля. Так маленькие дети цепко впиваются в руки старших. Вдруг больная вздрогнула и широко открыла глаза.

— Ваше Величество! — ахнула она. — Где ваше интальо?

— Мое интальо? — переспросил король. — Дитя Азии не могло оторвать от него глаз. Бедняжке так хотелось надеть это кольцо! Как я мог ее разочаровать?

— Sire! Вы отдали свое кольцо китаянке из Вэлфера, чтобы профессор, Марко и я могли уехать из этого дома!

— Я вижу, что вы сомневаетесь в том, что я способен поухаживать за молодой девицей, — засмеялся король. —

А я-то на старости лет вообразил себя галантным кавалером!

— Как вы можете шутить, Sire! Это ужасно!

Устав от усилия, больная откинулась на подушку. В комнате становилось все более жарко.

— Ваше Величество, по-моему, температура повысилась, —- сказала графиня.

— Вы находите?

Оба удивленно оглянулись по сторонам, и вдруг из радиатора послышалось шипение.

— Котел открыт, — сказал король. — Странно! Я пойду его закрыть.

И он поспешно вышел. На его лице не было улыбки, когда он вернулся.

— Дверь в подвал заперта на ключ. Я позвоню в полицейский участок.

Он набрал номер. Линия молчала.

— Мне нужно отправиться в участок, графиня, — сказал он. — Телефон испорчен.

В это время с потолка раздалась торопливая беготня множества лапок.

— Крысы, — с ужасом прошептала больная. — Ваше Величество! Крысы!

— К несчастью, вы правы, милая. Крысы устроили чаепитие. Или они кладут яйца. Впрочем, яйца кладут только птицы. Признаться, я дурно знаю зоологию. Я закрою вашу дверь и направлюсь в участок. Дверь в подвал, где стоит котел, должна быть открыта и полисмены сразу вызовут крысолова.

— Нет, Sire! — закричала старушка. — Не покидайте меня! Я не в состоянии остаться одна! Я умру от страха! Крысы! Крысы прыгают по всему дому! Сжальтесь надо мной, Государь, молю вас!

— Хорошо, милая, — сказал король. — Подождем немного. Мы сыграем партию в безиг. Вчера вы меня обыграли дотла. Стемнело, и я зажгу лампу.

Света не оказалось. Луиджи Морро оказался верен своему слову: котел работал на полный ход; электроэнергия была выключена.

— В городе, наверное, частичное затемнение, — сказал король. — На станции перетратили электроэнергию. Это часто случается летом. Не волнуйтесь, графиня. Мы сразимся в безиг при свечах, как в Венецианском Ридотто восемнадцатого века.

Король зажег две свечи и сдал карты.

— Волшебная Венеция, — заговорил он. — Нет лучше декорации восемнадцатого века, чем Венеция. Вообразите постановку оперы Монтеверди в театре Фениче, при свечах. Венецианцы в черных бауттах и белых атласных полумасках, в треуголках поверх седых париков, занимают четыре яруса лож. Меломаны ждут, пока примадонна задержит фермату на до-диезе и тогда их крики — «Mu butto, сага!»* — зазвучат на весь театр. Эти энтузиасты оперы в самом деле готовы кинуться из своих лож в оркестр. О! Пятнадцать и два, графиня!

— Двадцать два и двойка, — прошептала старушка.

— Так. Очень ловкий ход! Тридцать одно. А, Венеция! Ридотто. Маски, зеркала и свечи. Кажется, вы сказали десять, графиня? Brava! Mu butto, cara! Девятнадцать!

— Вы думаете, Ваше Величество, что я могла бы поступить кассиршей в соседнюю гастрономическую лавку? — вдруг спросила графиня, положив карты.

— Что за странный каприз. — Король внимательно посмотрел на больную, взял газеты и стал обмахивать графиню. Она закрыла глаза.

— Благодарю вас, Ваше Величество. Итак, вы думаете, что я не смогу устроиться кассиршей. Но вы рассказывали мне о Венеции. Я прервала вас и извините меня за невежливость.

— Я говорил, что в залах Ридотто плавала тонкая дымка, хотя свечи горели в канделябрах, подсвечниках и хрустальных бра. Игральные столы группировались вдоль стен. Черные баутты делали игроков похожими на фантастических, зловещих птиц. Венецианки держали в руках горностаевые муфточки и разрисованные, бумажные веера. Прелестная ножка в низко обрезанной туфельке кокетливо показывалась из чуть приподнятого черного или красного

*Кидаюсь вниз, дорогая!

табарро*. Кто знает? Может быть, под маской прячется молодая монахиня, назначившая в Ридотто свидание любовнику? Игроки толпятся вокруг столов и делают ставки. «Фараон» самая модная игра. Карты и золото рассыпаны на столах, и игра волнует, как магия.

Король продолжал обмахивать больную газетой. Необходимо пойти в участок. Котел следует закрыть. Жара стала невыносимой. Температура, несомненно, поднялась на двадцать градусов. Он чувствовал, как пульсирует кровь в его висках. Радиатор громко шипел. Луиджи Морро оказался мастером своего темного дела.

— Между прочим, мой двоюродный дядюшка похоронен на венецианском Campo Santo**. Он был большим эксцентриком и приказал поставить в коридоре своего дворца пушку и самолично стрелял из нее ровно в полдень. Чтобы случайно не угодить в свою жену, он ставил ее в громадную медную вазу.

— Это был принц Людовик, Sire?

— Нет, принц Фердинанд. Да, зеленоглазая Венеция! Она парит в мерцающем воздухе, как гигантская, белая морская птица. Лев св. Марка в нимбе и с распростертым крылом положил когтистую лапу на Евангелие и смотрит в море, зоркий и грозный. На закате мозаики св. Марка сияют, как огнистые опалы. В храмах прохладное марево золотится, как море. Крылья ангелов св. Марка сверкают пламенем, переливаются красками и трепещут. Ангелы ликуют, они полны обожания и восторга…

Кажется, она спит и не слышит возни над потолком. Я могу теперь пойти в участок.

Но графиня простонала и повернулась на бок.

— Плещущие волны Леты, — снова заговорил король. — Вечно меняющееся зеркало лагуны. Серебристое отражение луны на воде. Водные просторы Венеции всегда заставляют меня думать о летейских водах, где души блуждают, освободившись от сна жизни.

Графиня беспокойно закинула руку за голову.

— У нее был темный пушок на верхней губе. До семнадцати лет она заплетала свои темные волосы в косы. Она вся сияла. Она умерла, агонизируя. Билась головой об угол ночного столика. Размозжила лицо. Зачем я живу, Sire? Я прожила тридцать лет с тех пор, как она ушла. Сейчас ей было бы за пятьдесят лет. До сих пор я не знаю, есть ли будущая жизнь. Я грешная старуха, я стою одной ногой в могиле, и я Фома Неверующий.

* Очень широкий плащ.

** Кладбище.

Она взглянула на короля из-под опущенных от усталости век и позвала:

— Ваше Величество!

Молчание. Газета валялась на полу. Король согнулся вперед на стуле.

— Ваше Величество! — задыхаясь, вскрикнула графиня. — Ваше Величество! О нет, нет! О, Боже, зачем Ты это сделал? Он был святой! Святой! Ваше Величество! Ваше Величество!

В комнате становилось все жарче и жарче.

Наум БАСОВСКИЙ

ВЕКОВАЯ ДОРОГА

Редко вражда наотмашь — все больше мелкие пакости;
редко и дружба настежь — все больше застольный шум.
Чем дольше живу на свете,
тем меньше нуждаюсь в пафосе:
простые слова и фразы все чаще идут на ум.

Слова из первого ряда, речи каркас несущий;
рядом с ними эпитет стал для меня нелеп.
Зрение, слух, обоняние не волнуют ни хлеб насущный,
ни вода ключевая, —
а просто вода и хлеб.

Не вековая дорога, что будущее пророчит,
и не песок раскаленный, где жаром бьет по глазам,
а просто песок, дорога, солнце, — еще короче —
лишь назову: пустыня, — каждый заполнит сам.

Не иссушающий ветер и не дождь освежающий —
просто смена погоды дня подведет итог;
И, посмотрев назад, просто скажу: пожарище;
и, вперед посмотрев, просто скажу: дай Бог...

Январь 1993

* * *

В.

Капли со свода о битую землю стучат:
стук монотонен, как скучная речь метронома.
Чуть не полвека с тобою мы не были дома,
чуть не полвека нас держит в себе каземат.

Мерные капли дискретно разметили дни;
следуя им, и другие понятия четки:
мера пространства — шаги от глазка до решетки,
мера покоя — зажженные на ночь огни.

Сетовать глупо, уж ежели так суждено —
жить в каземате и в нем же любить и трудиться.
Мера событий — в окне пролетевшая птица,
мера участья — письмо, за полгода одно.

Капли стучат, заменяя собою брегет,
стук монотонен, и только то легок, то тяжек...
Мера работы — немного казенных бумажек,
мера отчаянья — в крупную клетку рассвет.

Падают капли, и землю, и камень долбя;
что нам не вольно
и что же мы все-таки в силах?
Мера страдания — слезы из глаз твоих милых,
мера любви — эти строки: они про тебя.

Январь 1986

Матросская тишина

Рядом с психиатричкой, где глухая стена,
где кончается улица Матросская Тишина,
на полтора квартала у Яузы на виду
стояла тихая очередь в тридцать седьмом году.
Часами стояли люди в каторжной тишине,
под сеющим подлым дождиком стояли — лицо к спине, —
чтоб услыхать казенные, казненные слова
и убедиться: надежда все же еще жива,
и отдать передачу в черный провал окна,
и выйти, не видя, как плачет Матросская Тишина.
Плачут липы и клены, булыжники мостовой,
плач шелестящим шепотом проносится над Москвой,
будто виновна улица...
Но разве ее вина,
что тюрьмой завершается Матросская Тишина?
Нелепое это название пришло из глуби веков:
здесь была богадельня для спившихся моряков.
Тихо здесь было, тихо, и, может быть, с той поры
русская бабья жалость заполнила все дворы.
Но наступили странные, страшные времена,
в которых нет места жалости, Матросская Тишина.
Эту грубую нежность, эту пьянящую тишь,
оплакивай не оплакивай, разве тут сохранишь?
Нескончаема очередь, а впереди — война...
Стисни зубы покрепче, Матросская Тишина,
стисни зубы покрепче и не рыдай навзрыд —
символом стать из улицы тебе еще предстоит,
только пока, до срока, ты не знаешь о том:
немногие повидаются с тобой в пятьдесят шестом,
другие в шестидесятом возвратятся домой,
кто-то найдет пристанище в доме рядом с тюрьмой.
Молча прильнет бедняга к решетчатому окну,
вслушиваясь в ночную Матросскую Тишину.
Пророческим взглядом безумца увидит за цепью огней —
темно в исчезнувших двориках, а дальше еще темней,
и снова цепочка света, и если подняться в рост,
полосы света и мрака на многие тысячи верст,

словно живет повсюду, Господи Боже мой,
русская бабья жалость по соседству с тюрьмой.
Безумец, он дикий вывод примет, как антидот:
жить на свету опасно, а в темноте — сойдет.
Можно бы жить иначе, Господи Боже мой,
свет называя светом, тьму называя тьмой,
Но никуда не деться, ежели вся страна —
одна огромная улица Матросская Тишина!..

Июнь 1984

* * *

Просто кинофрагмент: горы, далекий снег,
медленный серпантин, где невозможен обгон,
и, наконец, перевал, и есть для взгляда разбег
маленький монастырь на фоне огромных гор.

Арки синий проем, двускатная крыша, двор,
а во дворе миндаль, розовый, как заря,
башни густой силуэт — и снова для глаз простор
маленький человек на фоне монастыря.

Покуда движется тень с запада на восток,
трудится человек, не покладая рук.
Весь день о камень звенят зубило и молоток,
и эхо спешит повторить этот щемящий звук.

Этот щемящий звук — словно бы жизни итог:
жил человек на земле, жил и камень тесал.
Ниже него — никого, выше — один лишь Бог,
который был далеко, но в трудные дни спасал.

Кроме высоких небес, камень со всех сторон —
каменное жилье, каменные гроба…
Но над горами летит тот монотонный звон —
о камень железо бьет,
и это моя судьба.

Ноябрь 1983

* * *

Неосторожное движенье,
лимоны катятся с лотка,
и сладко головокруженье
их подымать.
И вдруг тоска —
не без причины, слава Богу:
ее не видно на миру,
а просто вспомню про дорогу
и будто в детстве обомру.
Куда я мчусь? Туда? Обратно?
В какие годы и места?
Лишь эхо вскрикнет пятикратно
в пролетах темного моста —
и в сотый раз я видеть стану
мой детский неизбывный сон:
вагон отцепят от состава,
и потеряется вагон.
В окошко гляну спозаранок:
полупрозрачная слюда;
какой-то мертвый полустанок —
ни человека, ни следа.
Кругом снега. Чернеют ветки
под белой шапкой. Свет и тень.
Так тихо, словно в круговерти
остановился Божий день.
Вагон беззвучно едет мимо,
и сколько видеть я могу,
прекрасно и необъяснимо
лежат лимоны на снегу…

Ноябрь 1992

Молчу вечерами все чаше я — в глазах или боль, или сон,
и женщина рядом молчащая, с вечерним усталым лицом.
В течение целого вечера промолвится несколько фраз...
А в общем-то, сетовать нечего:
и вправду достаточно глаз.

В течение целого вечера, от утренних дел вдалеке,
сидим, прикасаемся к вечности и просто рукою к руке.
К чему болтовня виночерпия, к чему со словами игра,
когда подступила вечерняя, ведущая к ночи пора?

Мы прожили утро без подлости,
и день был заполнен трудом;
не страшно поэтому полночью
предстать перед Божьим судом.
И память стихает глубинная, и груз бытия невесом,
и женщина рядом любимая
с вечерним прекрасным лицом.

Июнь 1995

Ночная баллада

Заскрипела дверь, и спросонок спросил я: — Кто там? —
и в тот же миг ощутил, что покрылся холодным потом,
потому что эхом вернулся ко мне вопрос.
Мягко щелкнул замок — а ведь дверь была на запоре! —
и медленно зашелестели чьи-то шаги в коридоре,
и влажной спиной я к сырой постели прирос.

Я лежал, и горло дрожало в беззвучном стоне,
а черная тень смещалась на черном фоне,
по сантиметру в минуту приближаясь ко мне.
и когда напряженье почти достигло предела,
тень, очевидно, что-то неосторожно задела,
и вспыхнул свет — но не в комнате, а в окне!

И внутри бледно-желтого неровного круга
я узнал лицо своего давнишнего друга
и почувствовал, будто в черную бездну влеком.
— Это ты? — я спросил. — Это ты! — откликнулось эхо;
посмеяться бы впору, но было мне не до смеха,
ибо давний друг был потом заклятым врагом.

Мы дружили со школы, а может, с детского сада;
ничего объяснять ему было не надо —
как рентгенаппарат, он видел меня насквозь,
знал мои грязные мысли и темные страсти,
и я оказался в его безраздельной власти,
о чем не раз и не два пожалеть пришлось.

Двадцать лент назад я изгнал его
из праздничных дней и буден,
двадцать лет подряд я жил, ему неподсуден;
не знаю как и не знаю зачем он вернулся ко мне.
— Это ты? — я спросил. — Это ты! — закричало эхо,
раскололся мир скорлупой пустого ореха,
и я застыл черной тенью на черной стене.

Август 1995

* * *

Ефиму Пищанскому

Как в знаменитом скрипичном концерте Шнитке
солист играет на скрипке, струн не касаясь,
а весь оркестр молчит, опустивши руки,
еще не зная, что происходит чудо, —
так и мне захотелось убрать все белые нитки
неточных слов и рифм — случайных красавиц,
из неподвижных струн извлекая звуки, —
нет, не из струн, а попросту ниоткуда.

Только как это сделать, если в руках бумага,
карандаш или ручка, да словари на полке?
Притом скрипача мы видим, и лица выраженье
нас убеждает, что все-таки он не спятил.
Я же непониманьем рискую с первого шага:
обычный читатель увидит смысла осколки,
а попытка проникнуть требует погруженья
в беззвучную музыку — в таинство белых пятен.

И все же хочется верить в случай нечастый,
когда это мое странное стихотворенье
прочтет человек, который вздохнуть не может
от острой боли, что душу его поймала.
Возникнет связь, о которой пишут фантасты —
скажем, канал где-то в шестом измеренье;
сердце мое сердцу его поможет,
и боль утихнет — а разве этого мало?

Февраль 1993

* * *

В.

Все мы едем незнамо куда…
Давид Самойлов

Нет, нет, не пролетка, не кони,
но это совсем не беда:
в пустом и зеленом вагоне
я еду незнамо куда.

На сером вокзальном перроне
твой контур, как вызов судьбе.
В пустом и зеленом вагоне
нет места, нет места тебе.

— Прости, — я шепчу, — ради Бога,
я еду к особым местам:
в тупик там приходит дорога,
и рельсы кончаются там,

и только тропинка сквозная
ведет через гору и лес,
и что предстоит мне, не знаю,
на фоне пустынных небес,

откуда Всевышний уронит
лишь несколько капель дождя…
Но если б не ты на перроне,
то как бы я знал, уходя,

о том, что дорога мгновенна,
что тропка надежна,
о том,
что я возвращусь непременно
в зеленом вагоне пустом?..

Сентябрь 1995

* * *

Запах конского пота и свежего сена в телеге,
и Абрам-водовоз мускулист, проспиртован и потен,
И, свисая с телеги, качаются длинные слеги,
и по крошечной тени легко догадаться, что полдень.

Я совсем еще мал — мне не больше,
чем пять с половиной;
я не знаю о жизни, но верю в ее обещанья,
и качается небо, и, словно дитенок совиный,
я не видя смотрю в беспощадное солнце Тянь-Шаня.

Как недавно — вчера! — не кончаясь бежала дорога,
но в попытке коснуться упрешься в стеклянную стену.
Вот и минула жизнь, — или так ее, в общем, немного,
что не нужно усилий представить прощальную сцену:

по настилу моста простучат частоногие кони,
и душа опечалится стуком настойчивым этим,
и Абрам обернется — поводья в огромной ладони:
— Потерпи, золотой, потерпи — уже скоро доедем!..

Июнь 1993

* * *

Эли Корману

В российском городе N — центре убогой провинции
утром много птичьего щебета, вечером — собачьего лая,
и в числе достопримечательностей — извини подвинься! —
хоромы кого-то из Шуйских и музей Миклухи-Маклая.

В российском городе N не зря любят селиться птицы:
по свойству местности здесь высота
не чревата головокруженьем,
и еврей, единственный в городе, не торгует и не суетится,
а работает в школе и занимается стихосложеньем.

В российском городе N любое стремление вверх
по свойству местности уравновешено давлением сверху;
здесь можно жить и писать год, и десять, и век
в полной безвестности, лишь с вечностью делая сверку.

В россиском городе N отлаял последний пес.
По свойству местности здесь ночи длинны
даже в разгаре лета.
И каждую ночь поэт задает один и тот же вопрос:
— А что я делаю здесь? — и не находит ответа.

Июль 1993

* * *

Здесь осень другая — не шум листопада,
не лес помертвелый,
не сонное солнце, не дождь, моросящий протяжно-уныло,
когда лишь припомнишь о гроздьях душистых акации белой —
и холод на шее, и зябнут ладони, и сердце застыло,
и вся эта слякоть, и вся эта морось твердит непреклонно
о том, что надеждам на новый расцвет предаваться не надо,
что лес помертвелый весною оденется в новые кроны,
но мы не деревья, и необратима пора листопада.
Здесь осень другая: повсюду рождается новая зелень
и гром монотонный едва отгрохочет, как солнце пробьется,
и дождь водопадом все льется в сгоревшую землю,
и допьяна пьет эту воду земля и никак не напьется,
и за две недели заполнен Кинерет, и даже с опаской
служители смотрят на створы плотин:
не открыть ли немного? —
а гуща пардеса обрызгана щедрой оранжевой краской,
и в сгустках тумана на раннем рассвете пустая дорога…

Март 1995

Элеонора ИОФФЕ-КЕМППАЙНЕН

ИЗ ПЕТЕРБУРГА В ХЕЛЬСИНКИ

Плач по зиме

Обманщик — март!
Смерть старому — новый снег
летит на сирый пейзаж —
распятый, будто на пяльцах
Офорт черно-белый.
Март — в трауре по зиме
Ломает хладные пальцы
с видом страдальца.

Но руки дерев,
протянутые в тоске,
и глыбы льда,
рыдающие у дороги —

запомнили, как
от безумья на волоске,
зима бросалась
метелью ему под ноги.

Коварный март!
Жестокий весенний свет.
И птицы кличут
томными голосами...
И нет тишины,
и снега милого нет.
Весна приходит —
юность с пустыми глазами.

4 апреля 95.

Финляндия

Финляндия! — Опять я прозевала
момент пересечения границы,
и вот — вагоны мелкий дождь сечет.

Что ж! В Петербурге — там светило солнце,
но улицы, дома, а также лица
безжизненная покрывала пыль...

А впрочем, — всем известно, что границы
пересекаясь, прошивают сердце.
И я уже не упадаю ниц

пред ангелом на золоченом шпиле,
и, уезжая, сердца не оставлю
на родине, а увезу с собой,

хоть мне оно в Финляндии не нужно —
все чувства вышли из употребленья:
чтоб сносно жить — довольно и ума.

Здесь за окном — пейзаж вполне опрятен,
ухожены и лица, и дороги,
но все же в них, по мне — чего-то нет.

И все боюсь, что мне приснится ангел
над городом, на золоченом шпиле...
— и сердце будет у него в руках.

16 апреля 1995

Концерт

Нарочно флейты звук (мучение ушей)
барочною сонатою морочит.
Тычки форшлагов гонят вас взашей
из музыки. Но дышит дух, где хочет —
а вдруг он флейтой дышит?
... И один
оставшись, брякает нескладно клавесин.

Декабрь 94 г.

Накурившись, наевшись лекарств, —
провалиться в бездонные сны…
Привидения прежних мытарств
в этих пропастях — еле видны.

Там сознание борется с под-
сознанием. Там, наконец,
вызревает забвения плод,
расцветает терновый венец.

И проснувшись в поту, в тишине,
ощущая глухой барабан
вместо сердца, не помнишь и не
понимаешь, чем ты обуян —

то ль безумием прожитых лет,
то ль тоскою грядущего дня…

только дерева нежный скелет
за окном —
утешает меня.

Январь — февраль 95

Осенняя соната

1

На осеннем шоссе, на лету,
там, где скорость за сто километров,
где машина дрожит на мосту
от ударов холодного ветра,
мимо желтых и красных ветвей,
и зеленых с остатками лета,
и под серым огнем фонарей —
заместителей летнего света,
мимо зайцев, раздавленных в блин, —
и в сплошных коридорах гранита
ты один, ты один на один
с этой ночью, дождями размытой,
и несешься, безумный, как все,
без надежды и видимой цели
по смертельным осенним шоссе
у судьбы, у беды на прицеле.
Фары встречно летящих машин
ослепляют внезапно, как выстрел
ты один, ты один на один
с этим страха мельканием быстрым,
и несешься домой, несешься домой,
словно там тебя ждет утешенье,
ты один на один — Боже мой! —
с этой жизнью, с ее мельтешеньем.
Не спеши, утешения нет —

только дождь, только мелкая морось
на стекле, только мертвенный свет
фонарей, да предельная скорость.

29 октября 95, Хельсинки

2

В деревьях паузы, пустоты.
Уже прихвачены морозцем,
висят рябиновые ноты
на поредевшем нотоносце.
Звучат рябиновые гроздья
мажором светлым, цветом красным,
а осень бродит где-то возле,
смущаясь красотой напрасной
и шарит робко, как слепая,
в березовой клавиатуре,
рукой неловкой рассыпая
листы усохшей партитуры.
Синица примеряет в чаще
неяркий голос, голос зимний…

Осенней пьесы немудрящей
последний листик подари мне.

30 октября, Хельсинки

АНДРЕЙ ГРИЦМАН

«НИЧЕЙНАЯ ЗЕМЛЯ»

Поэтический сборник

Первая книга автора. Сборник составляют выбранные стихи, в основном, написанные в Америке за последние 5-6 лет. В сборнике три части: стихи, связанные с Москвой, «личные» стихи и нью-йоркский цикл. Основная энергия стихов этого периода— жизнь между двумя мирами. Включено также несколько свободных переводов из современной американской поэзии. Автор — поэт и эссеист, занимается американской поэзией. Многие стихи, вошедшие в этот сборник, были опубликованы в русскоязычных изданиях в США, а также в России.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПЕТРОПОЛЬ»,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ, 45 СТР.

**Книгу можно заказать в США по адресу:
1218 Emerson Ave., Teaneck, NJ 07666,
или в России в издательстве «Петрополь»,
Санкт-Петербург, 189620,
г.Пушкин, 2, ул. Ломоносова, 30.**

Цена книги в США $4.

Иван АХМЕТЬЕВ

ЧТОБЫ ДУМАТЬ, НУЖНО ВРЕМЯ

Творчество Ивана Ахметьева «официально» можно причислить к концептуальной поэзии. Ах, все это — экспериментальная игра, хотя, может быть, и умных и образованных литераторов! — воскликнет читатель. Напомним, что любая поэзия, в том числе и «концептуальная», в конечном счете подчиняется общим правилам прочтения стиха: читать, вслушиваться и вдумываться. При соблюдении этого простого правила стихи Ахметьева пробивают несколько непривычную, кажущуюся мелкораздробленной поверхность текста. Это стихи, подслушанные у жизни, умная шутка и самоирония, это тонкие вещи без назойливой глубокомысленности.

Творчество Ахметьева развивается по линии начатой или продолжаемой (теми, кто в живых) Яном Сатуновским, Всеволодом Некрасовым, в некоторой степени Михаилом Соковниным, Львом Рубинштейном. Все, по-видимому, началось с попытки разрушить привычный и душный, официальный и псевдотрадиционный, языковый канон и в месиве остатков искать сверкающие камешки естественного, не «облученного» языка. Автор принадлежит к так называемому поколению рок-н-ролла, и все это языковое многоголосье отчетливо слышно в его стихах.

А. Г.

жизнь начиналась
жизнь развивалась
жизнь продолжалась
жизнь обошлась

* * *

продуманность
придает действию
оттенок одухотворенности
и дает
удовлетворение

* * *

Европа двумя войнами
насильственно привязала нас
к своему ритму

что еще сказать — не знаю

* * *

эта наша гордость
всегда будет напоминать нам
о нашем позоре

* * *

чтобы думать
ведь тоже нужно время
верно?

а две мысли
думать одновременно
нельзя

* * *

может быть
мы многого не знаем
а может быть
мы не знаем
ничего существенного

* * *

не здесь

то есть

не сейчас

и не сразу

но обязательно

* * *

пиша в темноте
не заметил
что ручка не пишет

* * *

«я пишу мало
но я пишу непохоже на других»

мама сказала:

«не хвастай
пусть будет похоже на других
но побольше»

НОВОЕ СЛОВО

я могу употреблять его
или нет
но мне уже от него
никуда не деться

* * *

люди писали
и в лагере
и в тюрьме
и в психушке
и где только не писали

главное
делать это незаметно

* * *

читайте

но не завидуйте

* * *

почему это стихи
самому не ясно

что-то заставляет
записывать

Оболдуев
Сатуновский
Некрасов

ХОРОШИЕ СТИХИ

хорошие стихи
не отменяют
других хороших стихов

* * *

зима была тяжелая

ну
скажем так
субъективно тяжелая

* * *

история нас рассудит
если она еще будет

* * *

дело же не в этом

было бы что рифмовать

а если есть что рифмовать
то можно не рифмовать

* * *

русская поэзия катилась
на ритмических салазках
пока не выехала на советский
асфальт

верррлиббрр

* * *

вечер
смотрю немые фильмы
в окнах противоположного дома

* * *

сердце торопит меня
я устало я устало
думай скорее

* * *

меня никто не любит
всем некогда

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ТЕАТР АБСУРДА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

Нью-Йорк; Правительство в изгнании; Шинау; Израиль; Бейт-Бродецкий; Рувен Веритас и другие; Снова Нью-Йорк; «Свободный мир»; Мой иностранный паспорт; Дядя Сол; Под знойным солнцем Тель-Авива; Что нужно бедному еврею?; Дом, в котором я жил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП «АВРОРЫ»

Инженер Сэм Житницкий; «Оплот Израиля»; Мы жили... Мы ждали; Судьбоносный день; Сага о черемухе.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62

Мой Атлантик-Сити; Лорд Шацман и его персонал; Про Мейерхольда и Ворошилова; Странная штука — жизнь; Лефортовская одиссея; Ленин-Бланк и наша эмиграция; Мать и мачеха; Пир победителей; Облака плывут, облака.

Книгу можно заказать в редакции «Время и мы».

"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel. (201)592-6155

Цена книги 10 долларов.
В книге 254 стр.

В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

МОСКОВСКИЕ ИГРЫ

Ельцин, победа коммунистов и их место на пути в будущее России

Можно было ожидать, что победа коммунистов на российских выборах вызовет в мире шок. Прежде всего на Западе, да и внутри самой России, где победе компартии сопутствовало сокрушительное поражение партий реформ. Опасения не подтвердились. Реакция оказалась более, чем спокойной. Впрочем, трезвый взгляд на геополитическое положение России свидетельствует, что иной реакции не могло и быть. Следует, вообще, отметить, что внимание мира к российским событиям значительно ослабло. Россия была интересна Западу, когда представляла угрозу его существованию. Теперь и времена и ситуация изменились. По общему мнению обозревателей, какие бы силы не победили на выборах в Думу, факт этот вряд ли может что-то изменить. Охваченная анархией и кризисом перестроечная

Россия перестала быть сверхдержавой. Для Запада это главное. Что касается внутренней ситуации, то и здесь, правда, по другим причинам, коммунисты никого не напугали. Озадачили — да, но практической опасности правящие круги для себя не увидели. Всему миру московская Дума известна скорее как говорильня, нежели как серьезный законодательный орган, обладающий полнотой власти.

Не случайно президент Ельцин поспешил заверить российских граждан, что страна и дальше пойдет по пути реформ и демократических преобразований. Правда, его помощники по ходу дела прокомментировали, что потребуются кое-какие корректировки, но какие именно, не упомянули — так что их обещание выглядит скорее, как пустая декларация, никого и ни к чему не обязывающая.

Вышедшие из недр коммунизма, российские правители понимают, что фактическое положение вещей определяется никакими не выборами, а реальной расстановкой сил — заказывать музыку будут те, кто держит в своих руках госаппарат, армию силовые структуры. Так было в сталинские времена, так остается и сегодня, в посткоммунистические времена, когда несмотря на провозглашенную свободу и демократию, неизменно застывшим остается политический почерк верхов. В Москве все решает мощный и снизу до верху коррумпированный чиновничий аппарат. Та же картина на периферии, представляющей собой удельные княжества, которыми правят опять же всевластные губернаторы и чиновники, пересевшие из партийных кресел. Да и сама приватизация произошла в результате черного передела народного достояния между вчерашними партократами. Демократия, если бы она стала истинным народовластием, вряд ли могла бы уживаться с всемогущими мафиями, анархией, разгулом преступности. Собственно, такого типа правителем является и сам президент Ельцин, фигура слабая и безусловно двойственная. С одной стороны, как будто бы демократ, сторонник реформ, но в своей политической практике так и не избавившийся от большевистской психологии. Вспомним хотя бы его кровавую расправу с парламентом, его бесконеч-

ные, на манер партийных, дворцовые интриги и предательства соратников. Взглянем, наконец, на личную жизнь Ельцина, страдающего хроническим алкоголизмом, который вместе с прочими его недугами так часто выводит его из игры. И сам он все более становится марионеткой в руках окружения, политиканом среди политиков, такой же, как они, столичной штучкой, которой манипулируют, как хотят, его собственные опричники, ведя за его спиной опасные политические игры. В этой дворцовой ситуации, когда бутылка «Столичной» становится символом бытия российского президента (отсюда и лозунги: «Ельцину — водка, народу — хлеб!») — так вот в этой опасной и запутанной ситуации победа коммунистов, с их большевистской ментальностью, не может не придать ельцинскому правлению особого политического привкуса.

Мощный фактор политики

И все-таки неверно рисовать российскую ситуацию лишь черно-белыми красками. Хотим мы этого или не хотим, но следует признать, что положение в стране является куда более сложным, чем это часто кажется, например, ее американским критикам, стремящимся все разложить по полочкам. И сегодня еще можно услышать, правда, уже со страниц правой российской печати, что перед нами просто перекрасившийся коммунизм. И Ельцин — это тоже коммунист и что победа компартии на выборах ни о чем не говорит. Так же, как опасна другая крайность, когда мы слышим, что до сего дня Россия была демократией, а вот результаты выборов — это начало реставрации советского режима.

Игры за карточным столом в Кремле требуют от нас весьма тонкого стереоскопического анализа ситуации. Для ее понимания мало что дадут привычные клише и стереотипы. Хотим мы этого или не хотим, факты заставляют признать, что российские коммунисты восстали из пепла: победила партия, которая каких-нибудь четыре года назад

была объявлена вне закона (а чуть раньше едва не была посажена на скамью подсудимых). Победила, хотя за ее спиной были чудовищные сталинские преступления, которые принесли народу неисчислимые бедствия. Несмотря на это, компартия получила на выборах поддержку значительной части граждан страны. Это сегодня, а что же в будущем? Сам по себе факт, что в Госдуме у коммунистов пока нет большинства, мало о чем говорит. Незадолго до Октябрьского переворота большевики-ленинцы и вовсе составляли ничтожную горстку. Но это не помешало им прийти к власти и за несколько десятков лет превратить нищую Россию в могущественную и коварную империю. Сегодня это уже история, да и сомнительно, что Зюгановская партия, даже если она этого захочет, окажется способной завоевать власть. Очевидно другое, что в сложную политическую игру в России вступил еще один мощный фактор, который безусловно еще больше усложнит и обострит общую ситуацию в стране.

Впрочем, вопрос вряд ли будет стоять так: коммунизм или демократия, третьего не дано. Победа компартии — при том, что Ельцин успел привести к власти новые силы и что сами российские коммунисты успели сильно измениться, вряд ли будет означать поворот российской истории вспять. Тем более, пока непонятно, в состоянии ли коммунисты что-то изменить в экономическом положении населения. Или все их предвыборные обещания так и останутся на уровне политической фразеологии? С другой стороны, если на президентских выборах победит ельцинское руководство, связанное с коррумпированными структурами, то и это вряд ли приведет к триумфу демократии, поскольку неотъемлемой частью демократического строя является правовое государство, приход которого пока что не угрожает россиянам. Возможен, правда, и третий вариант — победа так называемых национал-патриотических сил, которую попеременно связывают то с именем Жириновского, то генерала Лебедя. Но и такое развитие событий едва ли будет означать наступление фашизма, по крайней мере в его чистом виде. Скорее всего

возникнет система, опять же напоминающая ту, что действует сегодня, — с нищетой, анархией, мафиями, мздоимством чиновников — хотя, возможно, и с большими элементами диктатуры и тоталитаризма.

Прогноз российского будущего всегда дело рискованное. Думаю, что вдвойне он рискован сегодня. Никто не мог предсказать перестройки, вызвавшей к жизни общество, аналогов которому мы не знаем в 20 столетии. О его завтрашнем дне и вовсе говорить не приходится. Поэтому любые возможности развития страны приходится сопровождать разного рода оговорками. Но как бы ни развивались события, приход коммунистов к власти (притом демократическим путем) еще привлечет к себе внимание и в Москве и на Западе. И пока мало понятно, с каким знаком будет рассматриваться в мире этот факт в условиях бесконечно сложной российской ситуации.

Почему же побеждают коммунисты!

А в самом деле, почему? Почему Зюганов, который на выборах в Думу так решительно выступал против перестройки, одержал сокрушительную победу над Гайдаром, родоначальником реформ, который в отличие от лидера компартии не набрал и пяти процентов голосов? Политические противники коммунистов приводят в ответ целый набор аргументов: ну, во-первых, переход от планового к рыночному хозяйству не может протекать безболезненно и не требовать жертв от населения, о чем Гайдар и Ельцин предупреждали еще в начале пути. Конечно, нищета, охватившая чуть ли не половину России, — это результат определенных просчетов. Но ведь у нас не было готовых рецептов — история, вообще, не знает подобного опыта. Другие объясняют, что происшедшее вовсе не свидетельствует о тяге к коммунизму. Избиратели просто пожелали наказать реформаторов. Что верно, то верно, трудно поверить в ностальгию по коммунистическим временам, по Брежневу,

по райкомам партии, по номенклатуре. Можно вполне представить, что многое в прошлой жизни жителей России устраивало, ну хотя бы то, что это прошлое давало им худобедно существовать. Что касается верхов, то они, естественно, утверждают, что все это трудности временные — еще год, полтора, и они обуздают инфляцию, и все начнет постепенно налаживаться. Цену разговорам о «временных трудностях» население России хорошо знает — они были на протяжении всей советской истории. И вот на исходе 70 лет, когда провозгласили демократию, россияне хотели бы наконец увидеть результаты — не видели от Сталина, не видели от Хрущева и Брежнева, так хоть увидеть от демократов. Но вместо обещанных перемен, они стали свидетелями новых политических игр, разгоревшихся в российской столице в борьбе за власть. Эти игры никакая из сторон не вела в белых перчатках. И «демократы» в глазах населения выглядели ничуть не лучше, чем вчера еще ненавистные коммунисты. Лозунги о равенстве, свободе и демократии превратились в побрякушки слов, ибо сопровождались появлением такой ужасающей бедности, преступности и развала, что в оплеванных душах избирателей, не могло ничего родиться, кроме священного гнева против новых правителей.

Три монолога о российской жизни

В московской печати много пишется о капитализме и приватизации, приводятся крупные цифры вновь появившихся частных предприятий. Все это могло бы внушать оптимизм. Однако проблема сегодня не в том, полезны ли эти перемены, а в том, какой ценой они достигаются. Кажется, о цене реформ ни одно из правительств по настоящему не задумывалось. Правда, как уже подчеркивалось, вначале Ельцин и Гайдар говорили о трудностях, но снова о «временных трудностях», естественно, не углубляясь в рискованную тему о том, насколько эти трудности болезненны и что за

испытания ожидают граждан России. Думали о цели, горели этой целью, также, как «горели» светлым будущим в сталинские времена. По-видимому, считали, что для достижения такой высокой цели, как рынок — любые средства окажутся хороши. Как видим, модель поведения верхов мало отличалась от той, что была в сталинско-брежневские времена, те же знакомые населению игры верхов. Но тогда опирались на мощь тоталитарного режима, и потому любой провал и обман сходили с рук. Теперь, в условиях демократии, за пренебрежение интересами населения приходится расплачиваться — не только низам, которые пожинают плоды на собственной шкуре, но и реформаторам, потерявшим у низов всякое доверие.

Кстати, провал демократов можно было предвидеть задолго до выборов, еще в октябре 1995 года, когда был я в последний раз в Москве. Какие только проклятия в их адрес не сыпались, — причем везде, где бы я ни начинал разговоры с москвичами. Вот, вам монолог номер один, услышанный мной на Нарышкинском бульваре, где полвека назад прошли годы моего детства. Кстати произнесен он был спонтанно, без всякого моего знакомства с автором. Я углубился на скамейке в газету, и рядом с собой вдруг услышал: «Газетки почитываем? Читайте-читайте! — Я попробовал выяснить, кто был обладатель голоса. — Ну об этом, извините, умолчим. Считайте, обыкновенный прохожий, 1958 года рождения, работаю на производстве. — И далее уже на одном дыхании продолжал: — В какой партии состою? Откровенно говоря ни в какой! А кому сочувствую, скрывать не стану: партии коммунистов — вот кому! Почему? Потому что я ненавижу этот капитализм, при котором нет никакой нормальной жизни. Куда не сунешься — в больницу, в собес, в завком — разговор один: выкарабкивайся сам — это тебе ни при Леониде Ильиче, тут тебе, друг, капитализм, а не касса взаимопомощи! А мне на Брежнева что грешить? Мне он ничего плохого не сделал. Зарплаты хватало, получал премиальные, каждый год путевки, то в Сочи, другой раз в Кисловодск, в Болгарию даже съездил,

ребятишки в детсаду, все бесплатно, а сейчас, глаза бы на эту муть не глядели — рынок, рынок! А на что мне ихний рынок, что я американец, я простой русский рабочий и заслуживаю от государства уважения».

Другой мой собеседник, московский интеллигент, пенсионер, профессор экономики, тридцать пять лет стажа, по всей стране ученики. «А сейчас, понимаете ли пролетарий умственного труда, на квартплату не хватает... А что правительство? Ха, правительство! Правительству я просто безразличен, так что не обессудьте, но состою в партии Ильича. Никогда раньше не был, а вот теперь вступил, назло им всем!»

Третий — отставник-майор, пятый год в очереди на квартиру. Между прочим, кавалер трех орденов. «Только кому такие кавалеры нужны, бездомные, да еще без гроша в кармане — нынче в почете другие кавалеры, покруче нашего. Зато идем к сияющим вершинам капитализма... Дай бог доживу до выборов, тут уж выполним свой гражданский долг! Так выполним, что кое-кто своих не узнает...»

Капитализм в США и в России

Из истории известно, коммунисты побеждают там, где наступает развал, анархия и нищета. Это — истина, но не вся истина. Вся истина глубже.

В свете случившегося в России возникает вопрос куда более сложный и болезненный: насколько, вообще, возможен отрыв населения от коммунизма, с которым оно сжилось в течение нескольких поколений. Или скажем круче: реален ли вообще, судя по событиям в России, переход коммунистических, тоталитарных государств, к частно-капиталистической системе? Готово ли их население ее принять?

Что касается России, то после августовского путча вопрос об уходе коммунизма в прошлое, казалось, не вызывал сомнений — сброшенный с лубянского пьедестала

памятник Дзержинскому стал символом его крушения. Все говорило о том, что свершилась историческая справедливость. В преимуществах капиталистической системы ни у кого не было сомнений. Поэтому я хотел бы перенести проблему в иную плоскость и задаться чисто гипотетическим вопросом: а что, капиталистическая система, о которой не устаем говорить, работает всегда? Возьмем для сравнения Америку и Россию. Всему миру известно, сколь эффективен капитализм в Соединенных Штатах, где все на свете частное — и экономика, и медицина, и образование, и кино, — так вот может ли капитализм в принципе также эффективно заработать в России, где на протяжении 70 лет все частное с корнем вырывалось и заменялось государственным, тоталитарным, управляемым сверху и где на протяжении тех же 70 лет формировался принципиально иной индивидуум, пропитанный до мозга костей этим тоталитарным духом. Вспомним моих московских собеседников, для которых выглядит само собой разумеющимся, что государство обязано предоставить им работу, жилье, бесплатно их лечить, бесплатно растить и воспитывать их детей, а самих их обеспечить в старости. Не потому ли даже диссиденты (требующие от тоталитарного в те времена государства соблюдения конституционных прав граждан) в своем большинстве не хотели ломать самого государства, его конституции и законов. Даже они, по-видимому, не понимали действующего в СССР механизма, а именно, что государственная опека и всепомоществование (которые, кажется устраивали всех) были неразрывно связаны с насилием, репрессиями, контролем над мыслью, отсутствием всякой свободы. Эти две стороны тоталитарного государства были, как сиамские близнецы, одна сторона не могла существовать без другой. Но население России, подобно своим диссидентам, этой связи не хотело видеть. Оно согласно было на капитализм, но чтобы капитализм был коммунистическим. А когда коммунизм был отправлен на свалку, то решительно взбунтовалась. Вот так и получилось, что коммунизм и капитализм тесно переплелись в их сознании. И

это опять факт реальной российской жизни. Его можно сколько угодно критиковать, подвергать анафеме, но никак не сбрасывать со счетов.

Прислушиваться к гулу истории

Отсюда и победа коммунистов на выборах — уже в свободной России — заставляет нас отказаться от слишком уж категоричной оценки — что коммунизм, куда не кинь — это всегда и для всех плохо, и что капитализм всегда и во всем имеет перед ним преимущества. Мое эссе — не о капитализме, оставим его в стороне. Просто российские события в который раз учат, что жизнь надо принимать такой как она есть, со всеми ее поворотами и противоречиями. Пусть для этого даже придется отказаться от устоявшихся и, кажется, одобренных самой историей стереотипов. Но, если сказав «а», мы хотим сказать «б», то надо согласиться и с тем, что при всех преимуществах капитализма, переход от коммунизма к рыночной экономике (если он и состоится) чреват серьезными и непредсказуемыми катаклизмами. Об этом опять же говорят гримасы российского пути, когда бесполезными оказались любые заклинания и шапкозакидательство, как, впрочем, и идущие с Востока и Запада бодряческие призывы идти к «сияющим вершинам рынка».

Выше мы уже говорили, как коммунизм в течение 70 лет уродовал души жителей России. Но одни лишь ссылки на тоталитарный режим не могут стать объяснением российских неудач на пути к капитализму. Поэтому имеет смысл бросить взор в недра российской истории, обратиться к веками складывавшемуся сознанию народа, к тому, что теперь так модно называть его ментальностью? Вероятно, если бы на протяжении многовековой истории, в русском обществе, особенно в деревне, не был так глубоко укоренен общинный уклад (начавший разрушаться лишь в начале 20 века столыпинскими реформами) — то захватившим

власть большевикам вряд ли удалось бы так легко одурманить насение своими коммунистическими лозунгами.

Естественно, прошлое России, сыгравшее столь роковую роль во всей ее истории, не может идти ни в какое сравнение с истоками американской экономической системы, в основу которой с первых дней были положены принципы свободы личности и частной собственности. Как не может быть никакого сравнения замкнутой общинной психологии со структурой сознания свободного американского производителя. Какие может быть сравнения российского опыта с британским и, вообще, ни с каким с западноевропейским опытом.

В сотый раз повторим, что Россия вошла в современную цивилизацию своим, отнюдь не западным путем. У истоков ее пути стояли хоть и не коммунистические, но в чем-то близкие к ним общинные начала. Стоит заметить, что последнее нашло даже отражение в политической мысли России. Не случайно Бердяев подчеркивал, что коммунизм — это не однозначно отрицательная система, что существует «правда» и «ложь коммунизма». «Ложь коммунизма» — это то, что вылилось в тоталитарный сталинский режим в России, но она как бы существует с «правдой коммунизма», которая заключена в его социальных лозунгах, в его мечтах о счастливой и справедливой жизни на земле.

Верно, что до сих пор так и не появилось общества, в котором бы заработала «правда коммунизма». Именно в этом смысле трагический опыт России принес человечеству глубокое разочарование. Но поражение коммунизма в России поразительным образом не привело к перевороту в сознании большинства в пользу частно-капиталистических идеалов. (Пускай даже и не большинства, но той значительной части населения, которая способна решить судьбу страны.) И можно полагать, что коммунистическая утопия (а точнее, Русская утопия), пусть в искаженном виде, и пускай даже в подсознании дает и сегодня о себе знать. Это все та же мечта — как она нам всем знакома! — о где-то существующей счастливой и справедливой жизни, где все люди равны и все само собой устроилось, мечта о некой волшебной сказке, по которой вечно тоскует русская душа. Тут, кажется, никакой связи с реальностью, например, с победой Зюгановской компартии на выборах, но именно в свете этой утопии, а может быть, и самого русского характера легче становится понять, откуда это разлившееся по всей Руси неприятие на дух капитализма. Пусть и не всем населением, пусть появились «новые русские», свои капиталисты, а все равно ни о какой революции в сознании говорить не приходится. Только время покажет, чем все это разрешится, а пока, в реальности, возможно, главной причиной поражения реформаторов как раз и стали определенные черты общества изобилия, все того же капитализма, в котором сохраняется нищета, преступность, отсутствие идеалов, моральная деградация иных членов общества. А возможно, даже не срабатывает какая-то важная пружина человеческого сознания, не способного на далеко идущие выводы, даже, если оно вооружено трагическим 70-летним опытом России. Да и важны, в конце концов, не причины сложившейся ситуации, а свидетельства самой жизни, с которыми невозможно не считаться, сколько бы противоестественными и неприятными они не казались.

Факты жизни не выступают в обнаженном виде. И сквозь перипетии сложнейших политических игр, происходивших в российской столице, не так-то просто пробиться к истине.

Объясняя поражение реформаторов, можно ссылаться на новизну и неизведанность эксперимента, на отсталость населения и утопичность его сознания, на неопытность верхов, на обиды избирателей — в каждой из этих ссылок будет своя доля правды. Но с другой стороны все это лишь разговор «вокруг» и «около». Допустим на минуту, что по вышеуказанным причинам в России все и произошло. А в Литве, Венгрии, Болгарии, Польше? Похоже, победы коммунистов приобретают характер некой закономерности, которую пришло время объяснить и сделать необходимые выводы. Я чувствую, в сколь рискованную область вступаю, в ней нет готовых

рецептов, это область конкретных истин, которая не терпит категорических выводов, но требует от реформаторов чутко прислушиваться к гулу истории. У каждого народа, порвавшего с тоталитаризмом, есть право на свой единственный, уникальный путь к лучшей жизни. В этом смысле России и предстоит сделать свой окончательный выбор. Выбор, который не будет слепо копировать чужой, хоть и успешный опыт, но поможет проложить свою единственноуникальную дорогу в будущее.

ТРАДИЦИЯ НЕНАВИСТИ

Почему евреи страдают от юдофобии? Правда ли, что евреи "устроили" революцию 1917 года и развязали геноцид против русского народа? Действительно ли все чекисты были евреями? Совершили ли евреи "ритуальные" убийства царя Николая II и поэта Сергея Есенина? Что дали евреи человечеству?

Ответы на эти и многие волнующие вас вопросы вы найдете в новой основательно документированной книге Ефима Маневича ***"Традиция ненависти"***.

Цена книги (311 стр.) с пересылкой в США 12 долларов 50 центов, вне пределов США - 14 долларов.

Заказы по адресу: **World Review, P.O.Box 1147, Fort Lee, NJ, 07024**

Дмитрий БЫКОВ

УСТАЛОСТЬ

Давно мое состояние не было так адекватно заявленной теме. Я устал.

Смею думать, что единственное достоинство моих текстов — та возможность самоидентификации, которую они дают читателю. Дороже этой возможности, по-моему, нет ничего для нас обоих. Я типичный представитель, как и называется одна из повестей моего любимого прозаика Александра Житинского. Все устали. Усталость стала образом жизни страны. Диагноз этот был гениально поставлен Кирой Муратовой еще пять лет назад в «Астеническом синдроме»: поставлен, но обоснован только художественно. Кино не должно копаться в причинах. Эту работу оно оставляет публицистике.

Усталость во всем: в пассивном ожидании выборов и в готовности к ним, во всеобщей уверенности, что выборы либо провалятся, либо провалят все, потому что победят на

них коммунисты. Усталость — в невозможности и нежелании что-либо этому противопоставлять, в отсутствии свежих идей и, соответственно, перспектив, в чувстве исчерпанности, опустошенности, которое и так владеет всеми в конце века. Но российская ситуация специфична: мы в очередной раз поманили весь мир возможностью своего уникального пути, своим свежим ветром, своими оттепельными иллюзиями. Иллюзии эти блистательно лопнули, и дело вовсе не в том, что демократия не привилась. Все несколько сложнее.

Не так давно Елена Иваницкая, едва ли не самый острый и парадоксальный мыслитель поколения тридцатилетних, поставила передо мной хитрый вопрос. Дело было в «Общей газете», во время дискуссии о ценностях в современном мире (поводом к дискуссии, которую мы вели втроем с прозаиком Александром Мелиховым, послужила статья В. Шляпентоха на эту тему, опубликованная как раз в журнале «Время и мы»). Иваницкая заметила: в средние века с точки зрения верующего мир представлялся юдолью скорби, царством тотальной дисгармонии, атеистам же, напротив, была присуща некоторая радость, чаще всего гедонистического свойства. Религиозное мировоззрение характеризовалось мрачностью, унынием.

Сегодня мы наблюдаем принципиально иную картину: мировоззрение верующего куда более светло, тогда как именно для атеиста мир является юдолью скорби, живет по несправедливым и бесчеловечным законам. В чем фокус этого перевертыша? Признаться, я два дня ломал голову, прежде чем обнаружил винтик подмены. Да, средневековый христианин воспринимал мир весьма мрачно, но он потому и представлялся ему лежащим во зле, что где-то, в недосягаемых пространствах, существовали абсолютные ценности, по контрасту с которыми мирская повседневность была так отвратительна. Тоска верующего тех времен — тоска по совершенству, результат сопоставления реальности с идеальным представлением о ней. Сегодняшний атеист мучается от другого — от принципиальной невозможности ценностей как таковых. Мир уже не может быть интерпретирован и оценен в терминах морали: не с чем сравнивать. Средневековый христианин страдает от несовершенства мира; современный атеист — от невозможности совершенства, и эта тоска куда безвыходнее.

Если угодно, в этом сопоставлении и заключается объяснение всеобщей депрессии, охватившей страну. Во все времена для русского сознания была священна мысль о принципиальной возможности какой-то другой жизни. Не случайно одна из лучших повестей Трифонова называется «Другая жизнь» — хотя весь поздний Трифонов кричит о том, что другой жизни нет, не было и быть не может. Мысль о других возможностях — цикл сказок Петрушевской так и называется: «В садах других возможностей», — русскому сознанию присуща постоянно. И оттого, например, диссидент может чувствовать отчаяние, но безысходной тоски до поры до времени он не знает: он при деле, при смысле жизни, у него есть представление о прекрасной и осуществимой другой реальности.

Сегодня всякий житель России, который еще над чем-то задумывается, должен признать: другая реальность неосуществима, жизнь безальтернативна. То, с чем мы столкнулись, отбросив идеологические гипнозы, то, что приблизилось к нам вплотную и дохнуло всеми своими миазмами, — это и есть жизнь, без утешений, без гипнозов, без идеологических шор. И если с социальной трагедией еще можно что-то сделать, то с экзистенциальной не поделать ничего.

Но русское сознание, инфантильное по своей природе, отказывается с этим мириться. Оно не может не надеяться, оно по-прежнему полагает возможной другую жизнь. А поскольку эта другая жизнь все не наступает, то от ее ожидания поневоле устаешь.

Дело не в крахе иллюзий — дело в осознании их принципиальной лживости. Абстрактное мышление, которым так грешит русская интеллигенция, отчаяннее всего пасует, сталкиваясь с данностями. Страна после стольких лет разного рода гипнозов — капиталистических, коммунистичес-

ких, индивидуалистических и общинных — оказалась нос к носу с жизнью как таковой. А жизнь как таковая — это неуверенность в завтрашнем дне, ужас взаимного непонимания, незримая стена, разделяющая любых влюбленных и единомышленников, — короче, речь идет обо всем наборе повседневных прелестей (не люблю слова «парадигма»), для нормального западного интеллектуала уже привычных. Западный интеллектуал успел придумать противоядия. Наш все еще колотится л б о м о грабли, спрашивая себя: это и есть жизнь? Утомительное занятие.

Русская народная мудрость учит: нет хуже, как ждать и догонять. Между тем все последние годы мы догоняем и ждем: догоняем несуществующую Утопию, ждем начала новой жизни. И не хотим признать, что никакой новой жизни — с гарантиями, с уверенностью, с упорядоченным бытом и предсказуемостью будущего — не бывает в принципе. Можно менять что угодно, но человеческая природа окажется неизменной; никакие социальные перемены не вернут нам утраченных иллюзий, не возродят тех наивных, четких и удобных представлений о мире, которыми большинство спасалось в семидесятые годы. Если будущее всегда отождествляется в русском сознании с чем-то светлым (как чаще всего и прошлое), то приходится признать, что будущего нет (а прошлого и не было). Есть одно бесконечное настоящее, а именно с ним русскому сознанию было всегда труднее всего договориться.

В России устаешь от многого: от непривычной среды, от новых законов жизни (верней, от того, что в действие вступили ее имманентные законы, а то, с чем можно было бороться, ушло безвозвратно). Устаешь от мельтешения, от страха нищеты, от необходимости зарабатывать — а зарабатывать сегодня можно, только «крутясь». Крутиться как раз и значит — топтаться, вертеться на месте, не совершая никакого поступательного движения. Больше всего устаешь, когда ничего не делаешь. Все усилия, предпринимаемые нашими людьми ради выживания (про обогащение никто уже не говорит), утомительны не только из-за гиган-

тского объема деятельности, но и от мелочности, бесполезности ее. Созиданием, признаться, тут и не пахнет.

Но всего более устаешь в России от двух вещей: от тотальной неопределенности и от столь же тотальной одинаковости. Неопределенность проистекает от того, что Россия не желает ни понять себя, ни сколько-нибудь определиться относительно своей природы. Одинаковость происходит от той же причины: у страны, которая не видит своего пути, не может быть и развития. Есть взвесь, хаос, туман, струна звенит в тумане. В последнее время, впрочем, вместо звона — звук лопнувшей струны из чеховского «Вишневого сада», и всякий мыслящий русский с ужасом ждет, когда же полопаются все струны, раз этот звук лопнувшей струны сопровождает всю нашу новейшую историю; мыслящий русский может не беспокоиться — это все одна и та же лопается, фонограмму заело. Стук топора тоже записан на пленку, иначе давно вырубили бы все.

Недавно один московский журнал спросил нескольких своих авторов: какой им видится Россия в XXI веке? Время для прогнозов выбрано, прямо скажем, не лучшее: вместо радужных ожиданий, какими всегда встречается новый век, у нас сейчас сплошное разочарование в старом, да и надо признать, что столетьице было ого-го. После такого надо еще век в себя приходить, а чтобы вернулся оптимизм, я уж и не знаю, какие кокосовые рощи должны вырасти в Сахаре, какие теплые ветры должны растопить ледяную грудь Антарктиды… России же вообще грешно испытывать оптимизм, потому что в XX веке в ее истории не произошло НИЧЕГО нового. Получив шанс вырваться из круга, она должна была использовать его прежде всего для национального самоопределения, в самом конкретном смысле слова: для формирования каких-то своих приоритетов. Приоритеты остались прежними и взаимоисключающими.

Поэтому на вопрос о том, какой будет Россия в XXI веке, можно с уверенностью ответить только одно: такой же, как всегда.

Всякий здравомыслящий субъект — кроме тех, кто совсем уж безнадежно привык все сваливать на внешние обстоятельства, — должен признать, что судьба человека имманентна его личности, характеру, что каковы сами — таковы и сани. Русской истории как осмысленного процесса нет и не может быть, поскольку на вопрос о русском характере вот уже полторы тысячи лет нельзя ответить ничего определенного. Истинно русский актер Валерий Золотухин так и сказал мне когда-то в интервью: в русском характере есть все. Да еще и в крайней степени, добавлю я от себя: на то она Россия. Иначе нечем было бы гордиться.

Платон Каратаев не случайно олицетворял для Толстого не только все русское, но и все круглое. Русский характер кругл и амбивалентен. Попадая в западню западничества, мы можем признать доминантой этого характера лень, пьянство, наклонность к беспочвенным мечтаниям, — но на всякий пример пьянства найдем дюжину примеров прагматизма, трудолюбия, практической сметки и чуть ли не аскезы. По словам Леонида Леонова, все достоверно о неизвестном; о России тоже все достоверно. Что о ней ни скажи, все будет в равной степени правильно и неполно. Если собрать десять мудрецов и каждого из них спросить о главных событиях в российской истории XXI века, один, возможно, даст верный прогноз — но не потому, что он такой умный, а потому, что ему повезло в лотерее.

История как осмысленный и направленный процесс начинается с самопознания. С этим в России очень трудно. «Она глядит, глядит, глядит в себя» — как же! Поэты ужасно наивны, когда берутся за геополитическую лирику. Россия не только не глядит в себя, но и принципиально не желает сформулировать наконец, в чем заключается ее национальное лицо. Между тем большинство наций из кожи вон лезут, чтобы попасть в анекдот, в путеводитель, в легенду — то есть как-то обозначить свои основные черты.

Англичане обожают выставлять себя приверженцами консервативных традиций и крепкого чая. Французы гордятся остроумием, легкомыслием и страстностью. Немцы

ценят в себе сочетание сентиментальности и специфической ментальности, для которой характерна любовь к абстракциям и тяжеловесная основательность. Евреи — и те при помощи самоиронии и окружающих ксенофобов сумели-таки даже без собственной территории сформировать типичный образ еврея («скуп, мстителен, чадолюбив, остроумен»).

Русские ничего подобного не сделали, потому что не хотели. Им напрочь противопоказано самовоспитание, а самовоспитание, по сути дела, и есть ограничение своей безмерности, педалирование каких-то немногочисленных ее составляющих. Мы не можем назвать сегодня ни одной убедительной доминанты русского характера. Русский народ минимально участвует в своей истории: он не делает ее, а терпит, мирится с нею.

Даже Бердяев, один из лучших русских публицистов (строгих философов в России почти нет — в основном литературные критики), в своей работе «Смысл истории» практически не рассматривает историю как результат целенаправленного и коллективного действия. История у Бердяева имеет лишь свыше данный смысл.

Вся история России — это, по большому счету, ожидание истории. Последняя начинается тогда, когда нация (или сплав наций) избирает себе некую реальную цель и начинает сообща ее достигать — так произошло в Америке, где вся страна вдруг взяла да и договорилась о нескольких основополагающих вещах. В России нет и не может быть закона, ибо никто ни в чем не уверен: на всякое утверждение находится равноправное возражение, и страна тысячу с лишним лет топчется на месте, делая шаг вперед, упираясь в кровавый тупик и поспешно отступая на два шага назад.

Амбивалентностью русского характера диктуется амбивалентность русской истории. По сути дела, в России все споры ведутся все об одном и том же. Боюсь, наше Отечество не приступит к поступательному развитию, пока не разделится на Европу-плюс и Азию-минус — иначе сама двойственность нашего географического положения будет

вечным препятствием, не позволяющим нам прийти к определенному мнению хоть о чем-нибудь, будь то квашение капусты или выгоды демократии.

Любая определенность лучше вечного болтания в проруби — но Россия никак не может выбрать между ценностями личности и толпы, между индивидуумом и коллективом, империей и республикой (ведь к выбору между одиночкой и массой сводится в конечном итоге главная дилемма человеческой истории). Аналогии набили оскомину — Щедрин и А.К. Толстой все написали еще на заре русского самосознания, и сегодня к их писаниям прибавить нечего.

Беззаконная диктатура сменяется беззаконной свободой, и если до определенного момента так развивалось все человечество (инквизиция уступала натиску Возрождения, Наполеон олицетворял свободу и сам становился тираном), то сегодня большая часть просвещенных государств сделала-таки окончательный выбор в пользу неприкосновенности личной свободы. Не исключены любые исторические зигзаги, но приоритет интересов личности доказал свою выгодность и жизнеспособность.

Россия же никак не может решить, что ей дороже: масштабность деяний, кровавость правителей, гигантские размеры территории — или уверенность частного человека в неприкосновенности его семьи и жилища.

В последнее время колебания российской истории значительно сократили свой период: промежутки свободы и диктатуры чередуются с калейдоскопической быстротой. Страна болтается на одном месте, и выхода из этого положения не предвидится, пока не сформируется национальный характер. Надеяться на это пока нет никаких оснований, ибо самовоспитание начинается с самопознания, а им в России всегда занимается ничтожно малая прослойка людей, которых в полном соответствии с местной ментальностью зовут лишними. Собственно говоря, только лишние люди в российской истории были заняты делом — познавали и формировали себя; все же остальные ждали общего

дела, в которое можно бы себя без остатка вложить, чтобы не размышлять над экзистенциальной проблематикой. Неважно, куда себя вкладывать: в борьбу за всеобщее равенство, в билеты АО «МММ» — лишь бы не раздумывать всерьез над тем, как жить на свете и чем отличаться от остальных.

В этом смысле весьма занимателен пример Никиты Михалкова, чей последний фильм не случайно называется «Утомленные солнцем». Он действительно крупный художник, я не принадлежу к числу тех, кого отталкивают его победительность и удачливость, а так как я не кинематографист, то могу себе позволить роскошь не завидовать ему и более-менее трезво разобраться в эволюции этого режиссера. Книгу о Михалкове с полным правом можно было бы назвать «Утомленный туманом».

Всю жизнь Михалков экранизирует Чехова, пишет о Чехове, любит Чехова. Всю жизнь он томится безвременьем. Как всякий значительный мастер, он амбивалентен. То есть способен вместить все. За это он платит отсутствием определенности в своих представлениях о мире, — ибо определенность и есть ограниченность. С определенности начинается конкретика, деятельность, развитие, — но ею кончается искусство.

Бремя амбивалентности для художника невыносимо. Еще Пушкин писал: «Блажен... кто в жизни шел дорогой торной, большой дорогой столбовой, кто цель имел и к ней стремился, кто знал, зачем он в свет явился...» Это Пушкин-то не знал? — а вот не знал, стишки казались ему делом недостаточным, он все хотел вложиться во что-то более серьезное, то в декабризм, то в историографию... «Содержимое Пушкина — пустота», — справедливо заметил Андрей Синявский: пустота — в смысле способности все вместить и всех понять, не сопереживая при этом никому конкретно. Нормальное свойство художника. Ведь и Мандельштам через сто лет откликается Пушкину: «Я трамвайная вишенка страшной поры и не знаю, зачем я живу», — Мандельштам тоже не знает? Ну, ежели гиганты не знали, то где уж нам...

Серьезное утешение для всякого нынешнего литератора. Михалковские персонажи всю жизнь кричат обо одном и том же: «Мне тридцать шесть лет!» (в подтексте: а что сделано?). «Жизнь прожита, а что я помню? — колыбельную, которую пела мне мать, да туман в России». О, этот русский туман, в котором тает Мастрояни в финале «Очей черных»! Чувство даром проходящей жизни: все могу, все понимаю, а не сделано-то ничего! И к «Обломову», кажется, Михалков обратился затем, чтобы как-нибудь оправдаться перед собой же, отдав моральную победу именно всепонимающему ленивому добряку, а не прагматику, четко знающему, зачем он живет. Впрочем, ленив ли Обломов? Или он, в силу той же амбивалентности русской натуры, слишком хорошо видит последствия любых своих действий, в том числе и негативные, а потому и предпочитает не вмешиваться в жизнь, наблюдая ее с дивана и всем сострадая равно? Есть люди думающие и люди делающие; первые, как правило, умнее, вторые полезнее.

И вот этой-то неопределенности, вечного бича всякого художника, этой-то неограниченности Михалков и не вынес. В силу особенностей своей биографии он превыше всего ставит дом, семью, родню, род, древо с корнями. Это нормальное мировоззрение созидателя. Дом — вообще идея компромиссная для почвенников и индивидуалистов, личное государство, розановский спасительный выход из русской дилеммы «община — личность». Но человек, любящий свой дом, боится хаоса, а потому он волей-неволей должен склоняться к идее твердых ценностей. Иное дело, что ему не следует никому эти ценности навязывать.

Свой последний пока фильм Михалков снял о предательстве интеллигенции, отступившей от кодекса личной чести, от принципов, от внеположной человеку идеи — ибо на ценностях личности в переломные времена далеко не уедешь. Митюль из «Утомленных солнцем» сломлен, комбриг же Котов погибает куда достойнее: при нем ценности вечные. Вернее, таковыми они представляются ему; и ладно, на жизнь хватит. Вот почему Никита Михалков кинулся

сначала в православие (чудовищная по количеству подмен и пошлостей программа «Перекресток»), потом в державность, теперь — в движение «Наш дом — Россия». Художнику оказалась невыносима жизнь без твердых ценностей. Занятно, что такие зигзаги бывали и у Пушкина («Клеветникам России»), и у Мандельштама («Ода»). Идея гордой маргинальности художника спасает одного Андрея Синявского, у которого хватает мужества четко разграничивать себя и страну. Для художника неопределенность, всевместительность, амбивалентность и даже имморализм — хороши; для страны они совершенно невыносимы. Вот почему Россия всякий раз, ненадолго прельщаясь свободой, опять кидается в диктатуру. Крупной массе труднее остановиться в движении: даже художник не может остановиться вовремя, ограничиваясь работой над собой, и это мы видим на примере Михалкова. А уж страна... Когда-то замечательная русская актриса Русланова сказала: посмотрите на то, что человек в себе выпячивает, — и вы тут же поймете, чего ему не хватает. Всем своим имиджем Михалков настаивает на том, что главное в нем — Сильная Личность. Но в искусстве он проговаривается, мучаясь именно безличностью, широтой, непричастностью к Конкретному Делу. Таковы все персонажи его лент. Такова и актриса, которая непременно должна быть рабой чего-нибудь, хоть любви, иначе жизнь ее пуста и бессмысленна. И уезжает она в туман — в тот же русский туман.

Пребывая в этом тумане как художник, Михалков не выдерживает его как человек. Что хорошо для художника — неприемлемо для страны. В том-то и трагедия России, что она слишком уж похожа на своих художников: в ней точно так же есть все. И от этого нормальный человек очень устает.

Творчество — это не вся жизнь; неопределенность и свобода в творчестве весьма уместны, но в остальное время хотелось бы хоть в чем-нибудь быть уверенным. Человеческая натура вообще противоречива и двойственна, однако для нормальной жизни индивидууму необходи-

мо все-таки выбрать некие ценности, которые он намерен исповедовать. Иначе ему решительно нечего будет вспомнить. Надо определяться по отношению к основным понятиям человеческого космоса: Бог, свобода, любовь, личность. Россия определяться не намерена: это сфинкс, не знающий ответа на собственную загадку. Отсюда и пресловутая таинственность. Впрочем, такого сфинкса всякий Эдип обведет вокруг пальца, не поморщившись.

До сих пор история у России наличествовала лишь в самом примитивном, географическом смысле: это хроника защиты и расширения своей территории. В социальном смысле истории у России не было и нет: даже расширяясь до бесконечности, она только переносила свои исконные, неискоренимые проблемы на вновь приобретенные земли. XX век как будто принес стране небывалые революционные потрясения. Но русская революция, в сущности, была не чем иным, как страшно запоздавшей религиозной реформацией: одна религия заменилась другой, осовремененной, но цели русского коммунизма были столь же утопичны, как сказка о Шамбале или Беловодье. Поставить конкретную цель и добиться сообща ее осуществления — это и называется «двинуть историю вперед» — можно только тогда, когда хотя бы пятьдесят один процент населения страны придет к согласию относительно основополагающих понятий и вместе с тем несогласие с государственными взглядами не будет приравниваться к преступлению против общества. До этого мы доживем вряд ли. У России нет никаких оснований полагать, что ее история в XXI веке будет хоть в чем-нибудь оригинальна. Нам остается всецело довериться Божьей воле, но Бог редко помогает тем, кто не склонен помогать себе.

У меня есть ряд сугубо частных и субъективных наблюдений над русской историей — любой мой вывод опровергается столь же легко, как и всякая другая мысль о России. Так, мне представляется, что четные века в нашем Отечестве всегда страшней нечетных. То ли великие диктаторы родятся раз в двести лет, то ли в четные столетия Россия

более склонна им отдаваться, — но шестнадцатый, восемнадцатый, двадцатый века в России проходят под знаком диктатур. Плюсы таких диктатур — уважение соседей, расширение территорий, укрепление государственности, масштаб страстей — оказываются недолговечны: слава Богу, в наших условиях ни одна диктатура еще не пережила диктатора. Минусы же сохраняются надолго: убыль населения, его запуганность и неспособность к самостоятельному решению своей судьбы.

Совсем иное дело — нечетные века, когда России дается передышка и даже иллюзия просвещенного правления. Девятнадцатый век на фоне прочей российской истории выглядит, пожалуй, золотым. Россия далеко не исчерпала соблазны коллективизма (и, думается, не исчерпает никогда, ибо для страны, лишенной самосознания, никакой урок не впрок); и тем не менее XXI век имеет все шансы стать веком относительной стабильности, вегетарианскими временами, даром что никакого социального прогресса не предвидится и интеллектуальный уровень страны останется катастрофически низок, — все же, те, кто насколько-то превысят в своем индивидуальном развитии эту планку, будут по-прежнему считаться лишними людьми. Разница в том, что у них будет возможность работать над собой в условиях южной ссылки, а не полярной золотодобычи.

В России базис отстает от надстройки: возрождение страны начнется с возрождения ее культуры. А культура эта мыслима только в усадьбах — там к услугам художника относительный покой, удаленность от столиц, чай с клубникой и сливками и пейзажи (безусловно лучшее, что есть в России). Если бы XXI век оказался веком дворянского землевладения, цены бы ему не было. Только в усадьбе возможно достичь должной высоты взгляда, свободы и комфорта: без всего этого, боюсь, творить затруднительно. Вот почему я от всей души надеюсь, что возрождение русской культуры в XXI веке будет сопряжено с возрождением помещичьего быта. Для себя я не мечтаю ни о чем другом. Крепостные мне не нужны.

...Итак, говоря серьезно, я устал от России.

Я устал от того, что она всю жизнь гордится собой и не знает, чем гордится. Устал от неопределенности, от равноценности любых прогнозов, от своей беззащитности и чужеродности. Правда, что экзистенциальная ситуация стимулирует работу ума, но правда и то, что радости в ней нет никакой. Я бы охотно признал правоту погромных идеологов, ибо в силу своей полукровчатости давно ощущаю себя чужаком; но абсолютное дурновкусие этих людей, их плохой запах и отсутствие у них сколько-нибудь креативных концепций заставляет меня пока с ними спорить. Вместе с тем меня давно не надо убеждать в том, что я вреден для этой страны. Вреден как полуеврей, как поэт, как литературный критик, как человек, для которого его семья и его труды выше любой идеи...

Меня очень давно объявляют вымирающим классом. Я застал антиинтеллигентские кампании позднего застоя и чувствовал их в школе на собственной шкуре. Я застал начало рынка, когда гуманитарная интеллигенция объявлялась людьми второго сорта. С тех пор тогдашние апологеты накопительства успели в нем двадцать раз разочароваться, но чувство моей неуместности осталось при мне.

Теперь мне говорят, что я не нужен уже как публицист — и в самом деле, какой прок от русской публицистики, если все, говоримое о России, применительно к ней одновременно верно и неверно, если про себя мы и так все знаем, а остальная часть населения готова на все, лишь бы не задумываться о себе? Всю жизнь в России учат: прежде думай о других, потом о себе самом. В результате о себе никто ничего не знает, а какая без этого история?

В общем, мне очень надоела неопределенность, и бесконечные слухи о перевороте, и однообразная болтология, которой мы все предаемся: ведь все, о чем мы говорим и думаем, двадцать раз переговорено и продумано, а ничего нового нет и быть не может. Страх и усталость — вот мои главные состояния. Родина, в которой за двадцать семь лет можно так устать, — плохая Родина.

Я не люблю Россию. Она давно не моя — она ничья и никакая. Территория вместо страны, народ вместо населения, кучка издерганных, усталых трусов и конформистов вместо пресловутой «совести нации» — вот то, к чему сегодня пришла Россия и ее интеллигенция.

Вообще же XXI век тем и будет отличаться от XX, что в нем загадочностью и масштабами не отделаешься. Время все отчетливее требует трезвой самооценки и хоть какой-нибудь определенности. Если этого не будет... Впрочем, и тогда ничего не изменится. Русь — это рось, роса, река, вода, принимающая форму любой емкости. С ней никто и никогда ничего не сделает. Ибо единственное постоянство в мире, как учит нас одна из жертв российской истории, — это «Постоянство веселья и грязи».

Иосиф КОСИНСКИЙ

«ЗАПАДНИЗМ» АЛЕКСАНДРА ЗИНОВЬЕВА

Пятнадцать лет назад известный философ и политолог Александр Зиновьев собрал свои статьи, выступления и интервью 1979-80 гг. в небольшую книжку, которая вышла в Швейцарии на русском языке. Он выбрал для нее достаточно характерное название: «Мы и Запад». Последняя же по времени книга этого автора, появившаяся в 1995 году в московском издательстве со странным названием «Центрполиграф», озаглавлена еще лаконичнее: «Запад». Правда, она носит подзаголовок, отчасти проясняющий содержание книги: «Феномен западнизма».

«Обнажая язвы благополучия Запада, — читаем в издательской аннотации, — автор пытается увидеть его близкие и дальние перспективы и этим помогает представить, что ждет нашу страну, пытающуюся вступить на трудный путь вхождения в западную цивилизацию».

Аннотация заведомо неточна — ибо Россия, хорошо это или плохо, давно (еще, наверное, с петровских времен)

принадлежит к «западной цивилизации». Но не станем придираться к издателям, — несравненно интересней и поучительней проследить ход рассуждений и, в конечном счете, эволюцию и сегодняшнюю позицию самого Зиновьева.

Несбывшиеся чаяния А.Зиновьева

Всего пятнадцать лет назад он ничтоже сумняшеся заявлял:

«Восток (т.е. Советский Союз, — И.К.) изо всех своих действий, касающихся Запада, извлекает выгоду и заставляет Запад так или иначе помогать ему... На Востоке нет таких социальных слоев, влияя на которые Запад мог бы оказывать давление на Восток. А на Западе есть такие социальные слои, которые вольно или невольно становятся помощниками Востока в давлении на свои власти... Если Запад со временем будет разгромлен Востоком, то винить в этом он должен будет в первую очередь самого себя».

В этой фразе еще присутствует «если», но чуть далее, продолжая рассуждать в том же духе, Зиновьев не оставляет у читателя сомнений, какая сторона одержит победу в занимающем философа противоборстве:

«Надо признать, что борьба Востока против Запада идет весьма успешно... Успехи Востока определяются преимуществами его исторической позиции (? — И.К.) и системы власти, которая непосредственно управляет поведением Востока в отношении Запада».

И вообще:

«Запад теперь — защищающаяся сторона»! он «до такой степени жалко выглядит перед лицом коммунизма, что уже на самоубийство не способен. Так что есть хоть какая-то надежда, что он уцелеет».

России же, по тогдашнему утверждению Зиновьева, самой историей суждено оставаться коммунистической — это органичный для нее строй:

«До сих пор еще существует убеждение, — писал философ и политолог, — что русский народ был обманут и изнасилован злодеями-большевиками, в результате чего и сложилось советское общество. Но, мол, русский народ

скоро сбросит иго большевизма и пойдет по пути Запада (думают одни) или вернется в дореволюционное состояние (думают другие). Надежды эти совершенно беспочвенны... Решающая роль в современной России принадлежит людям, родившимся и выросшим после революции, приспособленным жить именно в такой социальной среде, воспринимающим ее как нечто естественное, а не навязанное им по ошибке или обману... Шансы для России пойти каким-то иным путем были упущены много десятилетий назад. Упущены раз и навсегда».

И вот, вопреки однозначному зиновьевскому прогнозу, «самоубийством» покончил как раз коммунизм. Распался его оплот — ублюдочный Советский Союз, и то, что сегодня строится на развалинах коммунистического монстра, весьма далеко от марксистских прогнозов.

Что оставалось делать тому, кто предсказывал нечто прямо противоположное?

Казалось бы, попытаться прежде всего «оправдаться» — объяснить, насколько это вообще возможно, собственную неудачу. На протяжении всей своей публицистической деятельности Зиновьев, как и подобает истинному философу, постоянно подчеркивал: он-де стоит «над схваткой», руководствуется принципами «научного анализа»... Вот и хотелось бы увидеть, как Зиновьев выступит с научным и столь же пространным, как его прежние писания, объяснением возникшего «зигзага истории».

Но этого не последовало. В своей новой книге он отделывается от своих прежних прогнозов лишь таким маловразумительным абзацем:

«Педантично используя идеологически-психологическое и экономическое оружие в течение сорока лет, не скупясь на баснословные траты, Запад (и главным образом США) полностью деморализовали советское общество, и прежде всего его правящие и привилегированные слои, а также его идеологическую элиту и интеллигенцию. В результате вторая сверхдержава мира капитулировала в течение поразительно короткого времени. Думаю, что на Западе не ожидали такого исхода холодной войны».

Может быть, и не ожидали. Но вдумайтесь — вот ведь как бывает! Десятилетиями усердно использовал свое «идеологически-психологическое» оружие Советский Союз, да и

экономическое тоже. Ограбив собственное население, направо и налево подкупал и деструктивные режимы на Западе, от Фиделя Кастро до Иди Амина, и переметчивых «властителей дум» — от Бернарда Шоу и Фейхтвангера до кентерберийского настоятеля, Сартра и Фаста, вплоть до таких ничтожеств, как Мартти Ларни и Марина Штюц (кто помнит сейчас это имя Иуды в юбке?). И все — псу под хвост!..

Победа Запада: зло или благо!

Исподволь — такие уж настали времена! — возникает у Зиновьева, когда-то столь громогласного, новый тезис. Пожалуй, ключевой для его сегодняшней позиции:

«Но победа Запада над Советским Союзом не была победой капитализма над коммунизмом. Холодная война была войной конкретных народов и стран, а не абстрактных социальных систем... Реальное коммунистическое общество существовало слишком короткое время, причем в крайне неблагоприятных условиях, чтобы делать категорические выводы о его несостоятельности».

Понимайте так: коммунизм успел продемонстрировать миру свои слабости, пороки, но не успел развернуть своих достоинств. Нам пытаются внушить, что будущее-то — все-таки за коммунизмом! Доказать это Зиновьев берется, что называется, «от противного»: исходя не из преимуществ коммунизма, это было бы явно не ко времени, — а из многообразных минусов и бед западного общества, злополучной «атлантической цивилизации».

Нетрудно видеть, что автор книги избрал путь наименьшего сопротивления, — язвы Запада благодаря открытости этого общества у всех на виду, вполне очевидны, и в их критике у Зиновьева было множество предшественников. Но, отказывая Зиновьеву в новизне его позиции, в то же время нельзя не отдать ему должное: он, бесспорно, зоркий и приметливый наблюдатель, многие его констатации и выводы точны и убедительны. Этим и интересна его новая книга.

Вдобавок фантастически скорый и притом бескровный выигрыш Запада, как справедливо отмечает Зиновьев, по-

родил во множестве легковесную, пронизанную неглубокой эйфорией литературу, которой явно следовало противопоставить более трезвую оценку того, что же человечество в целом на сегодня выиграло и что проиграло.

«Апологетика западнизма,— справедливо отмечает Зиновьев, — получила новые основания — радость победы и надежду на будущее... Еще никогда в прошлом апологетика западнизма не достигала таких гипертрофированных размеров и циничной откровенности. Нашлись мыслители, объявившие капитализм и демократию, особенно в их американском варианте, конечной целью всей истории человечества. Причем эту цель они объявили достигнутой, объявили это завершением, а кое-кто даже концом истории человечества».

Имеется в виду, конечноже, Фрэнсис Фукуяма с его, мягко говоря, спорным произведением «Конец истории»*. И вот в чем тут дело, проницательно поясняет Зиновьев: «По моим наблюдениям, в западном обществе доминирует не стремление к лучшему будущему, а желание сохранить настоящее и страх потерять достигнутые блага». Что, собственно, и делает Запад обществом без будущего. Ведь это именно то самое, что погубило в свое время казавшуюся процветающей Римскую империю. Говорят, что история не повторяется, — нет, она повторяется, и притом с ужасающей наглядностью!

Отвлечемся на минуту. Насколько я знаю, честь изобретения уничижительного термина «западнизм» принадлежит самому Зиновьеву; во всяком случае, мне этот термин попался на глаза впервые у него. И уж заведомо новы производные, то и дело употребляемые в его книге: «западоиды» (жители стран Запада; в сочетании с прилагательным зиновьевский неологизм выглядит особенно непривычно и даже забавно, — например, «трудоспособный западоид»), «комплекс идей западоидности»... «Западное общество, — элегантно замечает Зиновьев, — стало обществом западноидности, включающим в себя посторонние вкрапления и остатки незападноидности». По-видимому, при изложении собственной трактовки образа Запада, «феномена западнизма» автору пришлось бы очень трудно, не изобрети он терминов, отвечающих в его представлении сути дела.

* Да простят меня «антирасисты»: фукуямовский «Конец истории» — типичнейший плод мышления интеллигентного метиса (каким и является этот американец с японской фамилией), порожденный комплексами, присущими многим метисам. Здесь не место развивать эту точку зрения, — хотелось бы лишь обратить внимание на тот фактор, «застолбить» свое наблюдение.

Любопытно при этом, что Зиновьев не дает сколько-нибудь четкого определения своему термину «западнизм» и обозначаемому им феномену. Он описывает отдельные его черты, но не определяет его как целое. А говоря об истории возникновения «западнизма», ухитряется обойти такое важное слагаемое, такую его предпосылку, как религия, и в частности — протестанство, не только наложившее бесспорный отпечаток на многие стороны западной психологии и образа жизни, но и существенно повлиявшее на первооснову последнего — «западническую систему» ценностей.

Что поделаешь — религия как социальный феномен мало интересует Зиновьева. В этой связи чрезвычайно характерно для него такое, например, утверждение:

«Маркс придал идеям коммунизма такой вид, что коммунистическая идеология стала первой в истории человечества массовой идеологией в строгом смысле слова и сыграла огромную идеологическую роль».

Как видим, иудаизму, христианству или исламу он в этой роли отказывает.

И, к слову, еще от одного фактора человеческой истории отмахивается, как черт от ладана, этот несмотря ни на что правоверный марксистский философ: он «не признает» исторической роли отдельно взятых личностей. «Массы», дескать, а не «всесильные тираны» «играют решающую роль в жизни общества, превращая в свои игрушки и инструменты самые значительные (с обывательской точки зрения) личности».

Впрочем, быть может, ни «всесильные тираны», ни даже религия, действительно, не сыграли столь уж принципиальной роли в формировании современной системы ценностей западного общества, — ибо эта система ценностей в значительной мере оказалась унаследована Западом, как

отмечал, например, русский философ Виктор Тростников*, от Древнего Рима.

Спору нет: западная, «атлантическая» цивилизация, выводимая из «государства дьявола» — Римской империи периода упадка, в наши дни выродилась в образование с перекошенной, искаженной системой ценностей, в которой ценности духовные занимают едва ли не последнее место. Именно в этом можно усмотреть залог ее скорой — по историческим меркам — гибели.

Две тысячи лет назад римский консул и оратор Марк Порций Катон одной фразой определил безнадежность положения и неминуемость краха Рима — города и государства: «Городу, в котором рыба стоит дороже упряжного вола, помочь уже ничем нельзя».

Это — к вопросу о все той же системе ценностей, о типических чертах гнилого «общества потребления», которое возникло отнюдь не в наши дни, а в достаточно глубокой древности.

Зиновьев, естественно, не мог не уделить в своей книге значительного места этой фатальной черте современного Запада, — что дает нам основание причислить к числу его идейных предшественников, наряду с Освальдом Шпенглером, Максом Нордау, Максом Вебером, Игорем Шафаревичем или Виктором Тростниковым, также и Марка Порция Катона.

«Вечным праздником быстро бегущая...»

Зиновьев формулирует четко и беспристрастно: «западнизм сделал человека более надежным для построения человеческих объединений огромного масштаба и с высоким уровнем социальной организации». Не станем придираться, напоминая ему, скажем, о строителях египетских пирамид, где тоже требовались и огромные масштабы, и высокий уровень социальной организации. Проследим за развитием его мысли.

Достигнуто это благодаря всесторонней, беспримерной, прямо-таки оруэлловской идеологической обработке масс.

* «Мысли перед рассветом». ИМКА-Пресс, Париж, 1980.

Их поймали на приманку бесконечного «прогресса», и как это выглядело, Зиновьев показывает достаточно убедительно. Прежде всего — им навязали чисто потребительское мировоззрение, обрушили на обывателя продукцию индустрии не только материальных благ, но и дешевых сиюминутных развлечений, подсунули ему ложных — и быстро сменяющих друг друга — кумиров в области политики, бизнеса, искусства, спорта, — вплоть до удачливых преступников и фигурантов громких судебных процессов:

«...Жизнь становится все серее и скучнее, а фильмы и книги — все ярче. Литература, кино и телевидение создают ложное впечатление, будто маленькие люди ведут интересную и социально насыщенную жизнь. В реальности же их жизнь есть мещанская скука и столь же унылая работа по обеспечению этой скуки».

«Смысл жизни западоидов, — утверждает Зиновьев, — свелся в конечном счете к двум пунктам: 1) добиваться максимально высокого жизненного уровня или хотя бы удержаться на достигнутом; 2) добиваться максимальной личной свободы, независимости от окружающих и личной защищенности. Первое стремление делает человека прагматичным, второе толкает его на самоизоляцию».

Этому способствуют «бытовые удобства, телефон, телевидение, автомобиль, изолированное жилье, возможность обслуживать себя, отсутствие надобности в тесных контактах с соседями» и — «напряженная работа».

Действительно, в странах, которые принято именовать высокоразвитыми, трудоспособный человек превратился по сути в какую-то машину для неутомимого зарабатывания денег; соответственно развились и достигли совершенства способы выкачивания из него этих денег — вполне легальные, с помощью многочисленных соблазнов, против которых бездуховная, с раннего детства «материально ориентированная» личность не способна устоять.

В итоге —

«...Впечатление, будто произошло обесчеловечивание человека, имеет реальные основания. На мой взгляд, они таковы. В огромном числе случаев то, что люди имели благодаря «человеческим» качествам других людей (благодаря их «человечности»), теперь они имеют благодаря более сильным и надежным средствам, а именно благода-

ря деньгам, власти, славе, правовым нормам, договорам, открытиям науки и медицины, короче говоря — благодаря средствам надприродным и внеморальным, можно сказать — сверхчеловеческим. Деградация человека была платой за его прогресс».

Весьма любопытно услышать подобное признание из уст философа-марксиста. Но по существу здесь он прав.

«Вечным праздником быстро бегущая
Жизнь очнуться тебе не дает», —

писал когда-то Некрасов, имея в виду высокопоставленных царских сановников его времени и, быть может, в первую очередь — самого императора. Но чем дальше, тем в большей степени его слова становились приложимы и к богатым буржуа — сначала к «верхним десяти тысячам», затем — к «верхним ста тысячам», и, наконец, эти баловни судьбы стали исчисляться в капиталистическом обществе миллионами.

Хлам информации

Одурманивание сиюминутностью происходящего вокруг, калейдоскопом быстро сменяющихся событий, происшествий, сенсаций, лиц, мод, фильмов, книг, шлягеров, — одна из непременных и главных пружин атлантической цивилизации, «западнизма» в его современной, зрелой форме. Притом динамика процесса стремительно нарастает.

В ЭТИХ УСЛОВИЯХ **«важным орудием формирования человеческого материала, — подчеркивает Зиновьев, — является реклама. Это не просто пропаганда товаров и услуг. Это пропаганда системы ценностей и образа жизни Запада. В рекламе идеологическое оболванивание людей выступает в самой вульгарной, а значит — в самой широкодоступной и действенной форме».**

Реклама — один из видов того, что принято именовать информацией. Обращаясь к последней, Зиновьев предельно непримирим:

«Что касается превращения информации в богатство наряду с богатством материальным, то трудно придумать что-либо более убогое интеллектуально и подлое с моральной точки зрения, чем это утешение для нищих и

неимущих. Планета захламлена информацией не меньше, чем отходами передовой западной индустрии, уже разрушившими природную среду наполовину, если не больше. Нет ничего дешевле в современном мире, чем информация. От этого хлама нет спасения, как от мусора. Но что-то миллиарды людей не ощущают себя от этого богатыми».

Точка зрения справедливая, сформулированная темпераментно и ярко, — хотя опять же не новая. Ее выразил в еще более доходчивой, почти афористичной форме еще нобелевский лауреат Томас Стернз Элиот (1888—1965), горестно вопрошавший: «Где наша мудрость, утраченная ради знаний? Где наши знания, потерянные ради информации?»

Будущее под пятой «Запада»

Желая, видимо, застраховать себя от упреков в сеете прежних несбывшихся прогнозов, Зиновьев предостерегает неких не названных им «паникеров и недоброжелателей»:

«Сейчас Запад достиг стадии зрелости. И хотя он время от времени впадает в состояние кризиса, дающее повод паникерам и недоброжелателям говорить о его упадке и скорой гибели, он еще не достиг своего расцвета».

В этом-то и беда. Ибо в своей зрелости Запад могущественен как никогда прежде, ненасытен, зловреден и предельно опасен.

«Западный Левиафан, — указывает Зиновьев, — развил в себе благодаря западнизму необычайно интенсивный обмен веществ. Ему нужны природные ресурсы, рынки сбыта товаров, сферы приложения капиталов, дешевая рабочая сила, источники энергии, причем во все возрастающей степени. А возможности для этого не безграничны. Для этого нужна уже вся планета... Западнизация планеты ведет к тому, что в мире не остается никаких точек роста, из которых могло бы вырасти что-то, способное к новой форме эволюции, отличной от эволюции на базе западнизма».

Ужас в том, что

«Отношение западнизма к общечеловеческой среде подобно отношению животного мира к растительному,

высших видов животных к низшим, человечества к животному миру».

Словом, Запад — типичный паразит, если не убийца, и иерархия, рисуемая в этой связи Зиновьевым, поистине устрашающа. Но... разве не то же самое, пусть другими словами, уже было сказано во всеуслышанье и Шафаревичем, и Тростниковым?

Христианский философ и философ-марксист сходятся в отрицании цивилизации, которую оба полагают бездуховной, — но тем самым и обреченной. Разница только в том, что, скажем, Тростников усматривает бессмертное духовное начало, способное преодолеть деградацию человечества, в христианстве, а Зиновьев — в привычной для него марксистской идеологии, т.е. в рамках все того же материализма.

Сущность «западнизма», по Зиновьеву, проявляется, в частности, в том, что в последние десятилетия оказалась заметно потеснена такая традиционная цель всякого образования, как «развитие в человеке его внутреннего интеллектуального мира и его личных способностей». Ибо ныне на Западе доминирует иная, сугубо прагматическая цель: «развитие способности использовать накопленные богатства сферы образованности и человеческих навыков». Но разве не ту же цель преследовал (и достиг!) коммунистический режим, притом буквально с первых же дней своего существования? Так что здесь никак не получается столь милого сердцу противопоставления «западнизма» и коммунизма.

«Вследствие изобилия средств образования и их потенциальной общедоступности произошло обесценивание образованности как таковой в качестве элемента системы ценностей», — констатирует Зиновьев. В каком обществе? В западном, разумеется! Но разве абсолютно то же самое не случилось и с советским обществом?

Обратимся теперь к той главке книги, которая носит выразительное название «Ожирение и паразитизм». «В западной экономике производятся не только жизненно необходимые продукты, — читаем там, — но излишние, без которых люди, в принципе, могут обойтись, сохраняя жизненный уровень».

Но ведь совершенно то же самое можно сказать и о коммунистическом обществе, притом даже не в последние годы советской власти, когда в этом обществе можно было усмотреть тенденцию к «конвергенции», а в классический, так сказать, его период. Вспомним, сколько там издавалось агитационно-пропагандисткой макулатуры, сколько производилось оружия и вообще военного снаряжения, хотя никакой внешний враг советской России до конца 30-х годов не угрожал. Вся эта продукция не только не была «жизненно необходимой», но и производилась за счет невероятного снижения жизненного уровня населения. Говоря же о «паразитарных аспектах деятельности» западных «слоев, учреждений и организаций», как можно было не вспомнить «своих» благоденствующих паразитов — таких, скажем, как деятели Коминтерна или антирелигиозники-профессионалы, или, наконец, профессиональные «борцы за мир»?

Точно так же обстоит и с другим утверждением Зиновьева относительно Запада.

«Уже в период подготовки ко Второй мировой войне основные стимулы экономического прогресса пришли в экономику извне, из потребностей глобально-политического порядка. А в годы холодной войны эта тенденция усилилась настолько, что теперь и речи быть не может о возврате к прежним стимуляторам прогресса», —

эта его констатация в несравненно большей степени справедлива как раз для бешено вооружавшегося советского государства. Достаточно вспомнить тридцатые годы, когда, скажем, Соединенные Штаты вообще не уделяли сколько-нибудь достаточного внимания своей сухопутной армии. Да и в дальнейшем: достаточно сопоставить, какой процент валового национального дохода тратили на внешние цели государства Запада и Советский Союз.

И уж совсем односторонней, необъективной выглядит такая констатация Зиновьева: «Бедность не есть злой умысел каких-то сил западного общества. Она есть неизбежное следствие объективных законов западнизма».

Помилуйте, да разве этот вывод не приложим в полной мере и к «объективным законам» коммунистического «востокизма»?!

«Различие двух подходов к эффективности экономики — западнистского и коммунистического» Зиновьев толкует так:

«Принцип первого — минимизировать число занятых в каком-то деле и максимализировать интенсивность труда. Принцип второго — дать возможность максимально большому числу людей существовать за счет этого дела и облегчить условия труда. С точки зрения решения проблем социальных, коммунистическая экономика эффективнее западной, уступая ей в чисто экономическом плане».

Прямо какая-то благотворительность со стороны коммунистического режима! Вдобавок похоже, что Зиновьев както упустил из виду знаменитое высказывание Ленина: производительность труда — это, дескать, самое главное, что необходимо для победы «нового общественного строя», то бишь социализма.

Так что своими сопоставлениями «западнизма» и коммунизма Зиновьев сплошь и рядом достигает эффекта, обратного предполагавшемуся.

Подобная же картина — с зиновьевскими постулатами, выходящими, собственно, за пределы его темы. Вот, например, он заявляет:

«Предложение теперь в гораздо большей мере формирует спрос и потребности людей, чем обратное влияние. Самолеты, автомашины, телевидение, видео, компьютеры, факсы и многие тысячи других предметов потребления и услуг не были изначальными потребностями людей. Они были изобретены искусственно и затем навязаны людям сверху, то есть со стороны производства».

Здесь Зиновьев забавно и, очевидно, неведомо для себя смыкается со своим современником Солоухиным, отнюдь, правда, не претендовавшим на философские обобщения:

«Говорят: до Хабаровска теперь вы можете долететь за восемь часов, а ваш дед не мог. Но деду не нужно было лететь в Хабаровск. У него пасека была на задворках, поле в двух километрах, а в гости он ездил, запрягая тарантас, если на Успеньев день, и санки, если на Масленицу...»*. От себя заметим: хорошо, деду Солоухина это было ни к чему — но ведь были же и другие деды? Достоинство солоухинских рассуждений — именно в том, что он не изрекает в

* В. Солоухин. Камешки на ладони. М., 1982.

заключение непререкаемых постулатов: вот, дескать, я вывел то-то и то-то. А у Зиновьева эти выводы, обобщения — на каждом шагу. Эти философские, с позволения сказать, претензии очень портят его книгу своей — во многих случаях — необоснованностью, легковесностью. Вот и в данном примере: похоже, он просто не отдает себе отчета, что во всей многотысячелетней истории человеческой цивилизации трудно найти предмет, который не был бы «изобретен искусственно», — будь то колесо, катапульта, египетская пирамида, вино, арфа или сигарета. Ни один из названных наудачу феноменов человеческой культуры не может быть отнесен к «изначальным потребностям» людей. Так что вовсе не современному «западнизму», как бы ни был он гнусен и развратен, принадлежит дьявольская затея бесконечно умножать сии соблазны.

Что в осадке!

Взболтнув предложенную нам колбу с «западнизмом», присмотримся, что остается на дне. Чем утешается политолог-марксист в неожиданной для него ситуации?

Очень еще свежа в памяти многолетняя и вполне целеустремленная кампания, которую вел Зиновьев. Он постоянно внушал — и нам, российским эмигрантам, и левым интеллектуалам Запада, да и подсоветской интеллигенции, до которой доходили его книги: прочность коммунистического режима обусловлена тем, что это — «социальный строй, вырастающий из самых основ существования масс населения и воспроизводящийся всей их повседневной жизнью». То есть — органичный для России XX века строй, иного и представить себе невозможно. Не то же ли самое твердила нам на протяжении 70 лет и официальная пропаганда коммунистического государства?

Никак невозможно сказать, что ныне Зиновьев отступил на заранее подготовленные позиции. Поэтому, наверное, и встречаются в его новой книге такие неуравновешенные пассажи, смахивающие на заклинания:

«Как бы русские ни оплевывали коммунистический период своей истории, как бы ни усердствовали в разрушении всего того, что было достигнуто за этот

период, как бы ни ползали на коленках и ни холуйствовали перед Западом, как бы ни подражали всему западному и как бы ни перенимали все пороки Запада, Россия все равно никогда не станет частью Запада. Какая судьба ожидает ее в сфере западнизации, об этом в свое время откровенно сказал и показал Гитлер. Сейчас, разумеется, об этом не говорят вслух, но стремятся делать по сути дела то же самое. Нужно быть круглым идиотом, чтобы воображать, будто на Западе стали бы млеть от восторга, если бы на мировых рынках появились мощные конкуренты из России и стали бы вытеснять американских и западноевропейских предпринимателей».

В общем, не приходится удивляться тому, что в другом месте своей книги Зиновьев прямо предостерегает:

«В Европе были Наполеон и Гитлер, которые, как говорится, поставили точку над i. Американские Наполеон и Гитлер еще только маячат на горизонте истории».

Впрочем, ошарашив читателя такой зловещей перспективой, Зиновьев разумно оговаривается:

«Но судьба человечества не предрешена фатальным образом. Имеется множество «но», которые могут наложить свое вето на замыслы и дела энтузиастов глобального общества... Еще жив коммунистический Китай. И не так-то просто с ним проделать нечто аналогичное тому, что сделали с Советским Союзом. Во всяком случае, на это нужно время и огромные траты, на какие сейчас Запад не способен. Нет гарантии, что в странах бывшего Советского Союза не возродится социальный строй, по крайней мере близкий к коммунистическому*. Эйфория по поводу краха коммунизма прошла. Люди почувствовали, что потеряли больше, чем выгадали. В конце концов они поймут суть западнизации и начнут сопротивляться ей. Набирает силу и консолидируется арабский мир. Одним словом, от проектов мирового сообщества до их исполнения дистанция огромного размера.

Породив западнизм и основанную на нем цивилизацию, завоевав для запада господствующее положение на планете, дав мощный стимул к западнизации человечества и породив имитаторов западноидности, западоиды сойдут с исторической арены, вымерев или растворившись в массе существ иного рода. Это будет новый мир, в котором не останется места для уникального и неповторимого феномена по имени «Запад».

* Национал-большевистский, что ли?

Как с этим не согласиться? «Сейчас Запад достиг стадии зрелости», — писал, как мы помним, Александр Зиновьев, — но ведь и советское государство, по Зиновьеву, именно в 70-е — начале 80-х достигло той же пресловутой «зрелости», как раз накануне своего распада. И вообще, как известно, в мире ничто не существует вечно. Говоря словами классика,

Все великое земное
Разлетается как дым:
Ныне жребий выпал Трое,
Завтра выпадет другим.

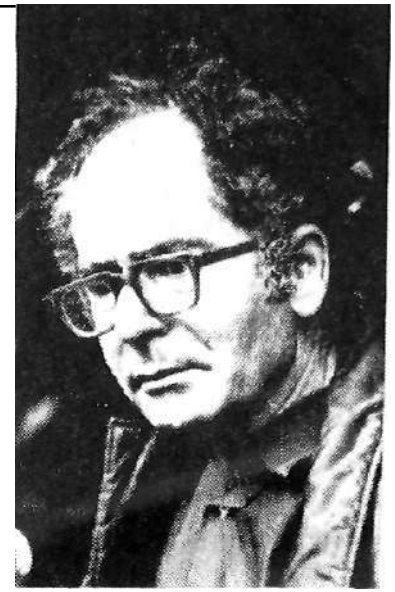
Коренную причину нынешнего торжества Запада, его необоримой пока что силы Зиновьев, как мы видели, усматривает в том, что атлантическая цивилизация за несколько столетий сформировала некоего нового человека («западоида»), навязала ему свою непререкаемую систему ценностей, предельно его оболванила — и продолжает держать его в плену.

Само по себе это не способно спасти социальную систему от краха. Ведь опорой канувших «в мусорную яму истории» коммунистических вождей было в конечном счете тоже цельное мировоззрение советского человека — продукт бешеной пропаганды, пронизывавшей все и вся, и свирепых репрессий, мировоззрение, повседневно подпитываемое попросту инстинктом самосохранения, присущим всему живому. Увы, в некий исторический момент оно дало непоправимую трещину. На мой взгляд, этим моментом, предвестием краха коммунистической системы, было, безусловно, 22 июня 1941 года. И хотя после этого «советская власть» смогла записать в свой актив такие эпохальные достижения, как выигрыш небывалой войны, дерзкий прорыв в космос и обеспечение как минимум военного паритета с Западом, — она была исторически обречена.

Так ведь и Запад носит в себе роковую трещину! Для него датой смертельного, непоправимого надлома оказался 1914 год. Крах не наступил там по сей день лишь потому, что, во-первых, западноевропейская система мощнее Советского Союза, а во-вторых, она обладала и обладает могучим тылом — Америкой. Следовательно, агония Запада может

затянуться на многие десятилетия. Но, во всяком случае, не на столетия: ведь все исторические процессы в мире обнаруживают тенденцию к стремительному ускорению.

Так что автор настоящей статьи, в общем-то критической по отношению к Зиновьеву, в данном вопросе вполне с ним солидарен. И видит минусы («язвы») атлантической цивилизации в основном именно там же, где их видит Зиновьев. В отличие от прежних книг Александра Зиновьева, на сей раз никак невозможно сказать, что маститый философ и политолог снова идет против течения. Напротив, — он присоединился к течению мысли, которое обещает стать наиболее популярным и перспективным в том смысле, что с каждым годом вербует себе все больше сторонников.



Григорий ПОМЕРАНЦ

КАТОН НА СТОРОНЕ ПОБЕЖДЕННЫХ

Сила и слабость Давида Самойлова

«Памятные записки» Давида Самойлова — замечательное свидетельство о времени, которое мы с ним очень по-разному прожили. Манук Жажоян, обозреватель «Русской мысли», назвал их книгой мыслителя, более значительного, чем поэт Самойлов. Я думаю иначе. Записки Самойлова — книга поэта, проза поэта, остающегося поэтом даже в социологическом очерке. И именно это делает «Записки» подарком для историка.

Только поэт мог увидеть внутреннюю связь между формальными экспериментами Хрущева в области администрации и реформами Вознесенского в стихах. Только поэт мог сравнить совнархозы с треугольными грушами и найти изящную афористическую форму своей парадоксальной мысли. Я жил в то же время, писал о нем, читал талантливых

социологов, но взгляд Самойлова на **поэтику** хрущевской деятельности был для меня открытием:

«Хрущев заполнял паузу. Он был наседкой, сидящей на яйцах неведомых птиц. Как только вылупились птенцы, они прежде всего начали клевать наседку. Пока на поверхности общественной жизни шла борьба за формы и против форм. Формы всегда содержательны, но есть периоды в политической истории и в истории искусства, когда форма как бы определяется от существа, от сути и приобретает некое абсолютное значение. Происходит фетишизация формы. И следовательно, неспособность постичь ее значение.

Это бывает именно в переходные периоды, когда одно содержание уже обветшало и сохраняется лишь в формах, а другое еще не созрело и выдвигает не контрсодержание, а контрформу.

Административный метод, единственный, которым пользовался Хрущев, и был «борьбой формы». Реформы Хрущева были формами, а не содержанием. Он управлял лишь формальной стороной развития. Содержание развивалось помимо него и было неуправляемым.

В эту пору наиболее поверхностным и, как казалось Хрущеву, не понимавшему подлинного процесса, наиболее опасным для него явлением в искусстве был «бунт формы», начатый новым поколением. По существу, «революционеры формы» были чрезвычайно близки хрущевизму, наиболее полно выражали его суть и исторический смысл. Даже сама их непонятность знаменательна.

Хрущев уже неоднократно отвергал формулы, хорошо выражавшие форму его времени: «оттепель», «искренность». Он не привык к откровенности. По его понятиям, форма, фразеология играла слишком большую роль. Он начал яростно подавлять «бунт формы», придавая ему тем самым некое содержательное значение. «Бунт формы» приобретал содержание, становился моментом общественной борьбы (абстракционизм, музыка, форма одежды)» (с. 361).

Муза Самойлова не заходила в преисподнюю, и то, что он писал о Сталине, меня не удовлетворило. Недостаточно понимал Самойлов и некоторые явления в искусстве; Шнитке он поставил в общий ряд «бунтарей формы», из которых «Вознесенский — самый яркий» (с. 366). Отсюда сочувствие к войне М.А. Лифшица с модернизмом. Однако во всем, что касается авансцены хрущевского периода, начиная с

самого Хрущева и кончая поэтами Лужников, Самойлов точен. Его текст можно здесь разобрать на поговорки, как «Горе от ума»:

«Евтушенко — наиболее характерная фигура времени. Он среднее арифметическое искусства. Он, если угодно, целый тип человека. Если сами по себе Плюшкин или Собакевич не представляют интереса, то в системе общества они представляют первостепенный интерес. То же и Евтушенко. Его можно употреблять как имя условное, как название явления и типа.

Но он существует также и как реальный деятель, и как поэт.

Говорить о нем как о типе легче, ибо он довольно полно представляет явление жизни. А индивидуальные черты его как бы расплываются и не складываются в личность. Видимо, возможен яркий тип, который не является яркой личностью».

«Евтушенко и его поколение сделали в целом огромное дело. Они вернули поэзии значение общественного явления. Сотни тысяч людей стали читать стихи.

Правда «молодые» не сумели научить народ читать хорошие стихи...» (с. 364).

Поэтически объективны были и «Вопросы» к Солженицыну. Мне этот стиль дался с большим трудом, после нескольких неудачных попыток, оставшихся в рукописи. Я говорю об основном корпусе «Вопросов». Добавления к ним имеют характер черновиков и иногда сбиваются с верного толка. Очень жаль, что Самойлов не решился опубликовать свои «Вопросы» тогда, когда они были написаны. Я сослался бы на них, когда выставил тезис: «Стиль полемики важнее предмета полемики». Но видимо слишком страшно было подставить свою голову под ушаты помоев и остаться в одиночестве между двух лагерей: официальным и Солженицынским.

Впрочем, «Вопросы» и сегодня остаются образцом цивилизованного спора, убеждающего силой анализа, а не грубостью. К сожалению, грубость, развязность, порою просто хамство царят в журнальных и газетных потасовках; и классическая сдержанность, свойственная стиху Самойлова, очень хороша и в полемике.

Тот же поэтический лаконизм чувствуется в зарисовках-портретах современников. Только с одной из них я не могу

согласиться. Леонид Ефимович Пинский поражал меня, в те же годы, мужеством одинокой мысли. Люди тогда боялись откровенности даже наедине с самими собой, а Пинский рассказывал мне, как проведена была коллективизация, и о многом другом, за что расстреливали. Перед студентом Кауфманом* он не раскрылся и держался в рамках академического общения. Стихи Кауфмана, по-видимому, его тоже не задели. Пинский страстно любил поэзию, но современными поэтами считал Мандельштама и Заболоцкого. Трудно было угадать в Дэзике** автора «Волны и камня». Неузнаванье было взаимным. Но в большинстве случаев Самойлов умел увидеть собеседника.

Сами ошибки Самойлова — ошибки поэта: более того — ошибки поэта определенного склада, долгого (почти всю жизнь) участника кружка поэтов. Читая «Записки», следишь за медленным путем из семьи — через кружок поэтов ИФЛИ — через фронтовую семью и возвращение в кружок уцелевших поэтов-фронтовиков — к стареющему человеку на берегу Балтийского моря, одиноко вглядывающемуся в вечный простор. Именно тогда созданы были лучшие сборники. Мне кажется, важнейшая причина ошибок Самойлова — не преодоленное кружковое сознание.

Начну с самой очевидной и странной ошибки:

«Евреи как нация явление уникальное. И это не требует доказательства. В России дореволюционной эта нация впервые за две тысячи лет обрела некое территориальное единство — черту оседлости. И оказалось, что в черте начала загнивать. Черта была не хуже других границ, не хуже, например, наших нынешних твердых границ (т.е. невозможности уехать из СССР? — Г.П.). Но евреи, лет триста имея границу, ничего существенного не создали, ни литературы, ни музыки, ни живописи, ни философии. Ничего. Где-то внутри этой нации есть потребность перейти границы. И когда это невозможно, она загнивает, обращается в быт и деторождение — в сохранение рода для грядущих времен» (с. 54).

Слово «граница» здесь употребляется в двух смыслах: как черта, проведенная по земле, и закон вероисповедания. Поэзия такие переходы допускает, но логика требует

* Давид Самойлов
** Он же

разделить значения. Граница вероисповедания сохранилась примерно 3000 лет; черта оседлости здесь ничего не изменила. Евреи, переезжая из Германии в Польшу, в XIV в., несли границу веры за собой. И расшатала ее не перемена в административной практике, а секуляризация. До секуляризации никакого движения за переход границы не было. Наоборот. Когда казаки или гайдамаки предлагали евреям креститься, те предпочитали умереть.

Самойлов мог не знать, что в XVII в. был очередной холокост: четыреста тысяч евреев было перебито казаками Богдана Хмельницкого. Музы тогда молчали — как молчали они в Освенциме. Можно было не знать, что катастрофа вызвала к жизни лже-мессию, обещавшего соединить потомков Исаака и Измаила (т.е. союз с исламом против православных погромщиков). Можно было не знать, что уверовавшие в мессию пережили еще одну катастрофу — моральную: лже-мессия кончил тем, что просто перешел в ислам. Можно было не знать, что в следующем веке Баал Шем Тов (владыка благих имен) нашел другое спасение от страха, не внешнее, а внутреннее: глубинное переживание близости к Богу, и это движение, хасидизм, создало в конце XVIII — начале XIX века целый поток легенд, вошедших в мировой обиход благодаря переводу на немецкий язык и комментариям Мартина Бубера. Всего этого, живя за советскими «твердыми границами», вполне можно было не знать. Но не могу представить себе, что Давид Самойлов ничего не слышал о Шолом-Алейхеме или о Марке Шагале.

Здесь приходится говорить о параамнезии, о мнимой забывчивости теоретика, который не хочет вспоминать факты, ломающие его схему. Так Солженицын не вспоминает, что «интернациональные силы» были не только на стороне красных, но и на стороне белых, и мятеж чехословаков одним махом отобрал у большевиков огромное пространство от Самары до Владивостока. Зачем это нужно было Солженицыну, понятно. Но почему Самойлов забыл Шагала? Зачем ему надо было доказывать, что плодотворен только один путь, путь ассимиляции? Зачем превращать свой личный выбор (или свою личную судьбу) в единственно мыслимое решение? Если считать объективным знаком

истинного пути Нобелевскую премию, то ее получил Пастернак (за ассимиляцию в русской культуре), Башевис - Зингер (за верность языку черты оседлости, идиш) и наконец Агнон (за попытку создать новую культуру на древнееврейском языке, иврите).

Чтобы утверждать свой выбор, не отрицая других, нужна решимость жить и действовать в одиночку, не опираясь на плечо товарища и на объективную истину. «Боги на стороне победителей, Катон на стороне побежденных». А Самойлов никогда не был одиночкой, изгоем, отверженным. Ему в какой-то мере повезло. Он прошел через фронт, но не через Лубянку и Бутырки, не через одиночество на допросе. И даже на фронте не было одиночества в окружении, не было одиночества командира в резко меняющейся обстановке — как это пережил, скажем, его друг Слуцкий. В первой же стычке — ранение, а потом — помощь Эренбурга и должность писаря в разведроте при управлении фронта. Рота — та же семья. Кружок поэтов — та же родная рота. Плечо товарища всегда было рядом. Это хорошо: дружеский теплый мирок позволял укрыться от слишком холодного мира. Кружок поддерживал вдохновение. Было кому прочесть стихи, к кому прислушаться. И не было жестокой необходимости сказать — опираясь только на внутренний голос: «Так я стою и не могу иначе».

Кружок, в котором собралось несколько талантливых молодых поэтов, выработал свой кружковый взгляд на вещи. По каким-то главным миросозерцательным вопросам складывалось мнение, казавшееся бесспорным. Это общее мнение было русским и советским. Еврейская тема, возникшая после войны, раскалывала духовную цельность. Она становилась занозой, как у Слуцкого, и вызывала поток полемических стихов, — или ее надо было выдавить, загнать в быт, не допускать в область высокого вдохновения. В шуточных стихах Самойлова видно, что он еврей (по паспортному счету); но поэт Самойлов, продолжатель пушкинской линии русской поэзии — безоговорочно русский поэт.

Говоря о Хрущеве или Евтушенко, Самойлов мягко кладет свет и тени, он играет оттенками. Если же Самойлов чересчур прям и не замечает альтернатив, не видит других путей,

кроме ассимиляции, то только потому, что не хочет их замечать, не хочет ставить под вопрос свой выбор, не хочет внутреннего конфликта. Он становится даже несправедливым к Коржавину (Манделю): зачем уехал из России, а говорит о любви к ней? Уехал, потому что напугали. Потому что успел побывать в тяжелых нежных лапах и после нового приглашения на Лубянку почувствовал, что не может избавиться от страха. Я испытывал этот страх и понимаю, что справиться с ним трудно. Самойлов тоже мог бы это понять, — но не хочет. За его нежеланием — страх другого рода: страх соблазна переменить судьбу, агитация самого себя за невыезд.

Такая же агитация самого себя — отношение к диссидентам. Развернутых высказываний здесь нет, но в нескольких фразах чувствуется внутренняя полемика с диссидентской альтернативой в литературе. Она имеет свои основания. Когда Владимов стал диссидентом и книги его были изъяты из библиотек, многие читатели сожалели, зачем он полез на рожон. С тех пор не кончается спор, — нужно или не нужно было писателю, поэту уходить в противостояние. Вопрос этот касался не только поэтов и по-моему не допускал общего решения. Сергей Алексеевич Желудков, отказавшийся поминать в ектинье безбожную власть и отставленный за это от священства, оправдывал патриарха, постыдными компромиссами сохранявшего действующие храмы. Для Желудкова его бесспорный личный выбор был личным выбором, он не утверждал его как единственно верный принцип.

Мой личный выбор был несовершенным, непоследовательным, и я хорошо сознавал его недостатки. Я был не совсем диссидент и не совсем законопослушный совок. Я балансировал на грани репрессий, стараясь эту грань не переступать; мне кажется, что у человека есть и профессиональный долг, и семейный, и гражданский, и все эти долги противоречат друг другу, так что последовательным быть даже невозможно, и многое зависит от неповторимых частных обстоятельств…

Я не ставлю под вопрос выбора Самойлова. Его творчество не требовало подполья, и ради нескольких стихотворе-

ний, безнадежно «непроходимых», не стоило туда лезть. Но были другие направления, не менее ценные. Например, направление, которое я назвал поэзией духовной встречи (Даниил Андреев и многие его собратья; до перестройки их не печатали). Борис Чичибабин, опубликовав четыре книги стихов в период «оттепели», не захотел мириться с заморозками и ушел работать бухгалтером в трамвайный парк. Поздний Мандельштам признавал т о л ь к о запрещенное... Этой литературной альтернативы в «Записках» нет.

Некоторые ошибки Самойлова — обычные ошибки умного человека, вышедшего за рамки своего ума. Современная жизнь так сложна, что охватить ее в целом невозможно. В каких-то вопросах каждый из нас идиот, тупица, деревенский неуч. Но уклониться от этих вопросов не удается. И мы, сознавая свое непонимание, все же пытаемся рассуждать, опираясь — за отсутствием знаний — на принципы; хотя знаем, что принципы — глупая вещь; или, если выразить это словами Гегеля: отвлеченной истины нет, истина всегда конкретна. Так Самойлов признается в плохом знании украинской культуры, а затем горячо доказывает, что Россия и Украина, порвав друг с другом, погрузятся в полное ничтожество. Легко возразить, что поэту, равнодушному к Шевченко, не упоминавшему даже имени Леси Украинки, Михаила Коцюбинского, не надо решать украинских проблем; или что Россия XV века, еще не присоединив ни Украины, ни Белоруссии, ни царства Казанского, Астраханского и Сибирского, создавала великое искусство иконы, потерянное империей. Наконец, — что политическая самостоятельность не означает разрыва культурной общности; что Европа — тысячелетнее культурное целое, при самых различных изменениях границ...

Так же некорректно размышление об упадке интернациональных связей. Оба рассуждения тесно связаны: Самойлов чувствует нарастающий распад империи и хочет, в обстановке распада, сохранить русско-украинское единство. Однако совершенно неверно, что процесс распада захватил весь мир. Распадаются имперские связи. Это началось с 1918 года и только кончилось в 1991 г. Но одновременно растут федерации и конфедерации. Еще при

жизни Самойлова Западная Европа, шаг за шагом, преодолевала национальные границы. И во всем мире лидирует процесс интеграции. Да иначе и не может быть. Такое развитие просто навязано нам техникой и экономикой, связавшими все мировые проблемы в один узел. Яростное этническое сопротивление — встречная волна, вызванная бездушным, научно-техническим и экономико-политическим характером интеграции, без нового единого духа, более мощного, чем местные боги.

Подобные ошибки в рассуждениях делаем мы все, захваченные повседневностью. У голодной куме все хлеб на уме. Характерно для Самойлова другое, то, с чего я начал: печать кружка. Одна из особенностей замкнутого социального круга, большого или малого — сохранение идей, развеянных на открытом перекрестке истории. Кружок — заповедник иллюзий. Читая Самойлова, я с удивлением узнал, что в 1958 году, во время дела Пастернака, Слуцкий не просто струсил, а спасал силы для грядущего нового Ренессанса— в рамках советской социалистической культуры. Решительно никому из моих друзей, переживших суд над Пастернаком, это не приходило в голову. Новый Ренессанс — идея женщины-комиссара из «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского. После террора 30-х годов, после борьбы с космополитизмом и дела врачей, думать о Ренессансе можно было только в очень крепко замкнутом мирке; и вряд ли даже в этом мирке решение выступить на шабаше обошлось одной идеей, без «двойной мысли» (как сказал бы поручик Келлер), без советского страха. Я не мог не верить свидетельству, что Слуцкий с волнением читал текст своей речи Самойлову и Самойлов соглашался с ним, — но я задумался. И постепенно вспомнил свои собственные иллюзии. Они рухнули гораздо раньше, в 1946 г., но они очень меня захватывали.

Я был убежден, что огромная энергия, развязанная войной, найдет дорогу в культуру. Что чувство собственного достоинства победителей преодолеет «бюрократические извращения» советской власти. Я искал доказательства своему чувству и находил их. Во-первых, — действовала аналогия с Отечественной войной 1812 г, за которой при-

шли Пушкин и декабристы. Приходили в голову и другие подходящие примеры: расцвет греческой трагедии после Марафонской победы; трагедии елизаветинцев после разгула Непобедимой армады. Другие, неподходящие случаи я не вспоминал. Лукавая память не вытаскивала на свет Божий опричнину, учрежденную после занятия Казани и Астрахани.

Второй довод вытекал из ложного понимания террора 30-х годов. Я объяснял его себе (примерно в 1938 г.) трусостью Сталина, испугавшегося фашистской пятой колонны и готового истребить 100 невинных, только бы не уцелел один виновный. Теперь, после победы, нет фашизма. Авторитет Сталина невероятно вырос, и ему нечего бояться. Из лагерей уже выпустили Рокоссовского и других. Теперь отпустят всех несчастных.

Третье соображение принадлежало не мне лично. Я его выслушал от одного артиллерийского капитана. Мы создаем в Польше многопартийную демократию, — рассуждал он. — Наверное, по такому пути пойдет и Советский Союз.

Насчет многопартийности я сомневался, но верил в расцвет «внутрипартийной демократии». Редакция газеты Н-й с.д. была чем-то вроде офицерского клуба, и там часто раздавались вольные речи. Замнач политотдела (кажется, его фамилия была Токмаков) поддерживал их. И на партийных собраниях вояки крыли вовсю советский бюрократизм.

Убеждение, что в Москве закипает новая могучая духовная жизнь, заставляло меня рваться в Москву, как чеховских трех сестер. Я написал очень дерзкие заявления о демобилизации, недопустимо дерзкие для страны, где жил. Неожиданным для меня результатом было исключение из партии (куда я вступил на фронте). Исключение «за антипартийные высказывания» (волчий билет при устройстве на любую работу и путевка в лагерь). Я в один день, в один час стал отверженным, изгоем. Борьба за собственное достоинство в этой стране оказалась преступлением.

Иллюзии рухнули, но вместе с ними рухнуло желание писать. Неоконченная книга о Достоевском пылилась в ящике стола. Три года я болтался в Москве, кое-как зарабатывая на жизнь. Ни одна значительная мысль не приходила в голову. Наконец, за мной пришли...

Я боялся этого. Я не подавал заявления в лагерь. Моей воли здесь было не больше, чем у попугая, которого кошка потащила за хвост. Только внутреннее согласие на судьбу, как у того самого попугая: «Ехать, так ехать...» И заново учиться жить. В самом деле, на Лубянке началось возрождение (со строчной буквы: лично мое, эпоха в моей собственной жизни). Я стал жить без двоемыслия и без потребности быть заодно с народом, с государством, с правопорядком. Эта наука длилась долго, шестнадцать лет. Только выучившись находить счастье без всякого писанья, я снова стал писать: с 1962 г. Не считая пары всплесков в конце 50-х.

Шестнадцать лет молчания за то, чтобы сбросить с себя ветхого совка и облечься в новую личность. Слава Богу, получилось. Могло бы плохо кончиться. Мне повезло. А в кружке шла поэтическая жизнь. Писались хорошие стихи. Иллюзии их подкармливали. Эти иллюзии не могли оставаться на месте. Чтобы уцелеть, им надо было развиваться вместе с правопорядком, вбирать в себя новую советскую идеологию. «Старались свести концы с концами», — пишет об этом Самойлов (с. 136). Кажется лидером был Сергей Наровчатов. Сергей рассуждал. Победа над фашизмом показала, что решающим фактором исторического движения является Россия. Казалось прежде, что вектор исторических сил идет от античной Греции через Западный Рим и Западную Европу. Время показало, что он проходит через Византию и Россию... Европа стала провинцией, — утверждал Сергей. — Постановления учат нас избавляться от провинциализма» (с. 136). Что при этом думал Самойлов, он не вспоминает. Видимо, слушал и с чем-то соглашался. И что-то застряло надолго. Думаю, в реликтах сороковых годов — причина, по которой Наровчатов отверг (в 30-е годы!) роман Марка Харитонова «Два Ивана». Отвергнув текст, он коротко объяснил: «у меня другие представления об Иване Грозном». Видимо, как о великом государе, — связующем звене между Вторым и Третьим Римом.

В «Памятных записках» Самойлов подводит горький итог

своим послевоенным иллюзиям: «Было бы естественно, если бы начавшуюся борьбу общества за права человека возглавило поколение людей, прошедших войну, достаточно зрелых и достаточно молодых, чтобы выступить с новыми, конструктивными идеями. Этого не произошло. Энергия военного поколения была подорвана в послевоенное восьмилетие. Оказалось, что мужества, достаточного для самой героической войны, недостаточно для гражданского проявления. Оказалось, что поколение слишком обескровлено и устало, слишком выложилось нравственно за войну и послевоенные годы. Оказалось, что революционный догматизм, в духе которого было воспитано поколение, был мертвым грузом, мешающим образованию новой реальной идеологии. Поколение в целом неверно оценивало возможность борьбы за права человека в рамках сложившегося государства. Воспитанное в обстановке своеволия власти, оно считало, что слишком многое зависит от персоналий, от мыслительного уровня и доброй воли людей, стоящих у власти. Многим рисовались в мечтах «умные» секретари обкомов и честные руководители ведомств, готовые прислушаться к голосу общественной критики. Сталинское «кадры решают все» оставалось узловым положением ортодоксальных мечтателей» (с.344).

Верное здесь перемешано с неверным. Военное поколение было выхолощено не на войне. Оно закончило войну с надеждою. Зинаида Миркина вспоминает: сразу после войны Дэзик Кауфман делил поэзию на «литфондистскую» и «декабристскую» и себя, конечно, относил к декабристам. Энергию подорвало послевоенное восьмилетие; здесь Самойлов прав. Но были исключения: Григоренко, Солженицын... Подавлен был кружок поэтов-фронтовиков. В особенности замордованы, ошельмованы, подавлены были евреи (кем бы они себя ни считали; зимой 1952—1958 гг. российское самосознание Самойлова значило не больше, чем на пороге газовой камеры). После энтузиазма масс, поверивших в обвинение врачей-убийц, трудно было вылезать из норок. И революционным догматизмом не все можно объяснить. В движении диссидентов была коммунистическая фракция: Григоренко, Костерин, Лерт. Решала готовность на полный разрыв с властью, на репрессии.

Не получилось у поэтов-фронтовиков и яркого либерализма. Либерализм в России, по определению Щедрина, —

«применительно к подлости». И здесь у поэтов кружка обнаружилась черта, по-моему трогательная: они не умели маневрировать. При первой попытке маневра Слуцкий раз и навсегда провалился. Он был слишком серьезен, он попытался маневрировать, не разрывая с принципами. Это мало кому удавалось. Евтушенко, равнодушный к принципам, исходил из обстановки, и чутье его не обманывало. Во время дела Пастернака дерзко пошел на конфликт, а потом выполнил какой-то социальный заказ, и его простили. Опять дерзил — и опять писал про Кубу, про Братскую ГЭС. Слуцкий бы не сумел, а Самойлов и не пытался.

Но допустим, что Сталин умер раньше. Не было постановления о Зощенко и Ахматовой. Не было «низкопоклонства». Не было «космополитизма». Давид Кауфман писал бы и печатался без псевдонима, под своей собственной фамилией. Ольга Григорьевна Шатуновская, расследовав дело Кирова, опубликовала бы материалы допросов тысячи свидетелей, и нельзя было бы говорить, что вина Сталина не установлена документами. Такие люди, как Григоренко, выдвинулись бы в борьбе за реформы. Реформы пошли бы иначе, мягче, не шиворот-навыворот и задом наперед. Но в этих, идеальных условиях, — мог ли в XX веке состояться Ренессанс?

Идея нового Ренессанса целиком коренится в коммунистической утопии. Она не более осуществима, чем принцип: «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Есть мировые часы культуры. Они показывают время: переход от модернизма к постмодернизму. Есть некая логика истории, которая ведет, после постмодернизма, к очередному зигзагу — в обратную сторону. Вся история культуры Нового времени идет зигзагами, и постмодернизм — не предел, не конечный пункт. Но возврат, маячущий впереди, — скорее к I в., чем к XV-му. Мандельштам, говоривший о «физиологической гениальности средневековья», чувствовал время лучше, чем поэты-фронтовики. Он угадывал восстановление «ценностей незыблемой скалы», вертикали вглубь, к царствию, которое внутри нас. А Ренессанс (еще укорененный в этой глуби, — а потому недосягаемый для попыток вернуться к нему) был поворотом из глубины

наружу, «открытием мира и человека», внешнего мира и человека как бога, способного заново создать землю, по «Панегирику» Пико делла Марандолы.

Я помню, как захватывали меня, в 1936 году, лекции Леонида Ефимовича Пинского о литературе Возрождения, О Гаргантюа и Пантагрюэле, о Телемской обители, на воротах которой написано «делай, что хочешь» (почти как у Маркса: «ассоциация, в которой свободное развитие всех станет условием свободного развития каждого»). Но в 1940 году Пинский уже остыл к Возрождению. Слишком оно не ладилось с обстановкой. И со страстью говорил о Кальдероне и Кеведо, испанском Щедрине XVII века. Поэты-фронтовики до поздних его лекций не доучились, ушли на фронт. У них в голове так и застрял Ренессанс.

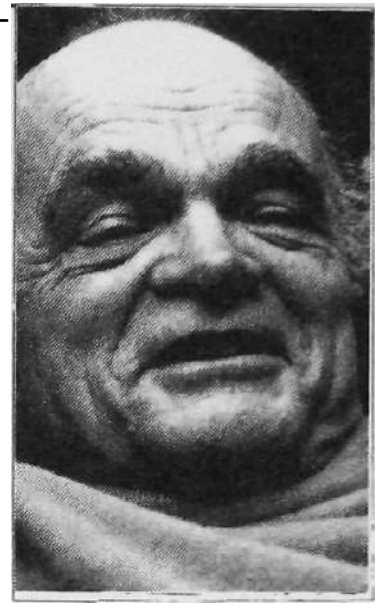
Решусь, однако, на парадоксальный поворот мысли. Именно Самойлову миф о Возрождении не повредил. Мифы, нелепые в глазах историка, могут быть плодотворны в поэзии.

Собственно Возрождения в России никогда не было. Был Пушкин, выполнивший некоторые задачи Возрождения, давший России примерно то, что Шекспир Англии. Муза Самойлова знала, что делала, и через миф о Возрождении вела его к тому, что складывалось в собственном сердце поэта: к продолжению пушкинской линии в русской поэзии. Об этом говорил Фазиль Искандер (на вечере в ЦДЛ 1 июня 1995 г.), и он был прав. В каждом веке есть свои средние века и свой классицизм. Миф о Возрождении утратил у Самойлова ассоциацию с «титанами эпохи Возрождения» и даже с демоническими героями самого Пушкина (Петр, Пугачев, Вальсингам), он сохранил только мягкую человечность и рациональную ясность. Классицизм Самойлова был живым, как всегда будет жив пушкинский призыв: «Да здравствует музы, да здравствует разум!» И он верен своей музе, отшатываясь от треугольных груш и от острых политических конфликтов. Настоящий поэт, в конце концов, всегда следует самому себе.

РЕЛИГИЯ. ФИЛОСОФИЯ

Секс создает людей, которые нуждаются друг в друге эротически, — некий бесконечно повторяющийся акт слияния, который приводит к вечно новому акту потери свободы. Секс — это опасность, о которой другими словами можно сказать: секс — это сила. Секс ведет к детям, дети — это результат сексуального акта. Секс связывает. Он снова и снова связывает душу с телом, человека — с предметом его любви, женщину — с ее ребенком, ребенка — с его родителями, родителей — с их родителями, с одной стороны, и с будущим, с другой.

Магги Галлахер



Ричард ХЭЗЛЕТТ

ИСПОВЕДЬ ВЕРООТСТУПНИКА

Безбрачие, к которому я не стремился

Представим себе, что кто-то вдруг задумался над таким нестандартным вопросом: что представляет собой моралист. Представим себе, что кому-то вдруг стало это небезразлично.

В моем случае для этого потребовались прежде всего глаза, хорошие глаза, потому что я прочел не менее полумиллиона страниц, в основном, философского текста со скоростью около двадцати страниц в час. Мой способный, глубоко рассудительный брат и партнер Р.Вильям Хэзлетт, глядя на меня, не перестает удивляться, почему я читаю столько глупостей. Я честно пытаюсь объяснить ему, что избежать глупостей можно лишь одним путем — тратить на это столько времени, сколько надо для беглого просмотра текста и ссылок. Внимательно читать стоит лишь то, что

* Глава из книги

кажется наиболее подходящим для тебя, правда, при условии постоянной переоценки своих приоритетов. Только в таком случае ты можешь эффективно противостоять тому, о чем немецкий философ Готфрид фон Лейбниц говорил в смятении: «Что за ужасная масса книг! И она продолжает расти!» А было это в 1860 году, когда собрания книг в библиотеках были еще так малы.

В моей образовательной одиссее важным является еще и моя неправдоподобно заниженная оценка времени, которое мне потребуется для постижения того или иного вопроса, на фоне моей постоянной готовности отодвинуть свои текущие дела. Если бы я знал заранее, еще до того, как начать писать, об этой своей черте, я бы, пожалуй, усомнился во всем предприятии в целом. Я живу по Конфуцию: «Узнать правду утром и умереть вечером, о, этого будет вполне достаточно». Если считать, что дня, действительно, хватит, значит, у меня еще есть время изложить свои вновь приобретенные знания в таком виде, который позволит другим воспользоваться ими. Может быть, кто-то выиграет во времени. Я не сожалею о своем образе жизни. Другими словами, игра стоила свеч, по крайней мере, для меня, и я надеюсь — для вас будет также.

Ныне умерший друг нашей семьи Вильям Роланд Хопкинс, бывший в правительстве Кливленда во времена моего детства, говорил, что реформаторы — это люди из разряда тех, у кого время не занято сексом. Я думаю, что и эта книга никогда не была бы завершена, будь я женатым, хотя я всегда питал на это надежды.

В 1938 году, когда мне было 14 лет, Уолт Дисней сделал кинофильм по сказке братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов». Его творческий метод можно назвать «универсальным искусством», используя термин немецкого композитора Ричарда Вагнера. Действительно, это высочайший пример такого искусства. Этот пример показал мне, что у человечества есть ценности, которые, будучи иллюзорными, вернее сказать, неуловимыми, стоят жертв. Я смотрел фильм четыре раза и с каждым разом убеждался в этом все

сильнее. Во мне просыпался аппетит к познанию ценностей, их этического значения, чего я до этого никогда не испытывал, по крайней мере, в контексте искусства.

Деннис Праджер — ведущий популярной американской телепередачи и автор интересной книги по Иудаизму в одной из своих ежеквартальных передач журнала «Последний выпуск» говорит о женщине Алисе, которая на протяжении десяти лет назначала свидания одному и тому же мужчине — он, явно, обладал привлекательными для нее качествами. Наконец, он согласился жениться на ней. Однако через тринадцать лет семейной жизни она подала на развод, сказав: «Каждый мужчина считает себя самым хорошим в мире». Она уверена, что мужчины, которые женятся поздно, «не понимают, как можно жить в тесной интимной связи. Это очень весомая причина не жениться вообще».

После нескольких десятилетий бездействия в этой сфере жизни, я определенно могу квалифицировать себя, как любителя отложить подальше те дела, которые надо делать немедля. Я принял во внимание замечания Алисы, но меня удивляет следующее. Задумалась ли она или он над тем, что удерживает человека от тесной интимной связи, даже такого человека, который вполне способен искать смысл жизни интеллектуальным путем? Конечно, здесь речь не идет о механической сексуальности — миллионы людей могут подтвердить, что у них не возникает никаких проблем с этим. Но, насколько я понимаю, муж Алисы искал, но не постиг открытой, чистосердечной, религиозно защищенной позиции, некой фундаментальной веры, объединяющей супругов и касающейся жизни и мира в целом, такой веры, которая могла бы служить связующим звеном в отношениях между людьми. Прежде всего, я полагаю, что в течение тех десяти предыдущих лет будущий муж Алисы все сомневался, потому что чувствовал, что никто не может узнать его до конца, пока он не освоит некоего удовлетворяющего его философского обоснования религиозной веры, что позволит ему иметь полноценные отношения с другими.

Кроме того, как я полагаю, его нерешительность определялась следующими факторами: его интеллигентностью и образованностью, вполне оправдывающими подобную медлительность; наличием некоего внутреннего видения, вполне достаточного для того, чтобы давать себе отчет в своем поведении; наконец, наличием достаточной этичности, которая позволяла ему оценить свою позицию как позицию глупца, который спешит туда, куда боятся ступать ангелы. (Конечно, если бы каждый сдерживал себя подобным образом, человеческая раса перестала бы существовать в ожидании взаимного согласия!)

Моя сдержанность по отношению к женщинам переще-голяла легендарную двадцатилетнюю сиесту Рип Ван Винкла. В 1991 году, когда мне было шестьдесят восемь, я был участником философской конференции в Оксфорде и встретил там очень привлекательную молодую женщину — доктора философии. По каким-то своим причинам, как выяснилось позже, она оставила дома свое обручальное кольцо. Мы обсуждали возможность перевода на немецкий язык некоторых моих работ, что мог бы сделать ее отец. Я отдал ей эти работы.

Несколько месяцев спустя «Заблудившаяся собака» (так называются автобусы, которыми я больше всего люблю ездить) доставила меня к ней. Она радостно приветствовала меня и тут же пригласила в ресторан за ее счет. За обеденным столом она задавала такие вопросы, которые говорили мне, что она разобралась в моей работе и вполне ценит ее. Я тут же, за столом испытал силу стрел Купидона. Правда, в этот раз она надела обручальное кольцо. В надежде не потерять вновь обретенное чувство и осторожно перенести его на кого-нибудь другого я спросил, не знает ли она какой-нибудь, подходящей для меня, одинокой женщины — философа. Она нахмурила брови, помедлила, но ничего не придумала. Затем подбросила меня к автобусной станции, и я вернулся к своей прежней жизни, продолжая читать, спать и есть свои любимые семечки. Чувствовал я себя очень скверно. Я чувствовал себя беспомощным и

бесполезным. Я досадовал на себя. Потом в Десяти Заповедях я нашел одну как раз для себя — о том, что нельзя возжелать того, кто принадлежит другому. Прошло время, прошло мое безумие, она простит меня.

Этот случай, когда я возжелал жену другого, научил меня тому, что стоит знать. Я понял, что для меня безоблачный союз умов в жизнеспособной религиозной вере является тем средством, которое усиливает половое влечение, может быть самым сильным средством из тех, которые только можно пожелать. Мой психологический барьер в достижении интимных отношений был сильно поколеблен, несмотря на несколько десятилетий, потраченных, в основном, на рассуждения относительно личной жизни вместо собственно жизни. Так или почти так сказала мне одна молодая особа, когда я просто, безо всяких сомнений отказался пойти гулять с ней по центральным улицам Далласа. Это было еще в 1945 году. Я был молод, в морской форме. Она подошла и пригласила. Я отказался. Она сказала в раздражении: «О, я имею в виду — пойдем немножко погуляем и только. А в библиотеку ты можешь пойти чуть позже». Итак, если говорить серьезно, то я не раз был близок к интимным отношениям, но... и только. Теперь я понимаю то, что раньше лишь чувствовал, я понимаю, что страстную влюбленность можно считать лишь радугой в небе и что, будь она в моих руках, это могло бы кончиться ничем. Я просто не мог изменить моей интеллектуальной одержимости. Я не хотел быть одним из тех, о которых говорят: «Ты не узнаешь, что такое счастье, пока не обзаведешься семьей, ну а потом уж поздно будет говорить о счастье».

Посмотрите на женатых мужчин, которые полнятся фантазиями, сидя поздним вечером перед телевизором и глядя на полуголых женщин, в то время, как их жены, лишенные их ласки и внимания, строят свои собственные фантазии. Они изгнали друг друга из круга своих интересов. Как много пар, вызывающих тоску, страдают от подобных проблем! Эти проблемы не были такими массовыми в прежние времена, когда люди еще не были объяты какофонией идей, как

теперь, не говоря уж о дополнительных проблемах, возникающих, например, при обучении в современных колледжах. Интересно, многие ли обратятся к философии и, подобно мне, захотят тратить на нее свое свободное время, даже веря в то, что философия способна сделать человеческую жизнь более человеческой?

«Когда ты собираешься браться за ум?» С таким вопросом обратился ко мне однажды мой брат Билл, вероятно, желая услышать, когда я начну пожинать плоды своих научных стараний. Отвечая ему, я хотел бы рассказать вам, как однажды я был в гостях у именитого девяностолетнего философа-теиста. За вечерним десертом в моем присутствии он попросил свою нежную жену побыстрее перейти, если можно, к следующему, значительно более приятному занятию.

Я же только сейчас, в свои семьдесят два года, начал открывать для себя богатство воображения женщин и их миловидность, пока только это. Я вдруг обнаруживаю, что что-то светлое начинает оживать внутри меня, мое состояние подтверждает мою догадку, что истинная и интеллектуально защищенная религия проливает вокруг устойчивый свет, по которому мы можем отыскать друг друга. Похоже, что Бог пожалел нас, пожилых людей, и предохранил нас от сексуальной дряхлости, но при условии, что мы посвятим себя истинной религии. Все это похоже на то, что писал французский новеллист девятнадцатого века Оноре де Бальзак, когда предполагал, что основным сексуальным органом является мозг.

Мои постоянные размышления привели меня к выводу, что религия, музыка и сексуальность имеют, по крайней мере, одну общую характеристику. Каждая из них формирует стойкий «задний план» сознания в целом.

Что касается сексуальности, то естественное удовольствие от сексуальных мыслей, их повсеместное проникновение, их внезапность, самонастраиваемость, их способность расширять горизонты заботы и связывать людей, — все это дает уникальную силу комулятивным психическим

связям, окутывающим людей, и обеспечивает мотивацию их поступков.

Сексуальный опыт может быть получен как от любви, так и от ненависти. Он способен дать людям силу, повышая их личные самооценки. Наверное поэтому секс обладает таким могуществом. Радость, идущая от чувственных удовольствий, образует целую гамму смыслов и значений. Но секс может и обременять людей, принося расстройство в случае неудачи в попытке найти свое место в социальных связях. К сожалению, и то и другое очень трудно поддается объяснению.

Психологическая сторона сексуальности воспринимается иногда как проявление некоего типа слияния с любимым человеком: «Позволь мне возмечтать однажды, что я есть ты, о желание моего сердца!» Желание подобного слияния найдено в трудах философа древней Греции Платона, в его диалогах «Федра» и «Симпозиум», однако там явно просматривается тенденция к мужскому началу. В древней Греции женщинам было предначертано терять свою личностную индивидуальность.

Что касается меня, то я полагаю, что сексуальность представляет собой взаимный островок безопасности для каждой уникальной личности, некое выражение взаимной благодарности, которое усиливает творческое состояние каждого в рамках общей точки зрения на мир. Тем, кто не обладает личной уникальностью, подобный общий островок не кажется столь уж важным. Биологическая важность такого «места отдыха» для психики, такой возможной передышки заключается в том, что таким способом личность получает поддержку своей уникальности. Эта поддержка говорит человеку, иногда, впрочем, ошибочно, что он не один в своем личном мире, где собраны и хранятся в уединении плоды его рук, ума и сердца. В более общем плане, сексуальность помогает нам стать существами социальными, готовыми ко взаимной помощи и желающими ее. Отсюда, сексуальность — это значительно больше, чем воспроизведение себя как личности. Она создает мощную

структуру, играющую весьма существенную роль в жизни человечества в целом, в реализации его предпринимательских способностей и его инициативы.

На пятом десятке своей жизни я какое-то время принадлежал к мормонам. К этой вере меня привлекло, частично, то высокое почтение, которое проявляется мормонами к семье и морали, ориентированной на семейную жизнь. Американские историки Билл и Ариель Дюранты назвали «длительное влечение» «самым дорогим подарком в жизни».

Мормоны, как и верующие евреи (к которым теперь принадлежу и я), верили в то, что Бог принимает участие в создании условий для жизни его творений, будь это условия счастья или несчастья. Мормоны, как и евреи и некоторые христиане, рассматривали физические удовольствия как удовольствия такого рода, которые Бог разделяет с нами. Как и евреи, мормоны верили, что Бог есть такое существо, которое живет и функционирует в то же самое реальное время, в которое живет каждый из нас.

Жизненные цели сексуальных партнеров возникают, на первый взгляд, бессвязно, но при наличии общей теистической точки зрения на мир различные цели могут рассматриваться как способствующие единому результату — смысл его в том, чтобы доставлять удовольствие Богу, доставляя удовольствие его творениям. В таком аспекте чувство единения между партнерами или между партнерами и Богом становится необыкновенно важным.

Однажды, когда я уже в среднем возрасте учился в университете Прово, штат Юта, я спросил студентку, едва вышедшую из своего подросткового возраста, но уже замужнюю, почему в Юте так много счастливых женщин. Она ответила сразу: «Потому что вокруг так много мужчин, которыми мы можем гордиться». Подобная точка зрения, будучи строго сексуальной, часто является условием счастья будущей семьи.

Но не все гладко было и в штате Юта. Я помню Дебби, старшую из одиннадцати детей епископа-мормона, красивую девушку, выпускницу школы, произносящую речь на выпускном вечере. Окончив среднюю школу, она пошла в колонию хиппи, в Калифорнии. Несколькими месяцами позже она вернулась, потеряв зуб и значительную часть своих прошлых убеждений, которые вышибли ей домогавшиеся ее парни. И это был еще не конец ее страданиям. Мне кажется, что я бы мог изменить ее жизнь, если бы знал тогда то, чем могу поделиться сейчас. Как я уже говорил, живя среди мормонов, я видел свое призвание в том, чтобы помогать духовно неимущим найти смысл жизни. Это и по сей день вдохновляет меня.

Десятилетия назад одна из женщин христианской миссионерской школы в Индии писала, насколько интересно и прекрасно было наблюдать, как молодые люди, только что принявшие Христианство, влюблялись в своих собственных жен. Это говорит о том, что Индуизм, приветствующий в любви лишь сексуальность, указывает тропку к удовольствию, но не к радости. По контрасту с этим, Иудаизм и Христианство предоставили массу троп к радости, одна из которых ведет к сексуальности, наполненной смыслом религиозных доктрин. Можно предположить, что высокое значение секса, которое придавалось ему как в Христианстве, так и в Иудаизме, послужило причиной исторического успеха этих религий, несмотря на наличие явно двойственного отношения к сексу в самом Христианстве.

Сексуальные связи между людьми резонируют с другими связями и возбуждают их. Эффективная сексотерапия лечит душу и сердце. Мои друзья христиане Ден и Нэнси Тернеры говорили мне, что подобная терапия в контексте Христианства часто очень эффективна. У меня нет причин сомневаться в том, что такая терапия в контексте Иудаизма также эффективна, и набожные евреи, пожалуй, больше, чем кто-либо, знают это. Любовь, разделенная с Богом, может совершенствовать, увеличивать удовольствие и радость супружеской пары. Такая любовь сближает пару, предотвращает напряжения, которые могли бы ослабить взаимные удовольствия.

Американский философ Чарльз Хартшорн пишет: «Чувство, что любовь, которая в своем наинижайшем значении представляет собой лишь естественную чувственность живущих, есть ключ к природе вещей». Нам надо согласиться с Пьером, героем романа графа Льва Толстого, который в ответ на вопрос: «Что значит хорошо жить?» — отвечает: «Быть способным верить в Бога, нести людям счастье, любить».

Так что же такое секс, согласно Христианства, — зло или не зло? Точка зрения на сексуальность, как на зло, наиболее ясно выражена в Псалмах, которые традиционно приписываются царю Давиду: «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя».

Эта мысль оказалась куда более сильно выраженной в Христианстве, нежели в Иудаизме. Приведу здесь лишь несколько высказываний христианского апостола Павла, взятых из Нового Завета, из Первого послания к коринфянам: «Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». «Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти; а мне вас жаль», «...неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу. А женатый заботится о мирском, как угодить жене».

Можно только удивляться, каким противником Иудаизма был Павел! Сам факт, что он написал эти слова, стараясь вмешаться в естественную природу мира, очень интересен и говорит сам за себя, хотя эти слова впоследствии и не принесли ему особой славы.

Затем, в пятом веке н.э. ученый Августин, оставив одну за другой своих женщин-партнеров, повел жизнь христианского философа и полемиста, став затем епископом в северной Африке. Он первый написал о «позоре поколения». Он полагает, что женщина виновата в сексуальном поведении Адама в саду Эдема. Августин, основываясь на инновациях Павла в Христианстве, о которых мы говорили выше, ввел в обиход термин «первородный грех». Поведение Адама было представлено им как греховное, т.е. как его Падение. Оставаясь греховным, оно должно было теперь передаваться каждому по наследству. В первородном грехе Августин видит причину существования смерти, которая является частью божественного плана наказания и искупления. Существованием первородного греха часто объяснялось существование греха в целом. В этом случае ослаблялось чувство моральной ответственности — мог быть прощен всякий грех, как прощался первородный.

Моя уважаемая мать оказалась жертвой негативного отношения к сексу, внушенного ей в свое время, уже в нашем столетии, руководящим министром методистской церкви. У ее матери, у моей бабушки, были те же проблемы. Вне всякого сомнения, министр церкви, где прихожанкой была моя мать, делал ударение, скорее, на писаниях христианского апостола Павла из Тарсус, чем на учении Иисуса из Назарета.

Тем, кто хотел бы прожить счастливую жизнь, трудно согласиться с утверждениями некоторых теологов, что секс — это зло и порождает зло. Однако в октябре 1980 года Папа Иоанн Павел II сказал во всеуслышание в сквере Святого Петра в Риме: «Признано, что нарушение супружеской верности в сердце происходит не потому, что мужчина определенным образом смотрит на женщину, которая не является его женой, а прежде всего потому, что он смотрит на всякую женщину таким образом. Даже если бы он так смотрел на свою жену, его можно было бы признать нарушающим супружескую верность».

Я унаследовал от матери ее мрачное отношение к сексу и долгое время придерживался этих взглядов, что немало способствовало моему одиночеству. Мой отец мечтал о женщинах, но пришел к своей женитьбе безо всякого жизненного опыта. Скорей всего, он был совсем беспомощным в этих вопросах, и никто в маленьком городке Индианы, где жили мои родители, не мог дать ни ему, ни ей никаких полезных советов. Между двумя мировыми войнами, занимаясь бизнесом в Германии, мой отец многое постиг из области секса. Родители развелись в 1933 году, когда мне было девять лет и когда подобные расколы были весьма редки.

Каково же отношение Иудаизма к сексу? «Песнь песней» из Библии — это истинный гимн любви. Однако Христианство запрещало читать написанную на иврите Библию вплоть до Реформации в шестнадцатом столетии. Евреи писали это произведение веками, живя в Израиле, Испании, Италии, везде, куда их закинула судьба. Эту поэму можно читать как аллегорию любви Бога к Израилю, но, пожалуй, она похожа не только на аллегорию.

Средневековая раввинская традиция придерживается мнения, будто с тех пор, как в первом веке н.э. разрушили Второй Храм, Святой Дух Бога появляется в двух местах: в школах и синагогах и там, где муж обнимает свою жену. Еврейский ученый четырнадцатого века Номинайдс писал:

Знай, что сексуальные отношения между мужем и женой святы, если они пристойны, т.е. происходят в подходящее время и желаемы обоими. Никто не должен думать, что такие отношения — это зло, что они вызывают лишь отвращение и что Бог не простит этого! Потому что нет для небес более чистого и святого союза, чем праведный союз.

Далее Номинайдс дает некоторые инструкции, имея в виду возможные психологические сложности:

Когда вы и ваша жена вовлечены в сексуальный союз, не относитесь к этому беззаботно, как к праздному и пустому делу. Не будьте легкомысленным в присутствии вашей жены. Не говорите с ней о пустых вещах. Вы должны говорить так, чтобы она отдала вам свою душу и сердце и чтобы это сделало ее счастливой. Тогда вы будете связаны в одно целое, и ваше влечение сольется с ее влечением. Говорите ей такие слова, которые вызывали бы у нее желание, любовь, страсть с такой же силой, с какой слова, направленные к Богу, вызывают почтение.

Жаль, никто из христианских авторов никогда не говорил мне ничего подобного, а ведь евреи знали это так давно.

Одним из источников горя и зла, часто неумышленным источником, является убеждение, что только лишь романтическая любовь, вообще без какой-либо религии, может явиться основой мировоззрения человека. Популярная точка зрения создателей голливудских фильмов 30-х — 40-х годов строится именно на том, что романтической любви,

будто бы, вполне достаточно. Попытка заменить другими отношениями секс, которому так много внимания уделяла приходящая в упадок вера наших предков, была обречена на провал. Эта попытка привела к поверхностному гуманизму с его ничем необоснованными ожиданиями.

Современные психологи пытаются, в основном, впустую, сохранить приходящий в упадок статус семейных отношений. Мне кажется, лучшее, что могла бы сделать для мира профессиональная психология — это внести ясность в вопрос совместимости и несовместимости будущих вероятных супругов.

Как часто мы зря расходуем свои силы! «Кончилась моя спокойная жизнь», — горестно сокрушается несчастная, совращенная и покинутая молодая Гретхен, героиня Гете. Потеря целомудрия воспринималась как тяжелое испытание, особенно среди менее общительных молодых людей, склонных к размышлениям. Однако мы все проигрываем, когда хоть один из нас живет ниже своего этического потенциала. Беспорядочный секс оставляет у многих тяжелые воспоминания, эти воспоминания могут преследовать их постоянно. Они ведут к ослаблению взаимных связей и длительному одиночеству. Чувствительные взрослые знакомы с этим, но многие молодые люди никогда не слышали об этом! Многие ли из них, столкнувшись с этой проблемой, будут относиться к ней, как к проблеме? Возможно, они могли бы разглядеть здесь проблему, если бы относились к сексу в контексте религии.

Если говорить об истории Соединенных Штатов, то следует привести слова французского государственного деятеля и автора многих работ Алекса де Токвиля, который хорошо знал Америку позапрошлого века:

Я не сомневаюсь, что строгость морали, которая характеризует Соединенные Штаты, берет начало в религиозных верах. Из всех стран мира Америка, определенно, та страна, где семейные узы наиболее распространены и где наиболее популярна концепция высокого и истинного

супружеского счастья. В Европе, практически, все беспорядки рождаются у домашнего очага и в брачной постели. Ясно, что человек питает презрение к естественным узам и узаконенным удовольствиям, у него развивается вкус к беспорядкам, развивается леность духа и нестабильность желаний. Раздерганному своими симпатиями и влечениями европейцу трудно подчиниться авторитету государственного законодательства. Когда американец возвращается от политической неразберихи в лоно семьи, он сразу окунается в порядок и покой. Все его удовольствия просты и естественны, радости — бесхитростны и покойны, и так как обычная, регулярная жизнь несет ему счастье, она входит в привычку. Тогда, когда европеец пытается решить свои домашние трудности, озадачивая ими общество, американец, привыкший к порядку в своем доме, привносит его в государственные дела.

Токвиль говорит далее: «Я не знаю, что можно сделать, чтобы вернуть европейскому Христианству энергию молодости». Здесь следует заметить, что позднее, в 1880-х, Америка испытала нашествие порнографии. Похоже, что в то время она справилась с этим везде, за исключением больших городов. Победило единство морального духа Америки, о котором говорил Токвиль и основой которого было еще непоколебленное сомнениями Христианство.

В контексте нашей темы, вероятно, следует коснуться теорий Зигмунда Фрейда. Несмотря на всяческую их критику, включающую и прямые обвинения Фрейда в интеллектуальной нечестности, влияние его работ, по-прежнему, остается очень большим. Он утверждал, что его теории помогут людям прийти, как минимум, к более высокой цивилизации. При этом он принизил человеческие существа до уровня сексуальных машин и создал соответствующую религию секса. Отвергая существовавшие к тому времени иудеохристианские концепции правильного и ложного, Фрейд стал, пожалуй, наиболее сильным в мировой истории разрушителем культуры и цивилизации.

Однако он был весьма почитаем многими интеллектуалами, особенно Гегелем, Ницше и Карлом Марксом, т.е. теми

европейцами девятнадцатого века, которых и до сих пор чтут в наших учебных аудиториях.

Не одно поколение ввели в заблуждение широко известные работы английского философа Бертрана Расселла. Его работа «Брак и мораль» сообщает читателям, что сексуальная свобода «ведет к уменьшению грубости, мучений и насилия». В работе «Образование и хорошая жизнь» Расселл говорит: «Главная причина несчастий в наше время — это болезни, бедность и сексуальная неудовлетворенность». Он продолжает: «Поколение женщин, воспитанное безо всякого иррационального страха перед сексом, могло бы положить конец этому». Однако даже Расселл, наверное, был бы напуган результатами широкого освоения в наше время выдвинутых им «истин». Как однажды сказал высокомерному политическому деятелю мой отец: «Тостующий сегодня завтра может оказаться ни с чем».

Когда в 1963-64 году я вернулся в Оберлин колледж заканчивать свою работу на степень бакалавра, студенческие общежития оказались местом, где нельзя было жить, а можно было лишь заниматься сексом. Повторялось то, что происходило в Гарвардском университете, потому что превалировало мнение, будто все, что там происходит, прекрасно. Мне кажется, все это понравилось бы Фрейду. Помню, однажды я написал серию моралистических заметок в студенческую газету, сопроводив их аргументами из поэмы Шелли «Epipsychidion»: «Истинная любовь — это золото и грязь вместе, и разделить ее на золото и грязь — еще не значит отбросить».

Когда я заворачивал на своем велосипеде за угол (к счастью, студентам колледжа Оберлина езда на машинах по автострадам была тогда запрещена), я неожиданно столкнулся с другим велосипедом, на котором сидел редактор и лидер студенческого движения. Он принял меня за врага, и в его глазах вспыхнул страх. Наверное оттого, что он представил будущие сражения с администрацией. А администрация вела себя все малодушнее, и в конце кон-

цов, студенты выиграли борьбу. Они получили возможность нанимать преподавателей, и это оказалось путем к разрушению колледжей и университетов.

Начиная с 1990 года, Америка повсеместно вооружилась презервативами, автоматы с ними были установлены во всех университетских общежитиях и даже в средних школах. Организаторами — выразителями общественного мнения двигало желание «сохранить секс» студентам, которые, предположительно, неспособны к воздержанию. (Я помню шумные волнения из-за недостатка презервативов в мужском туалете святого для меня места — библиотеки колледжа. Теперь презервативы соседствуют с подгузниками для новорожденных.)

В настоящее время учителя наших публичных школ учат детей, как предохраняться от беременности или болезней, при этом подразумевается полная безнаказанность за какой угодно сексуальный акт, так как следование своим инстинктам — это норма, и подобный преждевременный, неосознанный секс — это тоже норма, это не хорошо и не плохо, потому что в таких делах не существует установленных стандартов. Свободно печатаются все слова и термины из этой области знаний и все для того, чтобы дети могли познакомиться с ними как можно раньше, начиная с детского сада. Я считаю, что всепроникающая сексуальная активность, которую мы наблюдаем сегодня, происходит с молчаливого одобрения общества, которое допустило все это. Учителя, которые доводят до сведения учеников принятую точку зрения, могут считать, что они участвуют в построении великого и свободного будущего, когда люди забудут ссоры и обиды, забудут, как они угнетали свою потенцию. Как когда-то говорил мой отец: «Девиз Америки — ничего вполсилы».

Да, мы рождены для любви. Дело в том, что в нас заложено все необходимое для истинной любви. Но человек прежде должен «познать себя», как говорили еще древние греки. Он должен познать себя, чтобы обнаружить подобную программу любви, встроенную в его психику.

Первоначальный период обдумывания отношений со своей новой пассией, так называемый период сублимации — это один из путей познания, который порождает свет, радость и ответственную любовь. Некоторые литературные произведения хорошо описывают этот период, возьмем, хотя бы, трагическую поэму «Идиллический Король» английского поэта Альфреда Лорда Теннисона.

Подобная сублимация сексуального инстинкта представляет собой один из аспектов человеческой жизни, который еще не открыт молодыми американцами сегодняшних дней.

Американский новеллист девятнадцатого столетия Натаниел Хофсорн говорит следующее (к сожалению, имея в виду только женщин):

У целомудрия, как у луковицы, много одежек. Вы можете снять внешнюю, не нарушая, в общем, порядка. И вы продолжаете снимать их одну за другой, желая добраться до самой внутренней, потому что за ней скрыта суть. Но за ней нет ничего особенного. Получается, что целомудрием пронизаны все одежки, и оно убывает с раздеванием, и исчезает совсем вместе с последней, за которой, по вашим понятиям, жемчужина-то и спрятана.

Нам всем хронически недостает счастья. Даже секс дает реальную радость или долго длящееся счастье только тогда, когда происходит от сердца и от рационального ума. Никто не будет отрицать того, что секс не ведет к счастью, если эти отношения поверхностны, неискренни или позволяют использовать другого как средство к достижению собственных эгоистических целей. Истинная озабоченность счастьем другого должна быть такой же большой, как и ваше физическое желание.

Не обидел ли я своими нравоучениями добрую половину человечества? Не повторяюсь ли я, говоря, что те, кто грубы с собой, грубы и с другими? Что делать, таково предназначение моралиста. Я не лучше, чем другие. Да к тому же, у меня недостает личного опыта — в молодости я был так неуклюж, что не мог даже попасть в подобные ситуации, а если я бы попал, то трудности меня бы не миновали.

Американский писатель Шарон А.Шихан говорит: «Обра-

зование по вопросам секса — это не менее, чем знание того, как и где мы можем передать другому этот изумительный подарок — себя. Смысл в том, что надо любить, доверять и в достаточной степени верить, чтобы вверять себя и свое будущее кому-то другому».

Молодые люди — мормоны, которые завели семьи, будучи девственными, что типично для мормонов и евреев-ортодоксов, говорили мне с удивлением: «Дик, это прекрасно! Я был бы лжецом, если бы не сказал этого!» Я полагаю, что их примеры могли бы дать нам надежду на то, что наши дети будут иметь более упорядоченную и более радостную сексуальную и духовную жизнь, чем наша.

Американский философ восемнадцатого века Джонатан Эдварде говорит:

Как быстро будущие любовники приходят к открытиям красоты друг друга! Как быстро они видят все, что хотят видеть! Как быстро они становятся близкими друг другу настолько, насколько это возможно, и настолько интимно, насколько возможно! Как быстро они приходят к таким высочайшим проявлениям любви, какие только возможно придумать, — так что невозможно придумать, дать, получить ничего более!

Работа тайваньского римского католического священника отца Андрея Чина «Гуманизм Китая» посвящена вопросам традиционной китайской сексуальной этики. Ниже представлена его сублимированная идея сексуальных взаимоотношений:

Союз мужа и жены — это образ и имитация союза Земли и Неба. Все человеческие взаимоотношения начинаются с брака. Человеческая разобщенность побеждена священным союзом жены и мужа. Эти взаимоотношения являются основанием распространения любви во всем мире. Все принципы морали и социальной этики извлечены из взаимоотношений мужа и жены. И только, будучи извлеченными из мира человеческой любви, они наполняются смыслом.

Отношение американского теолога Генри Вимэна к эротической любви можно трактовать любым образом, но циничным его назвать нельзя:

Иногда магическое соединение приятных черт способно вызвать любовь между мужчиной и женщиной, чтобы преобразить целый благодарный мир, открывая при этом, какой могла бы быть жизнь, если бы подобное преображение могло быть достижением и сохраняемым в еще большей степени. Но магическое соединение воздействующих черт быстро сметается неизбежностью бытия. Однако еще не все потеряно. Эти редкие случаи несут общение — они говорят нам о том, что все еще может быть, нашептывают нам надежду, которая прячется где-то рядом. Любовь касается нашей Земли мимолетно, насколько велика эта случайность — зависит от Небес. Сладость и магия такого прикосновения могут заставить нас поверить в существование любви. Пережив такой визит однажды, мы будем знать в дальнейшем! для чего нам прилагать такую массу усилий.

Перевод с английского
Татьяны Мушат

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН

Русский европеец Владимир Васильевич Вейдле, возможно, был последним энциклопедистом Серебряного века. Коренной петербуржец, он стал, в сущности, свидетелем конца этой поразительной эпохи в истории русской культуры. В свои петербургские годы Вейдле постоянно общался о Ахматовой, Мандельштамом, Корнеем Чуковским, и в эти годы и позже был одним из ближайших соратников и друзей Ходасевича.

Родился Владимир Васильевич Вейдле в 1895 году, окончил исторический факультет Петербургского университета, с 1921 по 1924 год был приват-доцентом на кафедре истории искусств. В 1926 году уезжает в Париж. За границей, и прежде всего среди парижской эмиграции, он приобретает широкую известнооть как литературовед и историк искусств, печатается в «Современных записках», «Последних новостях», «Возрождении», автор получивших широкую популярность книг «Задача России», «Вечерний день», «Безымянная страна», но особенную известнооть ему принесла книга «Умирание искусств», переведенная на многие европейокие языки.

В 1975 году судьба лично свела меня о В.В. Вейдле. Это было в Париже, куда я привез ему письмо от одного из его иерусалимских знакомых. Жил он в то время на Авеню де Бальфур, в 16 арандисманте Парижа, в тихом старинном доме. Дверь мне открыла его жена Людмила Викторовна, а затем вышел и он, меня поразил его облик. Он был высок, величественен, настоящий дворянин, русский барин, каких в те последние годы уже редко можно было встретить в Париже. Мы довольно долго о ним беседовали, разговор вели вольный, был он великолепный рассказчик — я слушал и поражался тому, как блиотательно образован он. Каждого входящего в дом к Вейдле поражало обилие книг, книги были его миром, в котором он жил, работал, находил источники знания и вдохновения. Он знал почти все европейские языки и почти все мог читать в оригинале.

Умер Вейдле спустя четыре года нашей встречи, в 1979 году, оставив после себя довольно большую переписку. Два письма хранятся в моем архиве и по сей день. Работая в Бахметьевском Фонде Колумбийского университета, я обнаружил, что ореди корреспондентов Вейдле были Шагал, Эллиот, Валери, Генри Миллер, Клодель, Бертран Рассел, не говоря уже о его эпистолярном наследии, связанном с Рооoией.

В течение многих лет он работал заведующим русской редакции радио «Свобода», что открывало ему возможность напрямую обращаться к многомиллионной российской аудитории. Владимир Васильевич Вейдле гордился этой своей миссией, никогда не переставая считать себя гражданином России, которой он, в сущности, и посвятил свою долгую жизнь. В этом номере мы предлагаем читателям подборку его воспоминаний, статей и эссе, которые, я надеюсь, помогут представить образ этого выдающегося человека.

Григорий Поляк

ЛЮДИ И ВРЕМЯ

Взвихренная Русь

Кто знал Ремизова хоть немного — как знал его я — не может читать его, или о писаниях его думать, его не вспоминая. Второго такого, то есть сколько-нибудь сравнимого с ним писателя не только, кажется мне, у нас, но и нигде не было в нашем веке, — такого, не просто вросшего в свое писательское дело, но и сделанного или переделанного им, обоюдно с ним сросшегося, на равных началах: весь он в писательстве, но и оно все в нем, — в его делах и словах, в житейском его облике и укладе, в интонациях, повадках, смешках, шуточных проделках, в почерке — рисованном, хитром, другого больше у него и не было — в хитрой, «себе на уме», хоть и приветливой улыбке. Все это — «Ремизов», в той же мере, как и все написанное им. Придешь к нему: сидит нагнувшись над столом (не «письменным», «кабинетным», а простым, без ящиков) — читает или пишет. Горб себе нажил, просидел так всю жизнь; в кресле никогда я его не видел, да и кресла у него, кажется, не было. Перестанет писать, — рисует, низко склонившись над бумагой; близорук был с

детства, почти ослеп под конец; с белой палкой выходил, потом и вовсе не выходил. Подымет глаза от бумаги, взглянет на тебя «подстриженными» этими глазами, в последние годы, вероятно, едва тебя и видит, а покажется тебе очень проницательным его взгляд. Скажет что-нибудь совсем особенным тоном, таким немножко, как нянюшки когда-то говорили, но и созерцательным в то же время: себя созерцающим, вырисовывающим фразы и слова. Тон этот — тот же почерк; почерк каким он надписывал свои книги, и каким мысленно, еще и пера в руку не взяв, их писал.

Перечитываю «Петушка», сказочку его, полюбившуюся мне задолго до знакомства с ним, давно, в России, и от первой строчки до последней слышу его голос, и даже вижу его, словно шевелящего губами, покуда я читаю, хоть и никогда я его чтения чего бы то ни было им самим написанного не слыхал, а слышал только эстрадные его чтения Гоголя, Достоевского, Лескова, не в его обычном, а в приподнятом, наигранном тоне, очень метко «ударяющем по сердцам», но собственной его прозе все-таки чуждом. Ремизов говорит и пишет — все равно, что кружево плетет или бусы нанизывает; не на готовую заранее нитку, а на создаваемую самим движением речи, или записи этой речи (последнее думаешь, когда его читаешь, а не слушаешь). Первое свое крупное произведение, в Вологде написанное, в ссылке, «Пруд», назвал он романом и тщательно скомпоновал: две части в двадцать пять глав каждая, с возвращающимися мотивами, рисующими неизбежность судьбы, с прихотливо оттянутым финалом; но, вопреки ухищрениям этим, каждая главка остается отдельным завитком, и житейский матерьял, почти сплошь автобиографический, в живой вымысел не превращается, распадаясь на отдельные эпизоды, все подробности которых, опять-таки, не вытекают одна из другой, а только следуют одна за другой, узоры рисуют, узоры вымысла, подобные узорам речи, с постоянным господством выговариваемого сейчас над тем, что было и будет, и тем самым искусства слова над искусством вымысла.

Позже Ремизов и сам понял, что не романист он, не

эпический поэт, а сказитель, сказочник; а еще позже, что пересказать для него почти то же, что и рассказать. «Крестовые сестры» короче «Пруда»; «Плачужную канаву» так и не закончил. «Посолонь» была первой вполне ремизовской книгой. «Подорожье», «Докука и балагурье» (1913, 1914) были мои любимые до войны, до знакомства с ним, его книги. Вместе с напечатанной уже в Париже «Взвихренной Русью», это может быть лучшее, написанное Ремизовым. Но «Взвихренная Русь» и вообще стоит особняком. Ее первые сто страниц особенно; но и все дальнейшее записи наблюдений и воспоминаний — несравненный памятник первых после-октябрьских лет, где всего ярче сказалась непредвзятая зоркость ремизовского взгляда. Это и первая книга, которую я получил от него с изумительно начертанной, точно писцом посольского приказа при царе Алексее, дарственной надписью мне и жене. За ней последовали «Три сестры», затем «Посолонь» в новом издании, подаренная нам, как о том надпись говорит, в январе 33-го года «на Елку». В тот сочельник мы были в церкви с Серафимой Павловной и с ним, а потом угощались у него — или верней, у нее: на малороссийский лад— весьма затейливою снедью. И еще другие книги, пять или шесть, все надписанные столь же искусно, сохранились у меня, вплоть до «Круга счастья», вышедшего незадолго до его смерти. Пытался он и эту книжку, к восьмидесятилетию его вышедшую, также надписать, но по слепоте не смог. Чужою, женскою рукой мое имя выведено на ней, и к неудавшейся надписи на шмуцтитуле прибавлено: «Спасибо!».

За что, — об этом я еще скажу. Но замечу сперва, что все эти ремизовские надписи, вся каллиграфия его, все его бесчисленные рисунки, вырезки из цветной бумаги, грамоты и ордена «Обезьяньей палаты», раздававшиеся друзьям, — не какие-нибудь внешние причуды, а составная часть его писательского облика. Где это все теперь? Тот, кто займется им и полюбит его, не сможет остаться ко всему этому равнодушным. Нет и вообще другого нашего писателя, который в музее, памяти его посвященном, нуждался бы

более, чем он. Чтобы до конца понять его и принять, нужно иметь представление обо всех «околичностях» этих, да и обо всем его домашнем обиходе, о его ближайших друзьях — тех, кто снились ему в неизменно записываемых им снах — и уж, конечно, о необыкновенной Серафиме Павловне, прямо-таки испугавшей меня, когда я ее увидел в первый раз, необъятными размерами и неправдоподобно-розовым кукольным лицом («не заспала бы только щуплого своего супруга», бесчеловечно подумал я о ней), которую так нежно он любил и без которой доживал свой век так сиротливо.

Не все мне было совсем уж по душе, ни в этих книгах, ни в нем самом. Но всегда я думал, как думаю сейчас, что был он самым значительным, после Бунина, прозаиком нашего зарубежья, одним из крупнейших и вообще русских авторов этого столетия. Почти все его недооценивали в Париже вокруг меня; но это не относится к иностранцам, сколько-нибудь осведомленным о нем. Во французских «верхних» литературных кругах интересовались им намного больше, чем Буниным. По переводам догадывались о его своеобразии; личностью его обвораживались; молодые писатели его посещали; лучше журналы печатали его, или готовы были печатать.

К восьмидесятилетию Ремизова я написал (для восьмой книги журнала «Опыты») приветствие — тридцать строк всего — в московском немножко духе, — в его собственном больше, чем в своем. За них-то он меня перед смертью последней своей книжкой и отблагодарил. Их в заключение воспроизвожу, потому что и теперь, через двадцать лет — стилизацию и праздничный тон оставляя в стороне — не отрекаюсь от сказанного ими.

«Есть дешевая слава и есть дорогая — та, что покупается дорогой ценой, ценой отказа от всего, чем достигают быстрой, громкой, широкой и дешевой славы. Бывает, попутно с дорогой, улыбнется писателю и слава подешевле, но если он искал ее улыбок, пусть и довольствуется ими: большего ему неоткуда ждать. Ремизов улыбок не искал, спины перед

читателем не гнул, ни с каким спросом не считался. Зато, когда Россию еще не переименовали, и когда было ему сорок лет, а не восемьдесят, как сейчас, уже дана ему была та слава, что только и достойна называться славой, и был он признан теми, от кого такое признание зависит одним из первых русских писателей своего времени. Славу эту он с тех пор не растерял, а приумножил; уже и на Западе, если знают нашу литературу, не мыслят ее без Ремизова. Мы же, малая горсть, рассеянная по свету, тех, кто еще вслушивается в слово и отличает почерк от машинной скорописи, мы его чтим и славим за пристальность взгляда, за строгую взвешенность речи, за мудрое владение сокровищем нашего языка. Имя и отчество его мы повторяем про себя с любовью; помним: те же они, что того царя, при котором увяла вязь да узорочье, и углем рдели в сибирской стуже аввакумовы буйные письмена.

Слава Алексею Михайловичу!

Ремизову слава!

На все времена, пока жив будет русский язык».

Сочельник у Ремизова

В тридцать третьем году, в Париже, пригласили нас, как я уже упоминал, жену и меня, Серафима Павловна и Алексей Михайлович по-киевски отпраздновать с ними сочельник, как не празднуют его ни в Петербурге, ни в Москве. Сперва мы вместе отстояли предрождественскую службу в соборе на улице Дарю. Найти их там было нетрудно. Серафима Павловна высилась над толпою холмом, занимая место по крайней мере трех молящихся. Алексей Михайлович, щуплый, сутуленький, взъерошенный, и до плеча ей не доходил, хворостинкой казался рядом с ней или каким-то скрюченным подвеском, только что отстегнутым от ее пояса. Когда впервые увидел я их вместе, глаз от них оторвать не мог. Большего контраста и представить себе нельзя, чем

тот, что был между ними. Она — светлорусокудрявая, белорозовая, с изящными ручками и кукольно-миловидным, слегка подрумяненным и сильно напудренным лицом — в память той хорошенькой хохлушки, какой она некогда была; огромная — по недоразумению; по замыслу — миниатюра. Не великанша, а шестнадцатилетняя невеста, пораженная молниеносным элефантиазисом. Держит себя, однако, подстать размеру: величественно. Ручку для поцелуя дарует, как императрица, мужа заслоняя (жаль, что в этом глаголе слона-то ведь, собственно, и нет). Красавицей себя подает, а он — уродцем. Прибедниваться любит, казанским сиротою и в церкви стоит, держится чаще всего в одинаковом расстоянии от шутовства и от надрыва. Говорить обыкновение имеет вкрадчиво; а она — высокомерно, и глядеть с достоинством, вот как и сейчас на Царские Врата. Искренней она, пожалуй, в повадке своей была, чем он. А ведь любил я все же Алексея Михайловича; Серафиму Павловну, каюсь, не любил.

Но вот кончилась служба и мы отправились все четверо на такси в Булонь (спускаться по лестницам метро Серафиме Павловне было слишком трудно). Не помню их тогдашней квартиры. Они переезжали не раз до того, как осесть на последнюю для них обоих — улица Буало, номер 7 — образ которой застилает для меня все прежние. Помню только, что стол в главной комнате был максимально раздвинут и заставлен всевозможными тарелками и блюдами с разнообразнейшей снедью, на добрую половину никогда мной прежде и невиданной. Преобладали диковинные на мой петербургский взгляд марципанные ватрушки и цукатом утыканные пироги, «мазурками» называемые (или в этом роде, ей Богу не вру), печь которые поляки научили малороссиян , так что Серафима Павловна сама все это выпекла, не без помощи, правда, действовавших под ее руководством более молодых и проворных женских рук. Подобное у нее и в предпасхальные дни происходило. Кто пасху заправлял, кто куличи, кто яйца красил, да и соответственный товар в подарок хозяйке приносил. Она ведь ученая женщина была, курс славяно-русской палеографии в Высшей Школе Восточных Языков читала. Ученицы у нее были, а у Алексей Михайловича к литературе более или менее причастные молодые поклонницы или женатые поклонники. Всех их к производству, а затем, конечно, и к потреблению праздничных этих угощений и приспособляли. Алексей Михайлович, сколько помнится, особым сластеной не был; зато Серафима Павловна, хоть и положено ей было, хоть она воздерживаться и пыталась, больше чем несколько дней прожить без сладкого не могла. Тихо начинала плакать. Алексей Михайлович бежал в кондитерскую. Пять-шесть пирожных она съедала в один присест.

А еще была у них совместная забота: ссорить между собой молодых, или не столь уж молодых, своих друзей, нарушать их душевное спокойствие ревностью, завистью, вожделением и мало ли еще чем, намекая, что такая-то влюблена в того-то (самого слушателя) или что такой-то назначил свидание некоторой особе, которой он никаких свиданий не назначал. Получалось весело, но для играющих, а не для тех, кем они играли, и кто порой переставал у них бывать. Вел игру Алексей Михайлович, но мне всегда казалось, что зачинщицей ее была Серафима Павловна, после смерти которой игра как будто и прекратилась.

На улице Буало, без нее, приходилось плохо Алексею Михайловичу; с каждым годом все хуже; приближался он с каждым годом к полной беспомощности и слепоте. Обходиться никак бы не мог без людей, продолжавших его посещать и ему помогать: ссорить их друг с другом было бы неразумно. Да и подобрел он, по-моему. Одна осталась у него игра, от которой не мог он отказаться, которую он быть может и не замечал. Об одном актере (немецком) было сказано, что он и в жизни продолжал играть — самого себя. Так и Алексей Михайлович не переставал играть Ремизова — на людях, а быть может и наедине с собой. Переигрывал иногда, это именно людей и раздражало. Но ведь подлинный был все же и писатель, и человек. Нельзя этого забывать. Да и как же было, особенно в последние его годы, не

только сквозь книги (та же игра!), но и в игре умирающего актера не почувствовать этой его живой души.

Есть у него запись в дневнике за два месяца до смерти: «Что-то во мне других возмущает. Однажды, не помню у кого, за обедом мы оказались соседи с Федором Кузмичем Сологубом. Помню я был в таком своем веселом расположении. Сологуб, не обращавший внимания на соседство со мной, вдруг отчетливо повернулся ко мне, как к провинившемуся школьнику (он был преподавателем городского училища). С нескрываемым раздражением спросил: — Почему вы все врете? И я, словно разбуженный, растерянно смотрел, ничего не отвечая. И что я мог ответить?»

Что ответить? Читаю, и задумываюсь тоже. Особенно задумываюсь над этим «словно разбуженный». Играл Алексей Михайлович, играл самого себя — как во сне — и его разбудили. Да и снами он людей сердил, выдуманными или нет, причем и разницы тут большой не было, потому что невыдуманные становились в пересказе снами того самого «сочинителя», игреца, сновидца, которого так грубо разбудил когда-то Сологуб. И «веселое расположение» раздражало. В той же записи записано, как Гершензон, при последнем свидании с ним, в Берлине, в 22-м году, сказал ему:

— Вы над всем смеетесь. Ни Гершензон, ни Сологуб не были полностью неправы. И все-таки я любил Алексея Михайловича, всегда в нем очень большого писателя видел и дорога мне осталась его память. Если хотите его полюбить и вы, достаньте книгу Натальи Владимировны Кодрянской, «Алексей Ремизов», вышедшую в Париже в 1960-м году, где напечатаны поздние его записи, письма к ней, разговоры с ней… Она как и переводчик его на французский язык, Н. Резникова — для него, одинокого и больного, очень много сделала, и он благословлял ее из самой глубины своего существа. Читая эту книгу, за которую благодарить ее должна русская литература, вы полюбите Ремизова — не только сквозь жалость, но и сквозь восхищение, сквозь преклонение. Какой святой и каторжный труд! Какое чувство слова и какая к нему любовь! Подвижником

подлинным он был, совершая свой писательский подвиг. Играл, покуда мог, других «разыгрывал», но писательством было и это. «Сочинял», но ведь на то «сочинителем» и был. Прихожу раз к нему, вижу на его столе обломок мраморной крышки какого-нибудь ночного столика или комода конца прошлого столетия. «Это, — говорит он, хитро улыбаясь, — Сергей Константинович Маковский в Греции побывал, вот мне и привез. С Акрополя, кусочек Парфенона». Знал, конечно, что никто ему не поверит. Да и в Грецию Маковский вовсе не ездил.

— Алексей Михайлович, браво! Это в ваше полное собрание сочинений должно войти.

Полупророк, полупублицист

Это — воспоминания, или клочки воспоминаний. Но это и критика. Я ведь о пишущих пишу. Не сумел я, да и не хочу отделять их от их писаний. Они для писаний этих и жили; сами бы не захотели после смерти быть отрезанными от них. За них ведь и на Страшном Суде придется им держать ответ. А мой суд — не страшный. Это даже не суд потомства. Это всего лишь суд современного им читателя.

Из всех выдающихся русских писателей, не пожелавших остаться в России после «Октября», самым старшим и самым известным на Западе был Мережковский. Прославился он там еще до войны 14-го года своей переведенной на все языки трилогией исторических романов, особенно вторым из них «Воскресшие боги», центральной фигурой которого был Леонардо да Винчи. Но имя его и независимо от этой книги было известно повсюду, и повсюду он слыл самым крупным русским литературным критиком нового века, написавшим, в частности, самую авторитетную книгу о двух величайших писателях России, Толстом и Достоевском. Нынче на Западе как будто уже и думать перестали, что репутация эта в свое время была заслуженной; романы его, включая и трилогию,

забыты; даже и люди, профессионально занятые изучением русской литературы, его не знают, и многими его современниками гораздо больше интересуются, чем им.

Следует, однако, поставить им это в вину. Из истории русской литературы Мережковского не выкинешь. В ее новом расцвете к началу нашего века он сыграл очень большую роль. Он был одним из главных, если не главным, европеизатором ее в годы, когда ей угрожал странный, еще никем полностью не объясненный выпад из Европы, когда засасывало ее куда-то, в русскую, очень русскую, но от этого не менее глухую глушь. Ни поэзии нашей Мережковский не обновил, ни прозы (если думать об искусстве прозы); зато всему дальнейшему двери настежь отворил — не стихам как стихам, не прозе, а всей литературе в целом; и критерии оценки («Вечные спутники», книга о «Современном состоянии русской литературы») обновил предпосылки всякого писательства. Уже нерусские темы двух первых его романов для этой новой открытости Западу характерны («Петр и Алексей» слажен крепче, но ничего на общеевропейский вкус убогого нет и в двух других).

Горизонт расширился. Дремлющие проснулись или отодвинуты были в провинциальное полубыггие. Темп развития литературной и всяческой вообще духовной жизни почти до чрезвычайности ускорился. Двух десятилетий оказалось достаточно, чтобы эта жизнь — на вершинах ее, по крайней мере — полностью обновилась, и чтобы стали в прошлое отходить те, кому обновлением этим она была обязана. Уже за два или за три года до войны позволительно стало думать, что основную свою задачу Мережковский выполнил, после чего, конечно, оставалось для него — отвлеченно рассуждая — возможным найти в себе корни для непредвиденного нового цветения. Этих корней он не нашел; возможность эта не осуществилась. Более двадцати лет прожил он в эмиграции, написал за это время много книг, — не все эти книги я прочел, прочтенные, может быть, слишком низко оценил, но в целом, я думаю, всем стало ясно, что судьба Мережковского совершенно обратным образом сложилась по сравнению

с судьбою Бунина, который все свое лучшее написал за рубежом. Мережковский все свое лучшее написал в первой половине жизни, не намного более короткой, чем жизнь Бунина. Да и в этом лучшем — еще до войны, в России, как раз когда за границей он прославился — стали ощущаться трещины, пробелы, пустоты... В пионеры он годился, но не в «классики»: не такие книги, как его, будут и правнуки читать. «Вечным спутником» его себе представить едва ли можно.

Ревностным читателем, рано охладевшим к нему, был я сам. Отчего бы мне и не рассказать для примера об этом охлаждении.

Шестнадцати лет с упоением я его читал. На письменном выпускном экзамене тема нам была предложена «Казаки в изображении Гоголя и Льва Толстого». «Сочинение» мое принесло мне пятерку. Дорого бы я дал, чтобы теперь в пожелтевшую тетрадку эту взглянуть! Так начитался я Мережковского, за год, что насовал повсюду — это единственное, что я помню — совершенно не подходящих для сюжета антитез. Все различия противоположностями сделал; «идеи» — самые, конечно, ходульные — вложил туда, где на них не было и намека. Очень остался горд. Но уже вскоре после того в магазине Вольфа на Невском увидел очередной том выходившего тогда двенадцатитомного, кажется, в синих переплетах, «Собрания сочинений». Перелистнул его; против титульного листа помещена там была фотография Дмитрия Сергеевича. Он сидел в своем кабинете в кресле, под немалых размеров скульптурным распятием на стене за ним. Посмотрел я на портрет, и отложил в сторону книгу; не купил. Спросил себя: Достоевский или Владимир Соловьев снялся бы под распятием, разрешил бы вклеить такой снимок в свою книгу? Как же этот их наследник неловкости не ощутил? Или все эти высокие мысли в его писаниях — так только, письменность одна? И тут же иссохли, бумагой стали для меня вездесущие его и всеобъемлющие антитезы. Я надолго перестал Мережковского читать.

Не такой уж, однако и тогда я был вертопрах, чтобы всякое уважение к нему утратить. Рад был познакомиться с

ним, лет через пятнадцать после того, в Париже (в России видал я его только раз, слушал как он читал — хорошо, но с излишним ораторством мысли, еше более, чем языка — о Некрасове и Тютчеве). Рад был приглашению Зинаиды Николаевны бывать у них по воскресеньям. Несколько раз был, потом перестал бывать. Не понравилась мне претензия обсуждать высоко-философские вопросы в обществе людей, большинство которых были вполне неспособны какие бы то ни было заслуживающие внимания мысли по этим вопросам высказывать. Когда-то, в Петербурге, у Мережковских бывали другой породы гости. Эти заменяли тех; с этими играли, как если бы эти и были те. Говорить на темы более конкретные, и тем самым «низкие», а тем более и вовсе «бытовые», не полагалось; Мережковский пресекал такие разговоры возгласом «обывательщина!». Однажды, когда мы расходились, он, однако, — уже в прихожей — спросил Адамовича, где тот купил свою новую шляпу. Я едва удержался, чтобы не рявкнуть глухо, как это делал он: «Обывательщина!». Кажется именно с того воскресенья я на этих воскресеньях бывать и перестал.

Для России, в свое время, он сделал много. В нем было, несомненно, много замечательного. Даже и пророческий дар был ему присущ, но невнятный, наглядности лишенный. «Полупророк, полупублицист» — писал о нем Розанов Зинаиде Николаевне, в неизданном письме, после ее смерти хранившемся у Злобина. До 14-го еще года написал он статью «Грядущий хам», где ущерб европейской цивилизации предвиден правильно, но где не указано никаких осязаемых качеств этого ущерба. Совершенно ясно он увидел, что «Октябрь» не одной России принес угрозу духовного оскудения; но совсем не разглядел, что Муссолини, а затем Гитлер были такие же, только навыворот октябрята, как Сталин или все прочие прямые наследники «Октября». Странным он был непроницательным — провидцем. Контуры одни рисовал, только их и понимал.

Благообразен и тонок был внешний облик его, но и тот казался каким-то двумерным, бумажным. Думалось: по-

ложишь ему руку на грудь, и плашмя упадет он на спину. Тяжкий грех был бы его обидеть. И посмеяться над ним был бы грех. Но принять его совсем всерьез, со всей бездной вверху и внизу, с «Атлантидой», Египтом, «Тайной трех» казалось все-таки невозможным. Дунешь, и улетит все это — как в одной сологубовской сказочке — вместе с ним самим, в сквознячок, в сквознячок...

А в общем Марина Цветаева была все-таки права, когда сказала в 38-м году (Ю.П.Иваск упомянул об этом в своих воспоминаниях о ней): «У Мережковского есть серьезность. Больше того: есть сущность».

Салон Мережковских

Лишь вкратце упомянул я в предыдущей моей статье о воскресеньях на улице полковника Бонне. Стоит кое-что к сказанному прибавить.

В начале 1925-го года, всего через три-четыре месяца после моего приезда в Париж, издатель-редактор еженедельника «Звено», Максим Моисеевич Винавер и жена его, Роза Георгиевна, устроили у себя в Пасси довольно многолюдный прием, где наиболее почитаемыми гостями были Дмитрий Сергеевич Мережковский, Зинаида Николаевна Гиппиус, его жена, и Василий Алексеевич Маклаков, бывший российский (временного правительства) посол в Париже, знаменитый адвокат и товарищ Максима Моисеевича по кадетской партии. Просторная гостиная была уже полна гостей когда вошли Мережковские — тут-то я их, кажется, впервые и увидал. Его я, впрочем, видел много лет назад, в Петербурге, — издали, в Тенишевском зале; ее не видал вообще никогда, хотя она, несомненно, присутствовала на той тенишевской лекции. Но вот теперь, только что войдя, поглядела она в лорнет и, выскользнув из кольца окружавших ее гостей, устремилась с улыбкой на лице по диагонали прямо ко мне в противоположный угол комнаты. Прибли-

зившись, снова поднесла лорнет к глазам, но сразу же перестала улыбаться и, отвернувшись от меня, под прямым углом отошла в сторону. Позже выяснилось, что она приняла меня за Маклакова, хотя я и был на четверть века моложе его и навряд ли являл хоть какое-нибудь с ним сходство Зинаида Николаевна была близорука, но на людях никогда не появлялась в очках или пенсне, да и лорнет подолгу никогда не держала у глаз. Оттого ошибка и произошла; и оттого, что ей очень хотелось (не знаю уж почему) очаровать в тот вечер Маклакова.

Через несколько минут я был представлен Дмитрию Сергеевичу и ей, но тут появился опоздавший немного Маклаков, так что я не успел ни от нее услышать, ни ей сказать ни слова. Был, однако, замечен, не только как человек того же, примерно, роста, что и Василий Алексеевич, но и как некая пишущая единица младшего возраста: недавно прибывший из России сотрудник «Звена». То есть кто-то был ею выспрошен обо мне, после чего я получил синенькую «пневматичку» — парижское экстренное письмо — с приглашением на «чашку чая» в ближайшее воскресенье и, помнится, с упоминанием о «воскресеньях» вообще, куда тем самым открывался мне отныне доступ. Написаны были эти несколько строк острым, четким, на Зинаиду Николаевну чем-то похожим, женским и неженским почерком.

Пятьдесят шесть лет ей тогда было. Сухо и легко годы эти она несла. Молодилась, подкрашивалась, очень тщательно и немножко чопорно одевалась, но делала все это на свой лад и всегда салонно, ни на малейшую капельку не будуарно. «Салонно» — да ведь и был у нее в Петербурге много лет подряд, не «светский» какой-нибудь, но все же и «светскости» требовавший, литературный, самого первого разряда, салон. И не то, чтобы «один из» — другого, того же разряда, не было и вообще в России. И всегда он был именно ее салоном: ее салоном для Дмитрия Сергеевича, но которым управляла все-таки она. По ее замыслу, думается мне, Дмитрий Сергеевич должен был быть звездой, несменяемой ни при каких, даже гениальных гостях, звездой этого салона; сама же она — бессменною его хозяйкою. Без нее салон не мог существовать; без Дмитрия Сергеевича (по ее мнению) он не имел бы смысла. Конечно, здесь, в Париже, тот прежний петербургский, в доме Мурузи, был невосстановим. Здесь была возможна лишь тень его, но и тени этой надлежало подчиняться тому же незыблемому закону. Она и подчинялась. Зинаида Николаевна пеклась об этом, но от этого тень еще решительнее становилась тенью. С одной стороны, выполнять задание становилось слишком легко: посетители салона стали в среднем как бы меньше ростом, светом светились неярким, быть звездой среди них стало уж чересчур легко; а с другой стороны не звездился столь ярко, как прежде, Дмитрий Сергеевич, и мне, например, но и не одному мне, казалась Зинаида Николаевна и хозяйкой салона, и его звездой.

Мережковские, как и Винаверы, жили в Пасси, в старой своей парижской квартире на улице полковника Бонне, где живали, иногда подолгу, и до революции. Обставлена она была довольно приятно, хоть и банально — что касается столовой и гостиной; в кабинете Дмитрия Сергеевича, к сожалению, не пришлось мне побывать: гости, приходившие по воскресеньям на литературные приемы, туда не допускались, а если и допускались, то я этой чести не дождался, потому что, побывав на трех или четырех воскресеньях, перестал на них бывать. Отчего же перестал? Оттого что чувствовал себя на них как-то неловко. Между хозяевами и гостями ощущал какое-то несоответствие; какую-то искусственность в разговорах, которые здесь полагалось за чайным столом, или перейдя в гостиную, вести. Старшие писатели — Бунин, например, — появлялись на этих приемах редко. Насколько помню, я там ни разу не встретил ни одного. Старшими были одни хозяева, а все гости — людьми моего поколения. Чаще всего это были так называемые «молодые поэты» — те же самые или часть тех же самых, что по вечерам заседали в монпарнасских кофейнях и там себя вели гораздо непринужденнее, чем

здесь. Там у них тоже были «старшие», но не по возрасту, а по литературному положению или престижу: Адамович, прежде всего, или его ближайшие литературные друзья — Георгий Иванов, Оцуп. А здесь и они превращались в таких же «младших», какими были все прочие. Философы, Бердяев, например, бывавшие в Петербурге у Мережковских, здесь у них не бывали, а разговоры велись высокофилософские, а то и богословские, и притом в особом ключе, предполагавшем согласие в области основных установок мысли, тогда как на самом деле не только его не было, но не было даже и ясности в умах «молодых поэтов» насчет того, с чем же, собственно, предполагалось, что они согласны. Мыслителями ни в какой степени они не были; на патетические вопрошания Мережковского отвечали сплошь и рядом крайне простодушно, а то и вовсе невпопад. Я молчал. Нарочито-приподнятый тон беседы скромность мою принуждал к молчанию. Мережковский поминал через каждые два слова Будду, Христа, Сократа, Платона, но, увы, платоновских диалогов из всего этого не получалось и само глубокомыслие или высокомыслие Мережковского казалось мне деланным и даже сомнительным. Его лучше было слушать, когда он ни от кого никаких реплик не ожидал, а с Зинаидой Николаевной лучше было беседовать с глазу на глаз; но этой степени добрых отношений с ней я — в отличие от Адамовича — не достиг, да и ни разу не сумел поговорить с Дмитрием Сергеевичем, пусть и не на житейские темы — это он называл «обывательщиной» — но без ходулей, без надсада: запросто. Очень скоро совсем невыносимыми стали для меня такие его возгласы, как — «Вот Адамович говорит… А в Евангелии сказано… Так с кем же вы, с Адамовичем или со Христом». Если бы он меня такое спросил, я бы, вероятно, ответил: «Не знаю, Дмитрий Сергеевич, надо подумать». Или, может быть, просто, до всяких рассуждений: «Со Христом». Но ведь проку от этого все равно ни для кого бы не получилось...

Бунин сквозь мглу воспоминаний

Прочел я еще раз — в который раз? — «Митину любовь», и задумался. Как хорошо! Как неистребимо хорошо. Ни сучка, ни задоринки. Совершенство; живое совершенство. Ранит, но и каждым словом врачует. Пометка в конце: «14 сентября 1924. Приморские Альпы». Значит, окончена была повесть за месяц с неделей до приезда моего в Париж. Вскоре после того, — вероятно, в следующем году — я повесть эту и прочел. С восхищением, таким же, как и теперь, как и при всех перечитываниях, но с восхищением удивленным. Вот именно, удивленным — я ведь Бунина совсем не знал. И не то я хочу сказать, что познакомился с ним лично только в Париже и уже после прочтения «Митиной любви». Это так, но дело не в этом. И тут уж пора читателю моему удивляться: и как писателя, до отъезда моего за границу, я Бунина почти не знал.

Почти. «Господина из Сан Франциско» читал, оценил, как и все вокруг меня, чьему вкусу доверял. Но, например, «Деревню», «Суходол», пусть и задним числом, так и не удосужился в России прочесть, прочесть до 24-го года. И самое имя Бунина, а уж тем более поэта-Бунина, вовсе не импонировало мне, а звание академика отталкивало, или расхолаживало, в лучшем случае. Так что узнал я Бунина уже в эмиграции. Тут и все прежнее его прочел и все новое, печатавшееся им, из чего «Жизнь Арсеньева» восхитила меня всего глубже. Рядом с этим личное знакомство мое с ним в счет не идет. Тем более, что близким знакомство это не было: разница лет слишком была велика и не окупалась никаким сходством жизненного опыта, вкусов, интересов. О впечатлениях от личного знакомства я кое-что в свое время рассказал; ничего особенно яркого в них нет, и прибавить мне к рассказанному нечего. Интереснее будет — мне кажется — если я нынешним читателям Бунина расскажу, отчего я так поздно стал его читать, и в какой литературной перспективе представлялся он, поначалу, не только мне, но и людям моего поколения, моей выучки, да

и поколения постарше — между бунинским и моим — воспитавшим в значительной мере взгляды и вкусы моих сверстников.

В эмиграции перспективы смешались, размежевания стерлись. «Современные Записки» унаследовали читателей и сотрудников как «Весов» или «Аполлона», так и сборников «Знание», где Бунин некогда мирно соседствовал с Горьким и с такими авторами, на которых ни «Весы», ни «Аполлон» и рецензий-то никогда не помещали. Редакторам «Современных Записок» были знаньевцы куда более сродни, чем Брюсов или Гумилев, но иные сотрудники их журнала, Адамович, например, в петербургские свои годы интересовался Буниным, думается мне, не более, чем я сам, а москвич Муратов ценил, боюсь, Анри де Ренье больше всех отечественных нового века романистов. Всего проще, на грубость решившись, будет сказать, что мы «снобировали» Бунина: знаньевец, мол, стародавнего толка стихотворец, описатель деревенских нравов, пожалуй и вообще «описатель» (Зинаида Гиппиус придумала это словцо) больше, чем писатель, похвалишь его, так, пожалуй, потребует от тебя, чтоб ты и Серафимовича или Сергеева-Ценского хвалил. Мережковский, хоть его и старше, а все-таки с нами: там же, где Брюсов и Сологуб, где Вячеслав Иванов, Белый, Блок. Им и читать-то Бунина совсем неинтересно, как, разумеется, и Мандельштаму, Ахматовой, Пастернаку. Чтение «Господина из Сан Франциско» немножко образумило меня; но все же присутствие Мережковского в Париже мне на первых порах гораздо знаменательнее казалось, чем присутствие Бунина. О Мережковском я где-то тогда написал, что он — епископ в послании (или партибус) русской литературы. О Бунине мне и в голову не приходило что-нибудь подобное подумать или сказать.

В Париже, однако, все это быстро переменилось. Но совсем не под влиянием знакомства с Буниным, а вследствие прочтения «Митиной любви», потом «Солнечного удара» и особенно мною любимой «Иды» (оба эти рассказа

были написаны в 25-ом году). Бунин — в отличие от Ремизова, например, — не принадлежал к тем писателям, знакомство с которыми многое может прибавить к их книгам или многое в них раскрыть. Он прекрасно рассказывал, когда был «в ударе», но писал все-таки еще лучше. Все самое своеобразное и глубокое, что в нем было, что было в его мысли, в его чувстве жизни, он вкладывал в свои писания, и, прежде всего, в самый язык, в словесную плоть этих писаний. В его точках и запятых было больше ума, чем в суждениях, литературных или других, высказываемых, первыми попавшимися словами, в случайном разговоре. В точках и запятых, то есть в строе, токе и ритме писательской его речи, и уж конечно, в выборе слов, а, значит, и эмоционально-интеллектуальных оттенков выраженных ими. Зрелости он достиг поздно, лет сорока, сорока пяти, но, когда достиг, тут-то старые наши размежевания и оказались недействительными по отношению к нему, тут-то и выяснилось, что именно он был настоящим обновителем нашей прозы — не по линии Лесков — Ремизов или Гоголь — Андрей Белый, а по самой центральной ее линии: Тургенев — поздний Чехов (с оглядкой на Толстого). Русская проза в целом после Бунина должна была бы стать более внимательной к звукосмысловой своей ткани, к интонации, к поступи фразы, чем до него. Этого не случилось, по причинам внелитературным, хоть и очень для литературы тягостным; но не Бунина это умаляет. «Жизнь Арсеньева» вместе со всем прочим, написанным после «Господина из Сан-Франциско» и тем более после «Митиной любви», остается, по своему письму, то есть по качеству речи, уроком и заданием не для какого-нибудь литературного «течения», ожидаемого в будущем, а для русской прозы вообще.

Тургеневские «Стихотворения в прозе» — примитив, рядом с книгой Бунина «Божье древо», с такими ее страницами, как «Первый класс», «Телячья головка», «Студент», «Благосклонное участие». Чеховская проза «Архиерея» или «В овраге» — не примитив, но ткань ее все же менее плотна, менее плотно-выразительна, чем у Бунина. А вступление к

«Хаджи-Мурату» Бунин написал бы лучше — решусь сказать — чем Толстой: чуть подсократил бы и убрал (вообще-то у Толстого очень редкие), слишком очевидные «красоты». Сильнее всех воспоминаний моих об Иване Алексеевиче — память о том восхищении, с каким читал я «Митину любовь», или «Жизнь Арсеньева», или «Темные аллеи». И почему только память? Восхищение это живо и сейчас; светятся для меня бунинские страницы, и в их свете я автора их вижу. Сквозь мглу воспоминаний — безразличных, а то и критических немножко — светится мне и он сам, писательством своим сияет. Приятно мне помнить, что хорош он был собой и в старости. Это у меня связывается с качеством его слога. Как и приветливость, которую проявлял он ко мне и к тому, что я тогда писал, связываю я невольно с моей любовью к его книгам. Кажется, понимал он, что я «хорошо», то есть с пониманием, его читаю, что никогда не придет мне в голову поставить его на одну доску с Андреевым или — как до сих пор это делается — с Куприным. Знал я немножко Ивана Алексеевича и, конечно, рад, что его немножко знал. Но важно для меня теперь, больше, чем через двадцать лет после его смерти, не это, а то, что Буниным он был, и что я, при его жизни, был понятливым его читателем.

Триумф

Немножко более полувека назад, осенью 33-го года, была присуждена Бунину Нобелевская премия. Это было важным событием в жизни зарубежной (как и вообще русской) литературы, хоть и событием, конечно, внешним. Настоящим событием, настоящей датой в истории русской литературы было появление «Жизни Арсеньева». Незадолго до того вышла первая часть «Истоки дней», в 1930 году, вторая часть, «Лика», вышла в 39-ом. Однако внешнее событие это большинством русских за рубежом воспринято было все же как триумф русского зарубежья, и

порадовало самого Бунина, как материальной своей стороной (ему жилось трудно), так и прежде всего, нужно думать, моральной. Это был для него знак международного признания.

Он был в кинематографе, у себя в Грассе, на юге Франции, когда пришла телеграмма из Стокгольма. Его разыскали в темном зале. Радость близких была велика. Тем более, что до последней минуты казалось возможным, что премия будет присуждена Мережковскому. Кандидатура Горького была в Стокгольме отклонена, об этом знали, но Мережковский оставался соперником Бунина до конца, хоть и не полностью уверенный в своей победе. Передавали, что он предлагал Бунину заранее сговориться о дележе премии пополам, но что Бунин на этот дележ не согласился. Возможным считалось также, что сами шведы пожелают разделить премию между Буниным и Мережковским. Этого не случилось. Нобелевским лауреатом суждено было стать на 64-ом году жизни Ивану Алексеевичу Бунину.

Перед тем как отправиться в Стокгольм, он приехал в Париж, где мы все, русские парижане, радостно его встречали. В «Последних Новостях» — главной парижской газете — появился ряд статей, в том числе и моя. По его просьбе, переданной мне через Андрея Седых, в то время сотрудника «Последних Новостей», исполнявшего в эти хлопотливые дни должность бунинского секретаря, я составил список главнейших шведских писателей того времени и перечень наиболее известных их произведений, на случай, если бы в Стокгольме зашла о них речь или они сами явились бы поздравить Ивана Алексеевича. По части скандинавских литератур осведомлен я был плохо. Записочку, врученную лауреату, составил по справочникам, наскоро. Не знаю, пригодилась ли ему она. Рад был во всяком случае самого его видеть помолодевшим, повеселевшим. Он приоделся, но костюм не сидел на нем обновкой, а просто вернул ему облик, ему подобающий. Зато прямо-таки по его настроению, еще до отъезда в Стокгольм, можно было заключить, что денег ему хватит ненадолго.

Как странно теперь об этом вспоминать! Суетой все это кажется, хоть отнюдь не досадной, милой, добродушной суетой. А вот «Жизнь Арсеньева» суетой не была, и тогда мне суетою не казалась. Поэзия — а книга эта именно поэзия не типографский шрифт: когда оживает при чтении, она становится живее самой жизни. И долговечней. Давно нет на свете Ивана Алексеевича, который жизнь так мучительно любил; скоро не останется никого из тех, кто при жизни сочувствовал его славе и любил его творения; а в самих творениях этих все трепещет вложенная в них жизнь и будет трепетать, будет воскресать, покуда не переведутся люди, способные услышать ее трепет и ответить ему, разогреть эту жизнь собственным живым теплом.

В литературе только то по-настоящему и важно, что превышает литературу, отменяет ее историю, сводит к суете так называемую литературную жизнь. (Не одной ею, слава Богу, живут и сами литераторы.) Важно, что и Гомер еще жив и что в нас еще не исчезла сила оживить «Слово о полку» или «Песнь о Роланде». Важно не то, был ли Тютчев архаистом или «новатором» — он был и тем и другим, — а то, что через сто лет после смерти он в стихах своих для меня — и ведь не только для меня — живей живых. Оттого-то и стоит заниматься историей искусства, что оно не поглощается историей.

Однако, из русских старших современников моих — тут я к истории возвращаюсь — никто меня на мысли эти еще при жизни своей столь упорно не наводил, как именно Бунин. Пусть для истории и важно, на чьей стороне он в первой половине своей жизни пребывал, и как нетерпим всю жизнь оставался по отношению к тем (не одним только младшим), кто пребывал на другой стороне. Что и через тридцать лет после смерти Блока, он еще ненавидел Блока, т. е. Блока в его стихах; а через три года после его смерти памятку ненависти этой оставил в той же «Митиной любви», где, чтобы показать всю отвратность той литературно-театральной среды, куда попала Катя, он заставляет ее читать с эстрады одно из прекраснейших блоковских стихотворений

«Девушка пела в церковном хоре», и подчеркивает «манерность», т. е. вероятно певучесть (недекламационность) ее чтения. Но при всем том сама «Митина любовь», или «Дело корнета Елагина», и тем более «Жизнь Арсентьева», ничего общего с «Русским богатством» или сборниками «Знание» не имеет, и нисколько не менее обновительна эта проза в истории русской прозы, чем поэзия Блока в истории русской поэзии.

В истории. Но в силу лучшего, что они создали, оба они теперь над историей — и Бунин, и Блок. О Блоке чувствовал я это еще при его жизни, чувствовать стал и о Бунине после того как прочел «Митину любовь». Оттого-то и естественней для меня и отрадней помнить о Бунине сквозь его книги, чем с помощью моих скудных воспоминаний о нем самом. Но дорожу я тем, что перечитывая его, все-таки вижу человеческий его облик, и могу его любить в этом его облике. В облике этом много обликов соединилось, в том числе и предсмертный — за несколько месяцев до его кончины я видел его в постели, больным. Но из них всего охотней выбирает моя память тот, полвека назад, когда приехал он в Париж по дороге в Стокгольм, помолодевшим и счастливым. Он в Стокгольме скажет, что нужно — о том, что Академия увенчала изгнанника, о том, что свобода мысли и совести всего необходимее писателю, что для писателя она (как он выразился) догмат или аксиома.

А до этого, в Париже, мы, соотечественники, соизгнанники его, ему сказали, как он нам дорог и как мы рады за него и за себя. «Поздравляю вас, Иван Алексеевич, поздравляю!» Вот уж я искренно, без малейшей неправды это ему сказал. Жалею только, что не прибавил: хоть вы и выше всякой премии. Знал это и тогда. Да и тогда, увы, было мне ясно, что в европейскую литературу, или в мировую, премия эта Бунина не введет. Совершенно правильно пишет Глеб Струве в своей книге 56-го года о зарубежной литературе, что в иностранных литературных кругах, особенно английских и американских, присуждение премии Бунину вызвало некоторое недоумение: «Почему Бунин? Почему не Горький

или не Мережковский?» Их легче переводить, их обоих знали лучше за границей.

Прибавлю, что через переводы Бунина трудно и оценить, и что не оценен он должным образом и до сих пор на Западе. А в России? Боюсь, что и в России. Там он ждет еще настоящего своего прочтения. Но когда дождется, будет жив и долго останется живым.

Исчезновение Набокова

Он был мало сказать мастер; такой был он колдун и чародей, что именно исчезновением хочется назвать его кончину. Исчез, пожелал нас покинуть; захочет, вернется к нам. Но нет, не вернется. Не ему мне приходится сказать, совсем откровенно, все главное, что я о нем думаю.

Четвертого июля, в Испании, включил радио, и парижский диктор сказал: «В Лозанне умер Владимир Набоков, знаменитый американский писатель русского происхождения, автор «Лолиты», «Азы» и других романов, имевших большой успех и переведенных на многие языки». Выключил. Ощутил печаль и пустоту: а также досаду. Следовало диктору сказать «русский писатель, во вторую половину жизни писавший по-английски». Но конечно в Москве с ним настолько согласятся, что не скажут о Набокове ровно ничего.

Молодым его вспомнил. Не видел тридцать восемь лет. В переписке с ним не был. Но никогда не переставал ощущать его присутствия где-то там, в Америке, потом в Монтре; где-то там, в литературном сознании моем, в мыслях о нынешней, а не вчерашней, и о русской, прежде всего, литературе. Он был всего щедрей одаренным русским писателем своего поколения и самым выдающимся эмигрантским автором, из тех, что не успели прославиться еще в России. Не будь «Октября», он бы конечно не выселился из русского языка и стал бы, начиная с тридцатого года (когда печатался в

«Современных Записках» его роман «Защита Лужина») главным обновителем русской прозы. Но если б остался в СССР, ничего бы он не обновил, так как был бы до Бабеля выведен в расход, или приведен в негодность задолго до Олеши. В эмиграции ему точно также не дано было совершить того, что совершил бы он в безоктябрьской России, — сперва потому, что его книги только вне России и читались, а затем потому, что перестал по-русски он писать. До этого, однако, успел написать целый ряд никогда не безразличных и уже самим своим «письмом» замечательных романов и рассказов, завершив все это полуавтобиографическим «Даром» и совсем автобиографическими «Другими берегами», а также повестью «Пнин», самой русской из его английских книг. «Жизнь Арсеньева» я люблю больше «Дара», но никакую другую эмигрантскую и не бунинскую книгу я бы не поставил рядом с ней.

Переход Набокова в английский язык, которым овладел он в своем младенчестве даже и раньше, чем русским, — не преступление, и ставить ему такое решение в вину никто не имеет права, ни в России, ни в эмиграции. Да и вовсе не случайно, что самый западный изо всех русских писателей, любого века, так радикально на Запад и ушел. Но уход этот тем не менее большое несчастье, как для русской литературы, так и для него самого, — именно как писателя, а не в житейском смысле (тут обернулся уход большой удачей). Во-первых, его проза, и манерою письма, и характером вымысла, несравненно новей и обновительней в перспективе русской литературы, чем английской (или американской; но ничего собственно американского в его литературном искусстве нет). А во-вторых, западный литературный обиход середины XX-го века прямо-таки подсказывал ему то расширение границ изобразимого, которому наш в то время все еще сопротивлялся и которое его искусству пошло в ущерб, а совсем не впрок. Лучшая иллюстрация первого из этих утверждений — «Бледный огонь», у Шекспира заимствованным словосочетанием озаглавленная книга, частью в прозе, частью в стихах — превосходных, очень находчивых стихах, немнож-

ко в духе поэтов XVII-го века, больше всего Марвелла — необыкновенно сложно построенная, необыкновенно виртуозная, но и расхолаживающая этим своим блеском, слишком блестящим, слишком показным. Лучшим свидетельством в пользу второго служит не «Лолита», принесшая ее автору мировую славу и переведенная на множество языков, но более позднее, самое крупное по размеру произведение его, «Ада», которое вершиной его творчества не стало, хоть и похоже, что по замыслу предназначалось ею стать.

Невозможно усомниться в том, что слава, принесенная «Лолитой» автору, была бы менее широка, если б тема книги была другая и если б отсутствовали в ней те многочисленные описания, из-за которых, в еще не столь дальние времена, она продавалась бы только из-под полы или вовсе не была бы издана. Не может быть, чтоб и сам автор этого не сознавал. Так я подумал, когда впервые прочел «Лолиту», и я немножко пожалел Набокова: прежде ведь он о ширпотребе никогда не помышлял, и его требованиям ни в чем не шел навстречу. Но это я его «по человечеству» жалел, а литературно сразу же оценил «Лолиту» весьма высоко. Набоков конечно, в силу самой уже «западности» своей только литературную оценку литературных произведений и признавал, всегда литературу в литературе запирал, всегда отвергал применение к ней каких-либо других критериев, кроме литературных. В этом я, однако, ни с ним, ни с теперешним Западом не согласен. Прежде всего потому, что этику от эстетики до конца отделить нельзя, а затем и потому, что чрезмерная автономность литературных критериев вредит самой литературе.

Пол — огромной мощи подчеловеческая стихия, а Любовь, хоть и движет (по Данту) «солнце и другие звезды» никакой *материальной* силой не наделена. В земной человеческой любви оба эти начала соединены — нераздельно, но и неслитно. Выражение-изображение ее в искусстве не разрушает искусства — или по крайней мере человечности искусства — лишь покуда низкая стихия не подменяет в нем высокую, либо совсем зачеркивая ее, либо отрицая (пусть

и молча) различие между низким и высоким. В «Лолите» — и то лишь местами — всего только намечается путь к игнорированию этой разницы, но в дальнейшем ее автор именно по этому пути и пошел и весьма далеко зашел, как о том свидетельствует «Ада». Не так уж важно, в какой мере художник обнажает физическую сторону любви, хоть и есть мера, всякий разговор о ней отменяющая начисто. Гораздо важней, ради чего и в каком духе он это делает. «Лолита» остается музыкой, лишь по временам досадно заглушаемой чем-то вроде пиццикато скрипок, повторяющих: секси-секс, секси-секс, секси-секс. Это очень помогло тиражу, а искусству очень большого вреда не принесло. Зато в «Аде» почти вся музыка из одного пиццикато и состоит, так что начинает вскоре звучать совсем не музыкально, а все декорации, весь реквизит кровосмесительной этой оперы отличаются крайне меня у Набокова удивившей миллиардерской безвкусицей, бесстильного стиля «grand luxe», в котором нарисован и главный миллиардер, и его папаша, прозванный, в довершение всех роскошеств, «Демоном».

В беседе с испанским журналистом Солженицын назвал Набокова писателем гениальным, что делает честь Солженицыну и что, без сомнения, очень близко к истине. Набоков был гениально или почти гениально одарен, но наше время, при недостаточном сопротивлении ему, надломило его дар, полной зрелости не дало ему достигнуть. В русской литературе он бы этой зрелости достиг именно потому, что она от западной отстала.

Да и не мог он из нее выйти, и останется он *в ней.* Никогда он Россию не забывал. Просвечивает она во всех английских его книгах. И еще во второй половине жизни принес он ей два дара, о которых стыдно было бы русским забывать: свой комментарий к подстрочному переводу «Онегина» и русский перевод «Лолиты», несмотря на сказанное мной, самой зрелой его книги, и по которой лучше всего можно судить о его несравненном словесном мастерстве.

Над могилой его не солгу. Но жалею, очень жалею, что и недоброе кое-что пришлось мне о его творениях сказать.

Желаю им бессмертия. Я всегда его любил, всегда восхищался огромным его даром. Скорблю о его смерти и страстно хочу, чтоб о ней скорбела его и моя родина.

Лолита первая

С тех пор, как он умер, я часто о нем думаю. Перечитываю его книги. Перечел, например, и авторский перевод «Лолиты», вышедший в 1967-ом году. Книга мне понравилась теперь больше, чем десять лет назад, и больше, чем когда я читал ее по-английски, как только она появилась, еще в парижском издании 1955-го года. То досадное чувство заглушения эроса «сексом» теперь ослабело, не только потому, что уже не было в нем для меня ничего нового, но и потому, что «Ада» вызвала его у меня с удвоенною силой. Но вот чего я перечесть не мог, так это первую, коротенькую версию «Лолиты», написанную по-русски и озаглавленную не так. Напечатана она не была, и о рукописи ее автор сообщил, что она уничтожена, но в конце 1939 года, в Париже, он дал мне ее прочесть, и главные черты этого наброска — вполне отделанного, впрочем, и приготовленного для печати — ясно мне запомнились.

В послесловии к американскому изданию «Лолиты» 1958 года, которое я цитирую по русскому ее изданию, Набоков писал:

«Первая маленькая пульсация «Лолиты» пробежала во мне в конце 1939-го или в начале 1940-го года, в Париже, на рю Буало, в то время, как меня пригвоздил к постели серьезный приступ межреберной невралгии». Результатом явился, по словам Набокова, «рассказ, озаглавленный «Волшебник», в тридцать что ли страниц. Я написал его по-русски (...). Героя звали Артур, он был среднеевропеец, безымянная нимфетка была француженка, и дело происходило в Париже и Провансе. Он у меня женился на больной матери девочки, скоро овдовел, и после неудачной попытки приласкаться к

сиротке в отдельном номере, бросился под колеса грузовика. В одну из тех военного времени ночей, когда парижане затемняли свет ламп синей бумагой, я прочел этот рассказ маленькой группе друзей. Моими слушателями были М А.Алданов, И.И.Фондаминский, В.М.Зензинов и женщина-врач Коган-Бернштейн; но вещицей я был недоволен и уничтожил ее после переезда в Америку, в 1940-ом году».

Не все экземпляры этой рукописи (или машинописной копии) были, однако уничтожены. В книге о Набокове Эндрью Филда (Бостон, 1967) приведены, по-английски, две довольно длинные цитаты из «Волшебника» и поправлена ошибка его автора: в машинописном тексте рассказа не тридцать страниц, а пятьдесят четыре. Размер рукописи, некогда мною прочитанной, скорее к этому числу страниц приближался, чем к тридцати, но цитаты Филда — из коих одна относится к началу, а другая к концу рассказа — не совсем согласуются с тем, что сохранилось в моей памяти, да и заглавие мне помнится другое: не «Волшебник» (или «Маг», The Magician), а — весьма отчетливо — «Сатир». Жалею, что, прочитав книгу Филда, я об этом не запросил Набокова и с горечью говорю теперь уж поздно; в переписке с ним не был, беспокоить его не хотел; а пишу об этом нынче оттого, что вопрос, возникающий у меня, мог бы — так я надеюсь и такая возможность не исключена — разрешиться и посмертно.

Вопрос состоит в том, не читал ли я версию еще более раннюю, чем та, что поступила в распоряжение Филда и была озаглавлена по-новому; а интересно было бы узнать ответ на него прежде всего из-за одной подробности, которая незначительной может показаться лишь при самом крайнем верхоглядстве. Я говорю о возрасте той девочки, которая впоследствии названа была Лолитой.

Лолите, в начале романа, двенадцать (с несколькими месяцами) лет. Она достигла того, что так суконно зовется «половой зрелостью» и невинность свою отнюдь не сохранила, так что соблазнителя или похитителя ее (ни то, ни другое слово не вполне подходит) в «растлении малолетней» обви-

нить никак нельзя. Девочку-француженку, в «Волшебнике», и Филд, и сам Набоков называют двенадцатилетней, да еще и «нимфеткой», применяя к ней словечко, «Лолитой» введенное в обиход английского и французского языков. Не помню, безымянной ли была девочка в рассказе «Сатир», но твердо помню, что девочке этой было не более десяти лет, что совсем неосведомлена была она по части женско-мужских дел, оставалась невиннейшим ребенком. Герою того рассказа именно такие девочки и нравились. Первая глава показывала нам его в Париже, но не в Тюильрийском саду, как «волшебника», а в несуществующем нынче, но тогда существовавшем сквере между Сеной и церковью Сен-Жерве.

Сидит он там на скамейке и с вожделением посматривает не на грациозную конькобежицу (на роликах), как «волшебник», а на девочек, куда помоложе, с ведерками и совками, играющих на песочке. Описано было это посматриванье с редкостным мастерством, так что, если интенсивность описания ценить превыше всего, то лишь финал мог соперничать с этой увертюрой. Финал был катастрофичен — и до крайности неприличен; но катастрофой как раз и уравновешивалось это неприличие, — с точки зрения морали, как и с точки зрения искусства. Возвращая рукопись Набокову, я именно финал этот всего горячей и хвалил, заметив в то же время, что ни один русский журнал (я думал в первую очередь о «Современных Записках») последней страницы рассказа не напечатает. Он с этим не спорил, но и не сказал мне, что одному из редакторов «Записок» он свой рассказ уже читал. Прочел ли он Илье Исидоровичу и его друзьям — несколько позже — уже «Волшебника», а не «Сатира», и была ли новая версия последней страницы менее непристойно реалистична, чем первая, не знаю. Цитата у Филда относится к началу страницы, а не к концу. Слова Набокова о неудачной попытке «приласкаться к сиротке» ни о каких изменениях кривой усмешкой своей не оповещают, тем более, что заключительная катастрофа в «Волшебнике» оставалась той же, что и в «Сатире». О ней сообщали три последние строчки. О судьбе девочки не сообщалось ничего.

Фабула рассказа была и осталась лишь завязкою похожей на фабулу «Лолиты». В результате женитьбы «среднеевропейца Артура» на слабого здоровья вдове, француженке, и заранее им учтенной ее кончины, он получает в свою полную власть ее дочку, уже успевшую по-дочернему привязаться к нему. Он везет ее, как мне помнится, не на юг Франции, а в Швейцарию, останавливается в отдаленной от населенных мест гостинице, и когда утомленная дорогой девочка, прикорнув на двуспальной кровати, начинает засыпать, приступает к выполнению давнего своего замысла: пытается всерьез «приласкаться к сиротке». Та отбрыкивается, ничего не понимает, плачет, кричит... Получается не то, что нужно. Он в бешенстве накидывает халат на склизко запачканную пижаму, выбегает из комнаты, выбегает из гостиницы на большую дорогу. Его давит проносящийся мимо автокар или грузовик.

Так осуществляется в рассказе то, что поэтической справедливостью назвал Шиллер, никак уж не меньше тысячи лет тому назад, — и чего вполне достаточно, чтобы побудить любого не совсем арьергардного автора от такого финала отказаться. Чья стремительность, кроме того, не позволила бы превратить рассказ в роман. А бесспорная криминальность неудавшегося покушения еще и поссорила бы Набокова пусть и с находившейся уже при последнем издыхании цензурой. Ни многоопытность, ни предприимчивость юницы, получившей имя Лолиты, не сломили сопротивления англосаксонских издателей: названный ее именем роман был впервые напечатан полуподпольно в Париже, и лишь контрабандно перенаправляли его оттуда в Англию и Америку. Такое положение вещей продолжалось, однако, недолго. Цензура одряхлела и сошла на нет, а издатели смекнули: ведь и герой романа Гумберт Гумберт, короче гм, гм (что вероятно не ускользнуло и от автора), посажен был в тюрьму совсем не за то, за что мог бы туда попасть его предшественник Артур: не за Лолиту, а за убийство его соперника по части псевдо-растлений. Что же до усугубленной сравнительно с рассказом порнографии, то термин

этот вышел из употребления; должно быть уже и в словарях стоит после него отметка «уст.», а если нет, недолго ее ждать. Да и чем же верней повысить тираж, как не обстоятельностью известного рода описаний?

За всем тем, «Лолита» куда значительней, чем до-американский коротенький ее эскиз. Если б напечатан он был и этим дело бы окончилось, лишились бы мы несравненно большего, чем мы лишены теперь. Лишились бы последних — и лучших — глав романа, повествующих о замужней, о беременной Лолите (с каким надрывом! А еще их автор Достоевского бранил!) и о подлинно-любовных муках уже не эротоманствующего Гм Гм; но и прелестного, в других главах, персифляжа (прошу прощенья: и этого слова «по-русски» нет) американских нравов и привычек; да и многого другого. Книга эта, как о ней «в конечном счете» ни суди, останется навек самым зрелым произведением совершенно исключительно одаренного, редкостно блестящего русского писателя.

Русского? Во всяком случае, говоря «мы», я русских его читателей разумел. «Лолита», хоть и с легкими языковыми погрешностями, прекрасно — и для русской словесности плодотворно — переведена по-русски. О, если б нынешние русские прозаики сумели внимательно ее прочесть, какую для себя извлекли бы они из этого чтения пользу! Я даже глубоко убежден, что русская «Лолита» гораздо более крупное явление русской литературы, чем английская английской (или американской). Но именно поэтому так и хотелось бы мне, чтобы найден был текст ее первого наброска и опубликован по-русски. Да ведь это и последнее слово Набокова, накануне того, как передал он слово другому Набокову, — американскому романисту, родом из России. С «Лолитой» поучительно будет рассказ этот сравнить. Все преимущества окажутся, без сомнения, на ее стороне. Кроме одного. Конец рассказа изъявляет его смысл, «совестливый» его смысл — провал, омерзение, самоистребленье — в русской преемственности укорененный. Этого смысла в «Лолите» нет.

«Этот вечер был чудно тяжел»

Борис Поплавский был усерднейшим завсегдатаем Монпарнасса; в его кофейных проводил почти все свои вечера, а то и ночи напролет. Он жил в большой нужде; порой случалось, что ночь провести было бы ему и негде, если б не кофейни, открытые до первого метро. Это был выбор, однако, а не рок. Родители его жили очень скромно, но жили в Париже, и из дому его не гнали, но вместе с ними он жил лишь по временам. Предпочитал существование богемное, вольное, ничем не стесненное, кроме нищеты. До выхода его первой книги в 31 году, его отец, по его же словам, очень его любивший, даже и не подозревал, что он пишет стихи. Но на Монпарнассе русскими его друзьями стихи эти уже за несколько лет до того были полностью оценены. В том числе и поэтами постарше, совершенно иного толка: Адамовичем, Георгием Ивановым, Оцупом, благодаря которым он стал ближайшим к редакции постоянным сотрудником основанного им в 30 году журнала «Числа», где печатал и стихи свои, и прозу: статьи и неоконченный роман «Аполлон Безобразов», не менее заслуживавший внимания, чем стихи. Конечно, был он самым одаренным из, так сказать, родившихся на Монапарнассе поэтов, наименее эклектическим из них (за исключением Штейгера, пожалуй, и Одарченко, о которых речь впереди). Больше их всех он и жил в постоянном поэтическом кипеньи. Не хватало ему, если каждое стихотворение строго судить, много чего, но, «по человечеству» судя, только зрелости. Если б не погиб так рано — 32-х лет в 35 году — стал бы несомненно поэтом очень немалого значения.

Вотчто я писал 12 марта 31 года в газете «Возрождение» о вышедшей тогда первой книге его «Флаги»: «Поплавский — самый своеобычный из молодых поэтов, выдвинувшихся в эмиграции. В лучших его стихах сочетаются очень особенным образом воспоминания о раннем Блоке с влияниями французской поэзии, больше всего поэзии Рембо. Есть очень своя музыкальность и образованность в таких стихотворениях, как «Роза смерти», «Девочка возвратилась...».

«Черный заяц», «Мальчик и ангел», «Флаги». Лучше всех других, быть может, следующее стихотворение, из которого я привожу первую половину:

Восхитительный вечер был
полон звуков,
Голубая луна проплывала
высоко звуча,
В полутьме ты ко мне
протянула бессмертную руку,
Незабвенную руку, что сонно
спадала с плеча.
Этот вечер был чудно тяжел
и таинственно душен,
Отступая, заря оставляла
огни в вышине,
И большие цветы, разлагаясь
на грядках как души,
Умирая светились и тяжко
дышали во сне.

«Пятистопный анапест, которым написано стихотворение — наиболее характерный для Поплавского размер. Трехдольные метры вообще господствуют в его стихах, встречается и хорей, но почти всегда без ударения на первой стопе. Ямбом написано в книге только одно стихотворение, весьма неудачное; но любопытно, что и в нем ямбический размер — лишь видимость: стих тяготеет к так называемому четвертому пэону. Я останавливаюсь на этих технических подробностях не только потому, чтобы они интересовали меня в данном случае сами по себе, а потому, что с ними связано у Поплавского очень многое — и своеобразие, особенно звуковое своеобразие его стихов и основные их недостатки. Он так увлечен, так убаюкан немного расплывчатой их музыкой, что сплошь и рядом для него становится безразличным, каким словесным материалом заполнить эти ритмические периоды. С этим связана, вероятно, и редкостная неряшливость его языка. Ударения он ставит часто неверно (свад**е**бном, маг**а**зин). Он способен написать «серевеющий снег», его не коробят такие безвкусицы, как «энигматическая улыбка», или «античные руки атлетов».

«Неряшливость эта, разумеется, исправима, — писал я далее, — но угрожает Поплавскому и нечто более глубокое и опасное. Он недостаточно ответственен, способен любое слово, любой образ рассматривать лишь как безразличное украшение. В слишком неопределенную словесную ткань своих стихов он помещает имя Христа столь же по существу, как имена Гераклита или Эпиктета. В стихах самого последнего времени эта внутренняя анархия даже и усилилась. Если Поплавский не справится с ней, если он не овладеет своей поэзией и самим собой, он неизбежно погубит свое немалое дарование, потопит его в непросветленной путанице своей мысли».

В общих чертах я с этим моим отзывом, 45-летней давности, согласен и сейчас. Посмертно изданные сборники Поплавского отнюдь моей оценки не опровергают: «Флаги» остались лучшей его книгой. Проза его, правда, не менее интересна и талантлива, чем стихи; она ему прибавляет росту, но все же и она недосоздана, несовершенна, настоящей зрелости не являет, даже в лучших главах незаконченного «Аполлона Безобразова». Что же до посмертно опубликованных записей его, Бердяевым слишком высоко оцененных в его на них отклике, то и они слишком сумбурны, слишком много в них все той же «непросветленной путаницы», чтобы их можно было полностью принять всерьез. Стихи я, однако, в моей рецензии все же слегка не дохвалил, т.е. слишком подчеркнул их изъяны и недостаточно — их достоинства. Мне казалось, впрочем, что перечнем лучших стихотворений и выбором цитаты (удачном, как я думаю и сейчас) я хорошо дал почувствовать музыкальную пленительность длинных этих строчек — «Восхитительный вечер был полон улыбок и звуков»; нужно их петь, а от смысла только и требуется не мешать пению. Я даже так был увлечен долгим звучанием, что совершил ошибку (теперь мною исправленную): назвал анапест этот шестистопным. Затуманенность смысла музыкой, это бывает и у Фета или Блока. Правда, «энигматическими» они бы все же никаких улыбок не стали называть.

Неожиданным (для меня по крайней мере) во внешнем облике Поплавского была его коренастость и мускулистость, атлетическое его телосложение, которому отвечал интерес его к боксу, борьбе, ко всякому «спорту» вообще (в понимании нашего столетия). Стихи он читал немилосердно в нос и преувеличенно нараспев, хотя сам по себе распев этот был стихами оправдан.

Этот вечер был чудно тяжел
и таинственно душен,
Отступая, заря оставляла
огни в вышине...

Стихи-то все же хороши, можно сказать неотразимо хороши (совсем не вижу сходства с Игорем Северяниным или с Фофановым, которое увидел в них некогда Глеб Струве). Но в личном впечатлении от Поплавского самым неприятным для меня (да, может быть, и для многих) были его никогда им не снимаемые, большие, совершенно черные очки. Носил он их конечно не по велению врачей, а по собственному решению. Так что я в сущности никогда лица его не видел. Вот сейчас хочу вспомнить, думаю дружественно о музыке его стихов и о ранней его кончине, и вспоминаю, нечего и стараться, с полной ясностью его лицо, — но без глаз, увы, с черными стеклами вместо глаз; маска передо мной вместо лица. Самоубийство ли это означает — Бог весть. Может быть и не хотел он умирать. Может быть принял невзначай слишком много наркотического снадобья... Как бы то ни было, честь воздаю его праху. Мира прошу его истерзанной душе.

История одной эмансипации

Так была озаглавлена французская статья князя Димитрия Петровича Святополк-Мирского, напечатанная в 1931 году в сентябрьском номере «Нувель Ревю Франсэз», лучшего в те годы литературного журнала Франции. Эмансипацией князь назвал свой переход с эмигрантских позиций

на позицию лояльно-советского правоверного поклонника марксизма-ленинизма-сталинизма. Парадоксальность этого заглавия, как и самого выверта, обозначенного им, была, вероятно, одной из причин появления такой статьи в чисто литературном, искони чуждавшемся всякой политике журнале. Другими двумя причинами можно считать — зарождавшийся тогда на интеллектуальных верхах французского общества «комснобизм», т.е. снобистическое восхваление мнимых сталинских достижений, и высокую литературную репутацию Святополк-Мирского, приобретенную им в Англии, так как он жил там и писал по-английски, но хорошо известную и редакции французского журнала.

Репутация была вполне оправдана. Я оттого о Святополк-Мирском нынче и пишу, что перехожу от поэтов и прозаиков первой эмиграции к ее наиболее видным критикам. Среди них могло бы принадлежать Мирскому едва ли не первое место, если бы в 20-х годах писал он по-русски, а не по-английски, а на пороге 30-х не впал в идеологическое идолопоклонство, приведшее вскоре к возвращению его в Советский Союз.

Главное произведение его до впадения в идолопоклонство была по-английски написанная двухтомная история русской литературы, состоявшая из двух, поначалу отдельно изданных книг: о русской литературе и о современной русской литературе, начиная с 80-го года — года издания «Исповеди» Толстого, которую, как литературное произведение Мирский первый по заслугам оценил. Эта его история русской литературы — замечательная книга, самостоятельная, живая, основанная на собственном чтении и собственной оценке всех обсуждаемых в ней произведений. Почему-то с большим опозданием — лет на сорок — но переведена она была на все главные европейские языки, кроме, само собой разумеется, русского. Никто ее и до сих пор не заменил, и ничего с ней сравнимого ни на каком языке за все эти годы написано не было. Очень недурна и его английская книга о Пушкине, которую мне пришлось рецензировать в свое время, хотя свойственное ее автору

своеволие, недалекое порой от озорства, чаще проглядывает в ней, чем в истории русской литературы. Чертой этой отмечена и «Русская лирика» — небольшая, комментированная антология, выпущенная им по-русски в Париже в 1924 году. Книжка эта, однако, тоже еще никем не замечена и, в общем, превосходна как по выбору стихотворений, так и по кратким замечаниям о них.

Мирский был лет на пять старше меня. В первые мои парижские годы я встречал его изредка на редакционных собраниях еженедельника «Звено». Он появлялся на них, когда приезжал из Лондона в Париж. Я питал к нему уважение и симпатию, хоть и заметил в нем некоторый излишек самоуверенности и склонность удивлять собеседника парадоксами, немножко порой и пустыми. Но было это до того, как он стал редактором недолговечного парижского журнала «Версты», который предвещал уже кое в чем будущий поворот руля на 180 градусов со стороны его кормчего. Не вышла тогда еще в свет и книга англичанина Карра о Достоевском, в предисловии к которой Святополк-Мирский заявил, что хотя Достоевским заниматься и стоит, но, что большего внимания заслуживал бы Чернышевский, романист куда более значительный. Статья во французском журнале «История одной эмансипации» была завершением эмансипации этой во внутреннем мире Мирского, начавшейся уже давно. «Эмансипация» значит ведь, собственно, переход от неволи к воле, освобождение от рабства. Любопытно и, конечно, очень грустно, что он соизволил так назвать свое отречение от свободы, свое приятие рабства, — идеологического поначалу, из которого выход был еще открыт, а затем и вполне реального: меньше, чем через год после опубликования этой статьи и жизнеописания Ленина, необыкновенно хвалебного, выпущенного им в Англии, был он уже в Москве, где встречен был, однако, далеко не так радушно, как ожидал и где прожил до ссылки своей за Урал, не знаю точно сколько времени, но кажется три года.

Там, где-то в Сибири, в лагере или на поселении, и погиб. Да уже и в Москве… Дали ему кое-что напечатать, в частности, книгу о тогдашних английских писателях, со многими из которых он дружил и которых теперь он выставил в очень неприглядном свете. Но этим и кончилось. Милости прекратились. Свора ругателей лаяла все громче. Интересно, оставался ли он до конца верен взглядам, высказанным в предотъездной своей статье. Ничего достоверного об этом мы, вероятно, не узнаем никогда.

Статья начиналась с огульного осуждения русской эмиграции. «Подобно Бурбонам, — писал Святополк-Мирский, — русские эмигранты ничего не забыли и ничему не научились. Но безоговорочное сравнение между русской эмиграцией и французской было бы несправедливо в отношении последней. Мысль французских эмигрантов была источником всех реакционных идеологий XIX века и нашего времени. Русская эмиграция не породила ничего подобного. Ее духовная бесплодность была полной. Она довольствовалась тем, что изготовляла ложные сведения, предназначенные питать антисоветскую пропаганду».

Так писал Святополк-Мирский в 1931 году. Бывшим друзьям его, евразийцам, достается в его статье не меньше, чем другим эмигрантам. «Вычурность евразийских идей была такова, — пишет он, — что можно было с полным основанием спросить себя: что это, шутки, переставшие быть смешными, или печальный симптом умственной неуравновешенности?» «На самом деле, — продолжает Мирский. — евразийцы были типичным продуктом того мистического и метафизического возрождения в кавычках, которое свирепствовало в России после поражения революции 1905 года». Можно подумать, что под «эмансипацией» он разумел свой отход от евразийства, историософской концепции или конструкции, которой и я, например, вовсе не сочувствовал. Но нет. Он с новых своих позиций осуждает все то культурное обновление русской жизни, из которого сам он вышел, без которого он своей же собственной истории русской литературы не сумел бы написать. Отрекаясь от того, что зовет он метафизикой и мистикой, дикарски придавая этим словам ругательный смысл, по образу ленинс-

кой «поповщины», Святополк-Мирский, превосходно образованный человек, отрекался от себя. Творения Ленина ему заменили всю ту духовную пищу, которой питался до того, как ему исполнилось сорок лет. И еще способствовали его обращению, по его словам, другие «совершенно необходимые», как он выразился, книги: «Воспоминания» Крупской о ее муже и «Основы ленинизма» товарища Сталина. Это, говорит он, «мастерское изложение идей учителя его лучшим и величайшим учеником».

До того дошло ослепление князя Димитрия Петровича, что приветствовал он в конце статьи начавшуюся великую русскую аграрную революцию, — ту самую, что, после возвращения князя в Россию истребила, можно сказать на его глазах и самым зверским образом миллионы русских крестьян. Поклонился он Сталину и Сталин раздавил его, как таракана, вероятно, даже не услыхав легкого хруста под каблуком.

Пассионария-поэт

«Проклятье вечное тебе, четырнадцатый год!» Этот стих Ходасевича мог бы быть и стихом Цветаевой: она, как и он, войны не прославляла. И за годом этим последовало то семилетие — семь страшных лет, по слову Блока — в конце которого не просто от болезни, а в согласии с нею и с судьбой страны, умер Блок и был расстрелян Гумилев. Таково было начало первой в мире Великой Социалистической Октябрьской революции. А в дальнейшие ее годы, повесился Есенин, застрелился Маяковский, был замучен в лагере Мандельштам, и повесилась — такой был оказан ей прием — Цветаева.

Не сладко ей жилось и в эмиграции. Печатали ее в парижских журналах и газетах неохотно. От нее отмахивались; ее не понимали; ее не спасли: никто и пальцем не пошевелил, чтобы удержать ее, умолить ее не возвращаться в Россию. Вероятно, и не умолил бы никто, да и все

напуганы были отступничеством ее мужа. А все-таки… Но, как бы то ни было, — это мы здесь, имеем право о нерадении нашем жалеть, себя упрекать. Там, на ее и нашей родине, никто этого права не имеет. Голодала она, не фигурально, а буквально, только там — до отъезда и после возвращения. Совсем не могла печататься только там. Не в Париже повесилась: в Елабуге.

Не вся эмигрантская критика, но парижская, в большинстве своем, недооценивала ее. Недооценивал и я (прежде всего потому, что недостаточно знал ее стихи), покуда в 34-ом году не познакомился с ней и не почувствовал тотчас, что такой человек, как она, не может не быть подлинным и значительным поэтом. Об этом я уже писал, нет повода к этому возвращаться; и это, конечно, не значит, что все причины моего отрицательного отношения — не ко всем, (этого никогда не было), но ко многим ее стихотворным произведениям, тем самым оказались устранены. Проза ее, всегда меня восхищавшая, мне и нынче гораздо более по душе, чем семь восьмых ее стихотворений (включая и поэмы), а трагедия «Федра», например, о которой я в 20-ых годах отзывался неблагоприятно, и теперь меня не радует. Зато те стихотворения и те страницы более крупных стихотворных вещей, которые я в ту восьмушку включаю, теперь, когда я много лучше прежнего в Цветаеву вчитался, радуют меня еще больше и ставлю я их очень высоко.

Тут, однако, требуется оговорка, и притом двойная. Радоваться чему-либо в искусстве, любить это что-то — одно; ставить его очень или не очень высоко — другое. Можно ставить произведение высоко, и вместе с тем не ощущать желания его перечесть, не испытывать влечения к нему. И, с другой стороны, оценка поэта (или другого художника) в Целом — вполне субъективная оценка («для себя»), как и стремящаяся быть объективной — вовсе полностью не зависит от числа его произведений, тобою любимых, или Даже признаваемых тобою ценными. Цветаева как раз такой поэт, которого ты можешь и ценить и любить даже сквозь такие его произведения, которых ты почти не лю-

бишь и менее, чем другие ценишь. Именно сквозь: почувствовав однажды центр, ты уже ни к какому отрезку периферии равнодушным не останешься; а почувствовать это срединное — впервые почувствовать — можно порою и не в чтении, а в жизни. Вот почему мне тогда и довелось, увидев поэта, в самой случайной беседе самую ненарочитую речь его услыхав, приоткрыть для себя дверь в его поэзию.

Думаю о том, как жилось ей в Москве до отъезда, когда муж ее был в белой армии, на Дону, потом в Крыму, на Перекопе, одной, с двумя маленькими дочерьми, из которых младшая в 20-ом году умерла от голода, не дожив и до трех лет, а о старшей, Але, рассказывал мне Ходасевич, что однажды — как раз, нужно полагать, в год смерти ее сестрички — разговаривал он с ее матерью, сидя возле круглого, покрытого тяжелой плюшевой скатертью стола, — долго разговаривал, как вдруг из-под скатерти выползла на четвереньках совсем голая четырехлетняя Аля с большой костью в руках, которую она до тех пор тихонько под столом глодала. Думаю о безрадостной жизни Цветаевой уже и в Праге, а потом все более безрадостной, с каждым годом, в Париже, а к концу и хуже, чем безрадостной.

Жаль мне ее. Но и восхищает она меня так, что лишь немногие из ее стихотворений сами по себе восхищают меня в той же мере. Какое мужество, какая сила духа, какое бесстрашное упрямство быть собой, — до конца неразменность, цельность, твердость! Какая способность не только нести страдание, которого столько выпало на ее долю, но и страданию противостоять. И почти всегда — какая прозорливость! 2-го марта 17-го года, наперекор всероссийским дурашливым восторгам: «Помолись, Москва, ложись, Москва на вечный сон!». Этой строкой кончается первое стихотворение «Лебединого стана». Соотечественникам ее, России не покинувшим, стихотворений этого цикла и теперь, больше, чем через полвека, читать не дают, но сама Цветаева, в те годы, читала их в Москве публично. Не «белым» читала — хоть в их славу написала, — а «красным». Позже вспоминала (в статье «Поэт и время»): «Когда я однажды

читала свой «Лебединый стан» в кругу совсем неподходящем, один из присутствующих сказал: — Все это ничего. Вы — все-таки революционный поэт. У вас наш темп». Дело тут не в одном темпе, и не в бесчеловечной сути революции, а в том, что тогда (Блок, например) неправильно называли этим словом: в восстании, которому ответило восстание против восстания. Поэзия восстания и контр-восстания — та же. Цветаева, воспевая контр-восстание, не в успех его верила (показав и этим свою прозорливость), а в его правду, в его право и в его подвиг. Воспевая Дон и, позже, Перекоп, — а в 38-ом году, кончая переписывать эти стихи в тетрадку, написала: «сам перекопец (то есть, ее муж) «к Перекопу уже остыл» (увы, — немного больше чем остыл»). Она была, в стихах этих, гражданским поэтом — сильней ее, ни в какие времена, гражданского поэта у нас не было. Два, быть может, и вообще сильнейших стихотворения, те, восхищаясь которыми я уже вовсе отказываюсь различать восхищение поэзией от восхищения поэтом, это «Новогодняя» 22-го года, и то, помеченное 17-ым марта 18-го года, которое сама Цветаева, в переписке на полях, назвала своим любимым:

Кто уцелел — умрет,
кто мертв — воспрянет.
И вот потомки, вспомнив
старину:
— Где были вы? — Вопрос
как громом грянет.
Ответ как громом грянет:
— На Дону!
— Что делали? — Да
принимали муки.
Потом устали и легли на сон.
И в словаре задумчивые
внуки
За словом: долг, напишут
слово: Дон.

И подумать только, что Пассионарией у нас увлекались увлекался даже Г.П.Федотов. Вот наша Пассионария-поэт В стане победителей такого не было.

Римлянин Гоголь

Вряд ли есть в Европе страна, чья литература не была бы так или иначе связана с Италией, и не только книгами и через книги связана, но и личной судьбой авторов этих книг. Итальянское путешествие Гете знаменует решающий перелом в его жизни, как и в его творчестве. Нельзя не вспомнить об Италии, когда читаешь Байрона или Шатобриана. Стендаль на своем надгробном камне именует себя жителем Милана, а не французским писателем. Китс умер в Риме и погребен, — как и Шелли, утонувший недалеко от Пизы, — на римском протестантском кладбище. Можно было бы привести много других имен, в том числе и русских: Баратынский скончался в Неаполе; роман Достоевского «Идиот» был закончен во Флоренции, и здесь же возникли первые наброски «Бесов». Не странно ли это? Ничем как будто не связаны с Флоренцией ни Достоевский, ни его герои. Да ведь никак она в его произведениях и не отразилась. Встречи не произошло. Вот у Гоголя в отношении Рима — другое дело. Была встреча; остался и след ее — незаконченный полуочерк, полурассказ. И не девять месяцев, как Достоевский во Флоренции (после первого кратковременного пребыванья), а почти шесть лет с небольшими перерывами прожил Гоголь в Риме. Совсем римлянином стал! Изучил город, любил разыгрывать чичероне, показывать его красоты и древности приезжим; дружил с художниками, работавшими здесь, с Александром Ивановым прежде всего. Восторженные письма отсюда писал, утверждал, что душа его тут родилась. Прожил тут и в самом деле едва ли не счастливейшие дни своей жизни, те, когда писалось лучшее из написанного им. Лучшее? Уж не «Рим» ли это? О нет, отрывок этот никто никогда к лучшим вещам его не причислял. В том-то и странность, что писал он здесь нечто глубоко противоположное и повести этой своей, и самому городу Риму. Не просто чуждое Флоренции, а нечто находящееся в предельно резком контрасте с тем, что как раз самого Гоголя в Риме пленяло и восторгало. Остается

лишь удивляться тому, как мало удивлялись этому до сих пор...

* * *

О себе скажу, что когда я в Риме, я всегда нет-нет да и подумаю о Гоголе. Наглядишься, бывало, с верхушки Испанской лестницы на то, как в небо взлетает и покоится в небе купол св. Петра, да и начнешь медленно спускаться по улице, образующей с двумя продолжениями своими вытянутую по шнуру каменную просеку, которая, опускаясь и поднимаясь с холма на холм до самой Санта-Мария Маджоре, перерезает старый папский город. Прорубить повелел ее в конце XVI века папа Сикст Пятый, в честь которого и называется она Сикстинской, но в гоголевские времена звалась она «Счастливой» — «виа Феличе» — и, спускаясь по ней, редко забывал я остановиться против дома номер 126 и взглянуть лишний раз на мраморную доску, прибитую между двумя его окнами в 1901 году заботами, как на ней указано, русской колонии в Риме.

Здесь-то, в этом доме на счастливой улице, на третьем этаже Гоголь и прожил, не считая непродолжительных отлучек, с октября 1837 до мая 1843 года. Здесь писал он «Мертвые души». Начал он их правда, еще в России, но продвинул ненамного, да и первые две или три главы, написанные там, подверглись в Риме коренной переработке. Можно сказать, что почти целиком первую часть своей «поэмы» он если не задумал, то создал именно здесь. Так что, в сущности, — каждый раз себе это говорю и каждый раз дивлюсь, — из ворот вот этого самого дома и выехала бричка, на которой ездят господа средней руки, с Селифаном и Петрушкой на козлах; в этом самом доме на третьем этаже и родились (хоть и не здесь были зачаты) и Манилов, и Коробочка, и Плюшкин, и дама приятная во всех отношениях, и губернатор, вышивающий по тюлю, и сам Павел Иванович Чичиков.

Сикстинская улица стала в нашем веке нарядной и шумной. Однако гоголевский дом скромней соседних, изменился

он, по-видимому, очень мало. Глядишь на него и думаешь: этот дом — это еще патриархальный папский Рим, тот Рим, где настоящее ничем не мешало прошлому, не отгораживало от него разноплеменных посетителей, не заставляло их глядеть на это прошлое как на музейный экспонат, красующийся если не в реальной, то в неизбежно воображаемой, примышляемой к нему витрине. Пойди налево, направо, спустись немного ниже, поднимись на следующий холм — всюду фонтаны, дворцы, колоннады, купола, фронтоны, а за ними другие, далекие века. Они с тобой, ты в них живешь, ты все дальше уходишь в них с каждым шагом. И что же? Все ведь это понапрасну. Все Коробочку ты встречаешь утром, когда выйдешь погулять между Тритоном, радостно мечущим вверх водную струю и великолепной громадой палаццо Барберини: — «Может быть понадобится птичьих перьев? У меня к Филиппову посту будут и птичьи перья!» — А на площади Квиринала, возле Диоскуров, где сияет вдали тот же купол, увенчивающий Рим, тебе слышится голос Ноздрева: — «Брудастая, с усами; шерсть стоит вверх как щетина; бочковатость ребер уму непостижимая; лапа вся в комке — земли не заденет!» — Или на крутой тропе, что ведет меж пиний и кипарисов от говорливых мраморов Форума к тенистому молчанью Палатина, Собакевич, наступив тебе на ногу, «входит в самую силу речи»: — «А Пробка Степан, плотник? Я голову прозакладую, если вы где сыщите такого мужика! Ведь что за силища была! Служи он в гвардии, ему бы Бог знает что дали — трех аршин с вершком ростом!»

Все эти слова и голоса звучали для него здесь — возле Траянова столпа, у пирамиды Кая Цестия, на Латинской, на Аппиевой дороге. И не Цицеронов и Цезарей, не Иннокентиев и Климентов, не Орсини, не Колонна были имена, что ему приходили тут на ум, а совсем другие:

— Бобров, Свиньин, Канапатьев, Хорпакин, Трепакин, Плешаков...

— Богатые люди или нет?

— Нет, отец, богатых слишком нет. У кого двадцать душ, у кого тридцать; а таких, чтоб по сотне, таких нет.

Чичиков заметил, что он заехал в порядочную глушь...

А Гоголь? Живя вот здесь, между Обелиском и Тритоном на via Sistina, в городе, которому нет равного на свете, он из этой глуши не выезжал. Его гений не давал ему выехать из нее, забыть ее, изменить ей. Был бы он, может быть, и не прочь ее забыть... Рим полюбил всей душой. Знал его хорошо. Гимны ему пел. Не на шутку захотелось ему нечто «римское» в Риме написать. Почему бы не родиться в этом сикстинском доме сказанию совсем другого рода, с вплетенными в него мыслями, образами, героями гораздо более подходящими к этому городу и дому? Да и стало оно рождаться. Но удивительное дело: так-таки все же и не родилось.

Задумал здесь Гоголь в 1839 году написать «Аннунциату», «итальянскую повесть», то есть повесть, чьи герои были бы итальянцы и чье действие протекало бы в Риме. Два года спустя, он от этого замысла отказался и ограничился тем, что из уже написанного выделил «отрывок», озаглавил его «Рим» и послал в журнал «Московитянин», где и был он напечатан в 1842 году, незадолго до выхода в свет первой части «Мертвых душ». Белинский, как известно, остался «Римом» недоволен, отчасти по соображениями «идейным» (что уже в то время означало политическим), а отчасти по чисто литературным. Осудил он в этой «статье», как он характерным образом называет отрывок все же повествовательный, не только «косые взгляды на Париж и близорукие взгляды на Рим», но и «фразы, напоминающие своею вычурной изысканностью язык Марлинского». Насчет косых и близоруких взглядов Гоголь вполне резонно (хоть и вряд ли вполне искренне) заметил в письме к Шевыреву, что взгляды эти принадлежат не ему, а его герою, римскому князю, которому позволительно не разделять мнений Белинского о Париже и о Риме; что же касается «фраз», не то, чтобы вычурности, а безвкусной напыщенности их, то тут защититься было бы Гоголю трудней.

«Попробуй взглянуть на молнию, когда, раскроивши черные как уголь тучи, нестерпимо затрепещет она целым

потопом блеска — таковы очи у альбанки Аннунциаты. Все напоминает в ней те античные времена, когда оживлялся мрамор и блистали скульптурные резцы. Густая смола волос...» — Так начинается повесть. Передохнем немножко, пропустим несколько строк. — «...Полный голос ее звенит как медь. Никакой гибкой пантере не сравниться с ней в быстроте, силе и гордости движений. Все в ней венец создания, от плеч до античной дышащей ноги и до последнего пальчика на ее ноге...»

В таком же роде описана далее и внешность самого князя, «несущего свои черные очи, метатели огней из-за перекинутого через плечо плаща, нос, очеркнутый античной линией, слоновую белизну лба и брошенный на него летучий шелковый локон».

Нет уж, увольте! Все эти «античные» линии и ноги, «гибкие пантеры» и слоновые лбы, все это отзывается больше еще, чем Марлинским, стихами Бенедиктова, столь прославлявшегося в то время, а нам напоминает пародии на них Козьмы Пруткова. Если что погубило итальянскую повесть Гоголя, то это именно такая, претящая самой своей красивостью, красовитая, разукрашенная «красота».

Гоголь и вообще разницу между красотой и красивостью чувствовал плохо. Гениальны у него не «Чуден Днепр» и не знаменитая «Тройка» — «Эх, кони, кони!.. Чуткое ли ухо горит во всей вашей жилке?» — А когда до античных времен доходит дело или до «стройного согласия красоты, чувство которой зарождено уже в груди у итальянца», как сказано в той же повести, то уж тут совсем неизвестно, захочет ли читатель последовать автору и доверчиво вместе с ним «удалиться под сень струй». Само это предложение Хлестакова Анне Андреевне: — «Для любви нет различия, и Карамзин сказал — законы осуждают. Мы удалимся под сень струй», — что и говорить, в своем роде гениально, при условии, однако, не принимать этих слов за чистую лирику. Когда Гоголь искушался ею, изменяло ему порой даже чувство языка, столь неслыханно острое в лучших его созданиях.

При всем том, есть в римском отрывке превосходные, вполне достойные Гоголя страницы. Есть, как признал и Белинский, «удивительно яркие и верные картины действительности»; есть любовь к Риму и к римской жизни, выраженная с большой силой; но, увы, как только появляется красавица Аннунциата — «взглянувши на грудь и бюст ее уже становилось очевидно, чего не достает в груди и бюстах прочих красавиц» — все идет насмарку, и невозможная красовитость снова зачеркивает и Рим, и римскую жизнь, и все, что Гоголь полюбил, живя вот тут, на этой старинной и такой характерно римской улице, в доме, где посещало его и совсем иное вдохновенье. Совсем иное? Да, конечно. И все же посещало оно того же Гоголя. А если подумать не о первой только части «Мертвых душ», но и о замысле их продолжения, тоже ведь назревавшем тут же в Риме, станет ясно, что речь должна идти не столько о различии двух произведений, одно из которых Гоголю не удалось, сколько о глубоком, о губительном изъяне, о червоточине, проникшей в самую сердцевину огромного гоголевского дарования.

Вспомним записи Анненкова о его жизни с Гоголем вот здесь на третьем этаже; о работе Гоголя над своей поэмой, которая шла так ровно, так счастливо на Счастливой улице.

«Почти каждое утро, — пишет Анненков, — заставал я его в кофейной, отдыхающим на диване после завтрака, состоявшего из доброй чашки крепкого кофе и жирных сливок, за которые почасту происходили у него ссоры с прислужниками кофейной; яркий румянец пылал на его щеках, а глаза светились необыкновенно. Затем отправлялись мы в разные стороны до условленного часа, когда положено было сходиться домой для переписки поэмы. Тогда Гоголь крепче притворял внутренние ставни окон от нестерпимого южного солнца, я садился за круглый стол, а Николай Васильевич, разложив перед собой тетрадку на том же столе поодаль, весь уходил в нее и начинал диктовать мерно, торжественно, с таким чувством и полнотой выра-

жения, что главы первого тома «Мертвых душ» приобрели в моей памяти особенный колорит. Превосходный тон этой поэтической диктовки был так истинен в самом себе, что не мог быть ничем ослаблен или изменен». Когда же дошло чтение до описания сада Плюшкина, Гоголь даже встал с кресел, — повествует Анненков, — «и сопровождал диктовку гордым, каким-то повелительным жестом. По окончании всей этой изумительной шестой главы я был в волнении и, положив перо на стол, сказал откровенно: «Я считаю эту главу, Николай Васильевич, гениальной вещью!» Гоголь крепко сжал маленькую тетрадку, по которой диктовал, в кольцо и произнес тонким едва слышным голосом: «Поверьте, что и другие не хуже ее».

Больше века прошло с тех пор, но волнуемся и мы, особенно если в Риме доведется нам вспомнить этот рассказ; только хочется нам крикнуть, в разногласии с Анненковым: Николай Васильевич, другие главы лучше! Все в живой записи этой с полной ясностью развернуто перед нами — и счастливая римская жизнь в пору полного расцвета сил, и торжественная плавность чтения, подчеркивающая значительность каждого слова, звука, ритмического хода, смыслового оттенка, и эта упоенность собственным творением, столь для Гоголя характерная и связанная как с вернейшими победами его гения, так и со срывами, от которых и самый этот гений его не уберег. Не то, чтобы не было у него критического чутья и критического отношения к собственным писаниям, но критика эта являлась у него, по-видимому, слишком поздно, и приводила не столько к поправкам, сколько к полному зачеркиванию написанного, а то и к отказу от выполнения дорогих ему когда-то замыслов, — гордых, но неосуществимых замыслов, вроде преображения Чичикова и всего чичиковского мира: ад, чистилище, рай по образцу Дантовой Комедии. Порой, даже независимо от таких совсем уже недоступных ему полетов, он от некоторого переигрывания или от подслащивания, когда переигрывание замечал, удержаться был не в силах. Не совсем свободна от этого и та шестая глава «Мертвых душ», что во вдохновенном чтении его так восхитила Анненкова. Это относится особенно к начальным лирическим ее страницам, но переигран отчасти и сам Плюшкин, в отличие от Ноздрева, Коробочки, Собакевича, а затем не без сентиментальности смягчен. И уж особенно переигрыванье это угрожало Гоголю там, где искушала его ходульность, принимаемая за возвышенность, и красивость, казавшаяся ему красотою. Тут-то и появлялись у него «венцы создания» и «гибкие пантеры». А когда вспомнишь о картинах в гостиной Собакевича — «Маврокордато в красных панталонах и мундире с очками на носу, Миаули, Канари… Все эти герои были с такими толстыми ляжками и такими неслыханными усами, что дрожь проходила по телу», — пожалуй, и поймешь, почему сожжена была вторая часть «Мертвых душ». Нельзя же об этаких героях, как нельзя и о самом Собакевиче или Чичикове *всерьез,* как о «южной красе» и об «античной дышащей ноге» альбанки Аннунциаты…

Здесь, в это счастливое время, на звавшейся «счастливой» улице была создана одна из удивительнейших книг, какие есть на свете, но и был завязан решающий узел в трагической судьбе Гоголя.

После Белинского

Осенью, не помню точно какого года, между 13-ым и 16-ым, приват-доцент Петербургского Университета Пиксанов объявил курс лекций по истории русской критики, а студент Вейдле, хоть и на другом отделении факультета учился, решил его послушать и пошел на первую лекцию. Энергичного вида, худощавый молодой доцент быстрыми шагами вошел в аудиторию и громким голосом начал: «Русская критика» — победоносно взглянул на слушателей — «делится на два периода» — сверкнул глазами — «период до Белинского» — кулаком ударил по столу — «и период после Белинского». Студент Вейдле, благо от двери неда-

леко сидел, встал и вышел. Лекций Пиксанова больше не посещал.

Дело было в ударе кулаком. Отчего бы, думал студент, и не начать лекции о Волге напоминанием о том, что она впадает в Каспийское море. Но провозглашение этой истины с такой энергией только и могло бы значить — либо, что, по мнению говорящего, он высказывает ее впервые (но тогда нельзя было делать его доцентом), либо, что Каспийское море для этого не простая география (например, если он родом из Астрахани, где его семья торгует рыбой). Вероятно и Белинский, думал я, ударом кулака утвержден был неспроста. Дальнейшая карьера приват-доцента подтвердила эту догадку полностью.

Мое поколение, как уже и предшествовавшее моему, было к Белинскому несправедливо, осуждая, однако, при этом не столько его, сколько все то, что началось с него. Место в истории профессиональной нашей литературной критики завоевал он себе, конечно, раз навсегда; никто не оспаривал. До него интересного в ней (не просто для истории русской литературы интересного) было мало. Зато, думалось нам, не было и Писарева или Добролюбова; это он их породил, тем хуже для него. Интеллигентско-шестидесятническая традиция в нем коренится, а ведь все лучшее, что было создано в конце прошлого и в начале нынешнего века предполагает разрыв с этой традицией. Мне уже на школьной скамье нелепым казался некрасовский стих «Белинского и Гоголя с базара понесет». Гоголя, говорил я себе, да; недаром его нам Мережковский, Брюсов, Белый по-новому показали; но причем же тут Белинский, или сын его Чернышевский, или внук Скабичевский? Родословная эта приблизительна и небезупречна. Скабичевский Тютчева считал «посредственным поэтом», объявил, что он «читается с большим трудом», и критиком был вовсе никаким, а Чернышевский Тютчеву знал цену, и не во всем и не всегда был критиком худшим, чем Белинский. Верно в ней лишь, что потомки не делали чести предку, и дальние куда меньше еще, чем ближние. Предок от этого не выигрывал.

Потомкам мы готовы были предпочесть Страхова, Леонтьева, Розанова; предку — Киричевского и Григорьева.

На школьной скамье сидя, я имен этих, однако, не слыхал. Да ведь и Тютчеву, которого Белинский прозевал, Баратынскому, которого он обругал, — как и Лескову, например, или Фету — уделялось в гимназических учебниках самое крошечное место, а то и никакого не уделялось. Даже и Достоевскому — боязливое какое-то, точно Михайловский эти учебники писал. Зато по части «лишних людей», «типов», «положительных героев», как и насчет замены барщины оброком в имении Онегина усердно меня просвещали, точно и в самом деле к соцреализму и к преподаванию в будущей десятилетке меня готовили. Школа, в том числе и высшая, отставала, как это часто бывает, от жизни; преподавание литературы — от литературы. В университете я учился на историческом отделении, где, как и на классическом и романо-германском, в 1912 году, когда я в университет поступил, такого отставания уже не наблюдалось. Но и культурный уровень преподавателей, как и студентов, был на этих отделениях выше, чем на русско-славянском, если не считать отдельных историков и языковедов, которых также слушали студенты этого отделения. Мне следовало сдать экзамен по истории русской литературы у профессора Шляпкина. Лекции этого рослого и очень толстого старика (он не мог сложить рук на животе), в синем сюртуке ведомства императрицы Марии, я не слушал, но экзамен по их литографированному (и проверенному автором) изданию сдал. Помню, что были и там те же «темные царства», «типы», да пожалуй и барщина с оброком, слегка посахаренные наивной «эстетикой», один из образцов которой я так с тех пор и запомнил наизусть. «Когда вы читаете Тургенева, — писал профессор, — вам кажется, что перед вами на столе стоит роза в стакане воды и благоухает. Вот что значит диалект!»

У Шляпкина были заслуги. Он опубликовал многое неизданное, был прилежный архивный работник. Литературной критикой, в узком смысле слова, сколько я знаю, не зани-

мался. Но ведь все-таки нельзя представить, чтобы какой-нибудь Гюстав Лансон, Оскар Вальцель или Уолтер Рэли (Raleigh) столь беспомощными красотами орнаментировали свои лекции или такое избрали применение слову «диалект». Как и нельзя себе представить немецкого, скажем, приват-доцента, который начал бы свою академическую карьеру (как Пиксанов, только что допущенный к преподаванию) ударом кулака по столу, подтверждающим, что с Лессинга начался новый период в истории немецкой критики. Правда, и Лессинг посерьезнее был критик, чем Белинский. О, если бы у нас родился, на век запоздав, вместо Виссариона, Готтхольд Эфраим! О если бы у нас, в прошлом веке, Сент-Бев или Де Санктис тон задавал вместо того же Виссариона! Напрасные мечты! Да и то сказать: никак и нигде не могли бы одновременно писать Лессинг и Де Санктис. Раз мы и первого не нагнали, где же нам было второго догонять? Европейская литература, однако, не скаковые конюшни. Мы ведь не говорим, например, что Леопарди Тютчева обскакал. А Гоголь, — кто его соперник после Свифта и Рабле? Или после Гоголя, два наших великана, кто, во второй половине века их соперники на Западе? Критическая наша мысль и впрямь была слаба, — в области искусства еще слабей, чем в области литературы. Не сильна была и до Белинского, еще немощней стала после него. Но ведь лет за 20-25 до «Октября» начала очень заметно поправляться. И университеты наши в этих двух областях от неуниверситетской мысли значительно отставшие, за эти годы во всех областях окрепли, начали обновляться и в этих двух, общеевропейского уровня и тут достигли бы несомненно, если бы тот же «Октябрь», подождав годок-другой-третий — и даже еще 2-3 годка — так грузно не обрушился бы на них и тут же шею не свернул обновленной нашей критике.

То самое шестидесятничество, остатки которого люди моего поколения еще застали, не в жизни литературы и искусства, но в школе, немножко еще и в университете, оно-то все наше обновление и погубило. Вот этот самый

окрик: до Белинского, после Белинского! Доцент этот коллективным Скабичевским был порожден, а никак не каким-нибудь обобщенным Брюсовым или Мережковским. Таких недорослей было еще много, и не в одном лишь старшем поколении, но и в молодом. Мы уже и перестали интеллигентами их называть. Это были для нас «полуинтеллигенты». Пушкин жалел о недостаточной образованности Белинского; той образованности, требование которой следовало по мнению Пушкина, предъявлять в первую очередь каждому по-русски пишущему писателю. Этой образованности, невозможной, конечно, без знакомства с западной мыслью и знания иностранной литературы, у полуинтеллигентов, как раз и не было. Вместо знания и понимания, мозги их были начинены шестидесятническими штампами и той нетерпимостью ко всякой нештампованной мысли, которая, например, Радищеву, или Герцену, Бакунину отнюдь свойственна не была, но которой суждено было достигнуть апогея под опекой после-октябрьской партийной идеологии, во всяческой ждановщине и сталинщине. Нетерпимость эта, как и связанная с ней глубокая необразованность, вполне способная сочетаться с начетничеством и узкой специализацией, до сих пор свинцовой тяжестью давит на наше университетское литературоведение, как и на журнальную нашу критику, и тем живым росткам, которых тут и там немало, мешает пробиться и расцвесть.

Что и говорить, Белинский в этом неповинен. Иосиф Виссарионович не по духу, а лишь по идеологии его сын. При всем фанатизме последних своих лет, и даже ради торжества того, чего он стал фанатиком, Белинский не пожелал бы в лепешку раздавить людей несогласных с ним; сам не лег бы под пресс, и других не пихнул бы под него (ведь и Чернышевский еще сумел отдать должное славянофилам). Письмо Белинского Гоголю — с литературной точки зрения, лучшее его произведение — безоглядно жестоко и варварски нестерпимо, но это все-таки письмо, а не донос. Мысли его о литературе, либо не его мысли (а немецкие, рассказанные ему друзьями, порой очень дельные), либо

мысли не о ней, не о литературе, а по поводу нее. Русскую литературу любил искренно, и живое в ней чувствовал сплошь и рядом очень живо. Но вещи посложней ускользали от него. Пушкина тридцатых годов не понял, и сразу же заговорил об упадке его творчества. «Бедные люди» привели его в восторг, а «Хозяйку» и «Двойника» не одолел. Писал бойко и взволнованно, но размашисто и водянисто. Журналистом был более, чем критиком. Где уж тут, и подумать толком некогда! Приятели, сенсации, нескончаемые ночные разговоры... Все-таки его любили. И я понял недавно, за что его можно было полюбить, прочитав изданный впервые (в книге Ю.В.Манна «Русская философская эстетика». Москва 1969) рассказ о нем товарища его, по Московскому университету, Чистякова. Речь идет о лекциях Надеждина.

«Белинский, — говорит Чистяков. — ходил, кажется, к нему одному, тем более, что не зная ни греческого, ни латинского, ни французского, ни немецкого языка он имел много свободного времени. И откуда он набрался стольких знаний, черт его знает, — говорил Белинский после каждой лекции. — Голосишка пискливый, как у девушки, а так вот душу и пронизывает».

Откуда набрался? Оттуда, откуда Белинский набраться не мог. Лучшим русским критиком был не Надеждин, конечно, но и не Белинский, а Пушкин. Из современников, однако, один Киреевский это понял, а во второй половине века не знал этого, кажется, никто. Понимать начинаешь это, прочитав все пушкинские мелкие заметки, письма, некоторые рассказы о нем. Рядом с его критической мыслью, всегда точной, ясной, поучительной даже и в ошибках, все остальное русское прошлого века, не исключая и Григорьева, исключая лишь отдельные прозрения Леонтьева и Розанова, кажется какой-то, прости Господи, размазней. К началу нового века начинается другое, движется, обогащается, растет, но конец этому росту положен будет очень быстро.

Публикацию подготовил Г. Поляк

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

ПОКИНУТАЯ РОССИЯ. ЖУРНАЛИСТ В ЗАКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ

Второе издание книги Виктора Перельмана, которая в 1976 году вышла очень маленьким тиражом в Израиле, полностью раскуплена и уже давно исчезла с книжного рынка. Книга выходит в новой редакции, с предисловием Ефима Эткинда и послесловием автора. Автор книги, главный редактор журнала «Время и мы» и в прошлом известный советский журналист, рассказывает о своей жизни в СССР. Бывший корреспондент Московского радио, фельетонист газеты «Труд», спецкор и заведующий отделом информации «Литературной газеты» пишет о нравах советской печати, раскрывает малоизвестную широкому читателю кухню советских газет и руководящего ими партийного аппарата.

Значительная часть книги посвящается жизни советских писателей и «Литературной газеты», которую автор называет «Гайд-парком при социализме». Он рисует образы известных советских писателей и журналистов — Александра Чаковского, Константина Федина, Сергея Михалкова. Леонида Соболева, Федора Абрамова. Алексея Аджубея и многих других. В книге рассказывается о нравах высшего суда партии — Комитета партийного контроля, — через который в годы молодости лично прошел автор книги. Он раскрывает процветавший там антисемитизм, рисует образ одного из тогдашних вождей страны, председателя КПК Н. М. Шверника, показывает обстановку ненависти и лжи, царившую в высшем суде партии.

По существу — это исповедь бывшего советского журналиста, который много лет служил, как он сам пишет, идолам лжи и который прошел долгий путь мучительного раздвоения и внутренней борьбы, прежде чем окончательно порвал с советским режимом.

В книге 320 страниц, цена книги — $16. Заказы и чеки направлять по адресу:
Time and We, 409 Highwood Avenue, Leoma, N.J. 07605

Ирина МУРАВЬЕВА

ПАМЯТИ ПОЭТА,

или последние дни Михаила Крепса

«Космос, Петербург. Плечо» — под таким несколько эпатирующим заглавием недавно вышел последний сборник замечательно талантливого и безвременно скончавшегося поэта эмиграции Михаила Крепса. С тех пор прошло более года. Стихи напомнили нам о поэте, однако предлагаемое эссе Ирины Муравьевой не ставит целью рассказать о его творчестве, но о его душевном мире, с особой силой раскрывшемся в последние дни перед смертью, о красивом и достойном уходе человека из жизни.

...Итак, был гвалт, суматоха, жара, заливная рыба и много всякой всячины. Сказали, что он пошел прилечь, что были небольшие боли. И теперь я увидела, как он спускается. В темном костюме, несмотря на жару, в белой рубашке, подчеркивающей его болезненную худобу, он остановился на верхней ступеньке лестницы и посмотрел на все это сверху. Взглянул дружелюбно и насмешливо, как всегда, но вдруг я поняла, что он уже уходит, получив странное, и, может быть, еще им самим не осознанное право смотреть на все это сверху.

Он стоял на верхней ступеньке лестницы, отстраненный и улыбающийся, с докторским приговором в глубине памяти («от трех месяцев до шести! Метастазы в печени») и, спускаясь к нам, неуклонно уходил, отодвигался, освобождался и потому становился все более и более самим собою, таким, каким был задуман и выполнен — легким, смешливым, без жировой прослойки пошлости, без локтей, без когтей, без клыков...

Теперь я понимаю, что он — сквозь всю его смешливость и внешнюю «недраматичность» — был одарен тем, что я назвала бы корневым пониманием вещей. Никогда не философствуя, не пускаясь в проповеди, ои лишь намекал и дотрагивался. Или — если спор заходил в тупик, и разгоряченные его участники бросались в дебри интеллектуального косноязычия, — спешил потушить это бестолковое пламя чем-то насмешливым и добродушным. Он был своим там, где люди е щ е не начали или у ж е перестали спорить и мучить друг друга, потому что терпимость важнее честолюбия, а снисходительность дороже правоты.

...Мы шли по берегу озера, и помню, каким невероятно ярким светом было залито все вокруг. Дети бежали по зеленой траве, что-то лопоча на своем английском, разноцветные собаки носились за тениисными мячиками, важные лиловые утки с головой погружались в воду, растопыривая над ней свои пестрые хвосты. Жизнь, особенно сильно ощущаемая такими вот летними полднями, казалась неиссякаемой. Мы остановились над водой, и тут он спросил, как будто даже и не меня: «Страшно мне будет умирать, как ты думаешь?» И я, застигнутая врасплох, не смогла, как обычно притвориться и сказать: «Зачем ты об этом? Вылечат! И не такое лечат!» Я растерялась и, не глядя в его тревожное лицо, обращенное словно бы и не ко мне, сказала: «Нет. Не будет страшно». Ляцо его стало спокойным, будто что-то спасительное вспомнилось ему: «Ты думаешь, это оттого, что стихи останутся?» «Не знаю, — сказала я. — Может быть, потому что стихи. Не знаю».

* * *

Пока он проходил круг пыток, на котором мучили лечением и, бессовестно испытывая его легко ранимую душу на прочность, в лоб произносили смертный приговор («Нет, и это вам не помогло, опухоль только увеличилась!»), он, как все, обманывался и надеялся, отчаивался и мрачнел. Но и отчаиваясь, продолжал быть удивительно, почти невыносимо деликатным, словно понимая, что его

боль — это его боль, и выплескивать свои страхи на других людей ненужно и неловко. «Прости, — говорил он мне по телефону, — я как-то не смог сегодня рассказать тебе ничего интересного... Ничего смешного...» На человеческом языке подобное поведение именуется мужеством. Но вот беда, слово «мужество» к нему, изящному, смешливому и легкому, словно бы и не подходило, нарушало пропорции его тихого и сдержанного характера.

Если бы я сама не боялась трескучего «плетения словес» и бестактности, я бы не задумываясь поставила его в ряд тех, тонкокожих, отчаянно талантливых людей, которых судьба особенно не щадила, каленым железом пытаясь выжечь из них ребячливость и беспечность, любовь к сладкому, неумение вести практические дела, житейскую наивность, доверчивость... Их-то, людей «мандельштамовского» склада, и подвергали особым испытаниям: настигали смертельными болезнями в расцвете сил, расплющивали общественными переустройствами, мучили домашними неурядицами, гноили в лагерных бараках, изгоняли из родных городов. А потом оказывалось, что они, хрупкие, тонкокожие, любящие сладкое, прячущиеся в стихи и музыку, куда терпеливее и достойнее всех прочих — мускулистых, агрессивных, воинственных...

Он писал стихи. Вчитываясь в них, проникаешься природой его поэзии, которая точно воспроизвела его душевную природу, каждое стихотворение кажется прикосновением его руки, его усмешкой, его тихо выстраданным, ненавязчивым чувством. Открываю наугад и слышу: «...как сказал другой географ площадей и мостовых: «жизнь лишь бренди, шерри-бренди», значит, знал он в жизни толк».

А он, о котором я сейчас пишу, знал ли толк в жизни? Думаю, что да.

...он ушел и унес свою улицу в январе,
свое «имя + имя = » на коре
свои письма и книги, друзей и соседей,
свой овал от монетки на ледяном букваре...

Но если это так и все действительно кончилось, какой смысл мне писать о нем. Сейчас, спустя более года? Для оставшихся? Для той смутной величины, которую мы именуем памятью? Бог мне судья, но ради этого я бы не стала. Не стала бы, если бы не чувствовала, что не имею права умолчать о том главном знании, которое пришло к нему на пороге смерти.

На пятницу, восемнадцатого ноября, был назначен вечер трех поэтов: Михаила Крепса, Кати Капович, Александра Кушнера. Как он, еле двигающийся, с отекшими ногами, с болями, снимаемыми только морфием, сможет выдержать чтение стихов в переполненном зале Бостонского колледжа, я не представляла. Но он пришел, и перед чтением еще успел шепнуть мне: «Был сегодня у врача. Все. Никакой надежды. Дали телефон, куда звонить в случае остановки дыхания. Все!» И начал читать. Потом, когда закончил, зал поднялся, аплодируя. Почему-то я отчетливо запомнила страшный стук толстых ладоней Коржавина прямо над моим ухом. Стало быть, в пятницу он попрощался со всеми как поэт. Выслушав окончательный приговор лечащего врача в час дня, в семь тридцать он произнес свое последнее поэтическое слово. Выдержал. Так и хочется сказать по-простонародному — «уважил». А в понедельник им была предпринята последняя попытка продлить эту, даже такую жизнь. Поехали под проливным дождем в соседний штат (два часа с лишним на машине) к какому-то известному, европейской выучки доктору, который делает вливания раковым больным и восстанавливает иммунитет. Попытка жить сказалась во всем: в детском страхе, что я запутаюсь и не найду дорогу, старательном затягивании ремня безопасности поверх укутавшего его одеяла, просьба быть поосторожней и не торопиться на этом скользком шоссе. Доктор увел его в кабинет, и они начали разговаривать. Оставшись одна, я прошлась по мокрому лугу, окружавшему дом, по шаткому мостику перешла через горную речку, и все это — серое небо с непросохшими дождевыми полосами, понурые лошади за оградой соседской фермы, все это показалось мне живым воплощением переполнявшей меня горечи, словно бы эта разлитая по земле и небу тоска задавала все тот же вопрос: «За что? Зачем?»

А через два дня он слег и уже не вставал. Заключительные «бытовые» фразы, им произнесенные, выразили его постоянную нежную тревогу за жену. Мы попрощались. И вдруг он добавил, что теперь уже не страшно. Что он будет ждать э т о г о спокойно и терпеливо. Самыми простыми словами он, никогда ничего не декларировавший и не «вещавший», вдруг еле слышно произнес свою уверенность в существовании Бога и готовность к смерти. Говорить было нечего. Жаловаться не на что. Последние страхи, связанные с драматической обстановкой внутри его дома, последние тяготы его физического существова-

ния на земле сказались лишь в выражении совершенно изменившихся и полных сосредоточенного ожидания глаз, в глубине которых проходили болевые отражения его теперь уже вынужденного здесь присутствия.

Ни одно событие моей жизни не идет ни в какое сравнение с тем, что уловила моя душа, прощаясь с ним. Предсмертное молчание и добровольная, словно бы чудом возникшая готовность перейти в другое измерение почти полностью заслонили его предсмертные страдания.

Словами этого не скажешь. Он отказался от слов, потому что понял главное. Сознание его — в этом я ни на секунду не сомневаюсь — работало практически безотказно до последней секунды. И если мне позволено сказать, что я благодарю его за тот невольный урок, которым стала для моего общего религиозного чувства его смерть, то — да, я его — благодарю. За достоинство ухода, за полное духовное совпадение с совершимся таинством, за то, что он сквозь собственные жизнь и смерть позволил и мне прикоснуться к основам, «чей смысл, как воздух, бескорыстен».

Лев АННИНСКИЙ

УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ

Журнал «Дружба народов» о статье Виктора Перельмана*

К вопросам всегдашним (кто виноват? что делать? кому хорошо?) Виктор Перельман добавляет еще один, или, формально говоря, два, но по сути один, такой же безответный:

— Господи, куда я приехал? И зачем? Приехал — с целью естественной, благородной и совершенно фантастической: перенести в Россию издание старейшего эмигрантского журнала «Время и мы». Того самого, который двадцать лет назад был учрежден в Тель-Авиве, затем перенесен в Нью-Йорк, а ныне, по исчезновении цензурных плотин, идеологических стен (и, соответственно, интереса западных читателей к русской эмиграции), потерял там почву и ищет оную под нашими осинами.

Заголовок редакции

* Дружба народов, 1995/11.

— Виктор Борисович, вы в своем уме? А если журнал у нас не пойдет? Вы же знаете, какие сейчас времена?

Знает. Но знать не хочет. Гнет свое. Вгрызается, врубается, ввинчивается в нашу перестроившуюся боевую, кипучую бучу.

И в очередном, 125-м номере журнала «Время и мы» (сумел-таки выпустить!) делится впечатлениями. Очерк В. Перельмана называется: «Куда же несет тебя, Россия? 80 дней в Москве. Картинки с натуры». Натура выписана фактично, точно, в манере исповедального простодушия, да еще и со спасительным юмором: сказывается давняя школа «Литературной газеты» плюс двадцатилетний опыт добывания хлеба насущного на Западе.

В западном стиле приехавший с Запада книгоиздатель и обращается к нашим книготорговцам: я вам товар, вы мне сбыт. Смотрите, какой товар: вот «Двойной секс в Сохо» Зиника, вот скандальная статья Наврозова против Солженицына, вот интервью с Гайдаром, вот Померанц, Газданов...

Реакция наших книжных лотошниц, а также опекающих их заведующих и рэкетиров, зафиксирована с протокольной точностью. Там целая коллекция отповедей, но для примера я приведу одну:

— Вы что?!.. Три пачки привезли, когда договаривались о двух? Нет, нет, оставлять нельзя, скажут» левый товар. Никогда в жизни! Две приму, а третью несите, куда хотите, хоть на улицу. Машина уехала, трудно тащить? Ну, это уже ваши проблемы?

Узнаете? Наша всеотзывчивость, фирменная! Что с нею делать, совершенно непонятно. Ну, ладно, раньше сидел перед тобой твердокаменный истукан с идеями; за ним высилась «система»; систему можно было ненавидеть, язвить, гвоздить, говорить, что другая «система» лучше и т.д.

Теперь — нет «системы». Есть миллионы и миллионы «местных жителей». Кого ненавидеть? Изощренные интеллигентские споры насчет того, что лучше: социализм, капитализм или что-то средне-русское, специально для нас из

того и другого намешанное, — совершенно никого не задевают. Ни в толпе, ни в очереди, ни за прилавком, ни за любым окошечком, барьером, служебным столом, куда бы ты ни сунулся, — нигде ничто никого «не колышет». Да любой наш человек по собственному опыту знает: куда ни пойдешь, на почту ли письмо отправить» купить ли что, спросить-узнать, — непременно с «той стороны» уставится на тебя дремучая, готовая к отпору лень. И отпор будет, остервенелый, агрессивный, дикий, если ты хоть чем-нибудь: лишним вопросом, просьбой или даже интонацией утрудишь эту усталую немощь, ненавидящую все, что заставляет ее двигаться.

И ладно бы еще по существу что-то заявлено... ну, скажем, полистал бы журнал эксперт: «это не пойдет... единственно Газданов — хорошая публикация, а остальное... эклектика... сплетни... еврейские междусобойчики...» Это — все-таки какая-никакая экспертиза. А скорее всего скажут:

— Да у нас это НИКОГДА не пойдет. У нас ВООБЩЕ журналы не идут.

Или даже так:

— Открой глаза пошире! Уже открыл? Еще пошире! Видишь объявление? Читай! «На вопросы публики кассир не отвечает». Отстань. Не трогай. Не лезь ни с чем: ни с хорошим, ни с плохим, ни с умным, ни с глупым. У нас нет сил! Кому жаловаться, Виктор Борисович? И кто виноват? Опять Сталин? Ленин? Дзержинский? Маркс и Энгельс? Что делать с этой биологической, до самых последних молекул дошедшей усталостью? Она от социализма-капитализма не зависит. Ее не возьмешь ни рынком, ни антирынком. Ее веками пережидать надо. И что с нею делать, совершенно непонятно, А делать что-то надо — сейчас, немедленно, пока еще есть надежда продать журнальные книжки.

Кое-какие правила поведения в России Виктор Борисович Перельман выводит и формулирует. Формулирует настолько хорошо, что я их приведу:

«Во-первых, одеваться как все... чем проще, тем без-

опаснее — в сегодняшней Москве иначе нельзя; во-вторых, никому и ни на что не жаловаться и не вступать ни в какие отношения с милицией: толку никакого, а неприятностей не оберешься; в-третьих — молчать, как рыба, в очередях особенно среди пенсионеров в сберкассах, и, естественно, поменьше распространяться, что из Америки… Поменьше слов, которые могут вывести человека из себя. А из себя может вывести что угодно. Вмиг получите отпор! В любом общественном месте вы в двух шагах от скандала… Чуть не забыл: главное — поосторожнее с юмором...»

С юмором у Перельмана выходит осечка, и разочек ему врезают-таки поддых, чему он, как настоящий юморист, не придает излишнего значения, ибо наверняка помнит известный анекдот, кончающийся словами: «А могли и расстрелять». Да и не ради юмора все это делается, я не на юмор Перельмана откликаюсь душой — с юмором там все в порядке, — я откликаюсь на то, как он видит сегодняшнюю Россию. Обостренно, изумленно, как бы немного со стороны и — неожиданно.

Две России видит он в нынешней «хаотически» перестраивающейся реальности:

«Одна Россия официальная, правители которой уже охрипли от призывов к сияющим вершинам рынка, но в которой ничего не происходит, и от скуки воротит скулы. Она и есть государство… Другая, альтернативная первой, Россия тайная, изощренная, быстрая на руку (то есть скорая на расправу — *Л.А.),* паразитирующая на глупости первой. Это и есть мафия...»

Защитная лень, мгновенно переходящая в защитную агрессию, — это основа жизни «официальной»: основа и одновременно реакция на официоз; способ выживания в этой непредсказуемой бессистемной «системе».

Но та, другая Россия, которая гнездится и греется в порах и складках «этой»: Россия быстрая, безжалостная, циничная — она же единственно живая.

Вам понятен смысл этого диагноза? Мафия — как путь и основа выживания. Что-то теплится, оживает, растет в этой

онемевшей плоти, но это, извините, рак. Хорошенькая альтернатива.

Сам-то диагност вроде бы по другой логике действует. То есть он быстр и даже изощрен, и весьма проницателен; он отлично видит нашу лень и глупость, но ведь он не собирается на ней паразитировать? Так его-то энергия — откуда?

Оттуда же, откуда в России все: «из ничего». Из безнадеги. Есть она, и все тут. Россия не может погибнуть, потому что она погибнуть не может. Согласен. В дурацкой ситуации стоять надо по-дурацки. Доводы — потом. А пока — не возьмете ли журнальчик? Толстый, гладкий, красивый, с коллажем Бахчаняна на обложке: Иван Грозный убивает своего сына перед горящим Белым Домом…

Судьба толстых журналов освещена в записках В.Перельмана с несколько неожиданной стороны. И практически, и теоретически. Толстые журналы, резонно полагает он, были неотъемлемой частью литературы социалистического реализма, и не просто неотъемлемой, а основной частью: «главной жрицей лжи и обмана».

Как, а разве правды вовсе не было на страницах? Я не об одном «Новом мире» говорю… но и его достаточно, чтобы задуматься: только ли ложь и обман были уделом литературы «развитого социализма»?

Но дослушаем В.Перельмана: он считает, что да, она именно лгала, обманывала. «Была у нее на это счет монополия. Поэтому против нее и обрушился бунт населения, это была его месть, может быть, и неосознанное, но все же отчетливое желание не иметь с ней дела. Тут уж не играло роли — кто лгал больше, а кто меньше. Кто был искренен, а кто только делал вид и притворялся. Союзы писателей рассыпались, как карточные домики. Издательства закрывались, но главный удар пришелся по толстым журналам, которых читатели когда-то считали учителями жизни, но больше не хотели признавать. Согласимся, что по большому счету литературе нечего было привести в оправдание».

Нет, не согласимся. Кое-что все-таки можно привести и

в оправдание. Кто лгал больше, а кто меньше, кто был искренен, а кто только притворялся, — для некоторых людей это имеет значение: некоторые-то именно и притворялись, что лгут. Такой русский стиль правды. И страшной местью толстым журналам падение интереса к ним не объяснить, хотя это и звучит драматически эффектно. А просто людям стало некогда читать толстые журналы. И не по средствам. А до тех, кто хочет и готов их читать, журналы физически не доходят. Провинция жалуется на информационную блокаду. Зарубежные слависты теряют квалификацию от отсутствия притока информации. Впрочем, зарубежные слависты кое-как выкручиваются и все-таки читают, и по традиции читают именно толстые российские журналы, — я имел случаи в этом убедиться. Наши читатели — да, потеряны. У читателей нет ни денег, ни времени, ни сил читать.

Как выживать журналам в этихусловиях? Тут В.Перельман выдвигает версию, довольно нетривиальную: «В этих условиях, — пишет он, — толстые журналы были поставлены перед жестким выбором — либо закрыться, либо стать другими, сообразно требованиям рынка. Однако рынок требовал от них невозможного — чтобы они порвали с литературой, точнее, с гражданственной литературой, которая не могла существовать без связи с жизнью. Толстые журналы нашли третий путь: объявили себя государственным достоянием… вроде Третьяковки или Эрмитажа: попросили субсидии и окопались в своих редакциях, словно в башнях из слоновой кости. В знак протеста, что их не покупают, они предпочли вообще не появляться в книжных киосках и магазинах, продолжая жить в мире своих ценностей: если населению не нужна больше литература, а нужна макулатура, — это его дело, мы же будем заниматься тем, в чем видим свой гражданский и нравственный долг».

Вы знаете, все так и было. Именно так: иррационально, на грани самоубийственного упрямства. Я помню первую панику 1990 года в журнале «Дружба народов»: что делать? Надо срочно менять название! Какая теперь «дружба народов» — теперь вражда народов! Все менять: имидж, логотип, формат, шрифт…

Не знаю почему, но большинство из нас встало на дыбы: нет! Ни в коем случае не менять ни имени, ни облика! Это было бы подло, низко… Я не мог объяснить себе, что именно мы предаем, я только знал: нельзя, и все туг. Вот пусть среди вражды народов камнем преткновения стоит эта оболганная несчастная «Дружба народов» — не вечно же безумие…

Теперь В.Перельман объяснил мне, что именно боялись мы предать: гражданственную традицию русской литературы, ее связь с жизнью. Пусть так. По Чернышевскому. Мы действительно ощутили себя реликтом, мемориалом, памятником, музеем. Вроде Третьяковки. Как мы «просили субсидий», как «окапывались», как искали способов сохранить себя в качестве «государственного достояния», — про то пусть мемуаристы напишут. Когда-нибудь. Тем более, что просьбы и поиски еще «не увенчались». Редактор толстого журнала «Время и мы» Виктор Перельман пострадал на этом поприще, наверное, побольше нас: мы все-таки окапывались на родной почве, а он понес свое детище через океан.

На что мы надеялись? На то же, на что он. Ни на что. На собственное упрямство. Россия не может погибнуть, потому что она погибнуть не может. А литература — часть России. А журналы — это голос литературы.

Счастливого конца у этой истории нет. Есть малый передых. Результаты подписки на 1995 год. Вы представляете? «Дружба народов» собрала почти одиннадцать тысяч! Одиннадцать тысяч россиян, оторвав от своего бюджета весомые по нынешним временам деньги и заранее подарив нам свое дорогое время, — подписались. И не говорите, что это мало: это больше, весомей, чем тот миллион, который журнал имел во времена «Детей Арбата»!

Но я закончу о вояже Виктора Перельмана в страну Московию и о том, чем завершилась его попытка продать на нашем рынке журнал «Время и мы». Истекал срок его

восьмидесятидневного пребывания (столько же, сколько понадобилось героям Жюля Верна, чтобы объехать земной шар). Перельману надо было сделать не меньше: объехать московских книготорговцев. Он объехал. Обхамленный, истративший деньги, он уже складывал чемоданы — в этот момент из «Дома книги» позвонили:

— Все продано, привозите еще! — Умом Россию не понять, — подумал, наверное, наш американец. Кто виноват — не сыщешь. Кому на Руси жить хорошо — государственная тайна, так что будем считать, что всем плохо. Что делать? А черт его знает, что делать. Делать каждую секунду то, что должно делать. И, зная, что на проклятые вопросы ответов нет и не будет, все-таки задавать их.

В.БОГОЯВЛЕНСКИЙ

ПАССАЖИР АЭРОФЛОТА В ВОЗДУХЕ И НА СУШЕ

Тот, кто летает из Нью-Йорка в Москву на самолетах Аэрофлота, тот не может не видеть, насколько он улучшил обслуживание пассажиров. Особенно после того, как полтора года назад Российские международные авиалинии начали использовать Джамбо — Боинги-767, арендованные у одной из ирландских авиакомпаний. Каждый из этих кораблей способен перевозить 220 пассажиров, осуществляя беспосадочные полеты из Москвы почти во все уголки Соединенных Штатов и обратно. Салоны этих кораблей отличаются высоким, ранее не известным Аэрофлоту комфортом. Я не знаю ни одной другой авиакомпании, которая могла бы доставить вас в Москву за 8 часов. В дополнение к этому отличное техническое обслуживание, соблюдение расписания полетов, и, главное, их безаварийность. Прекрасные бортпроводницы, любящие свою работу, хорошее, ничуть не уступающее другим авиакомпаниям питание. Наконец, еще один немаловажный фактор. Стоимость полетов на самолетах Аэрофлота, как правило, ниже, чем на других авиакомпаниях. В результате его конкурентоспособность неизменно растет — не случайно все большее число жителей Америки предпочитают полеты на самолетах Аэрофлота другим международным линиям.

Я много раз лично пользовался услугами Аэрофлота, и все, о чем сказано выше, — это живое свидетельство пассажира, на глазах которого авиакомпания осуществляет широкую модернизацию всех сторон своей сложной и многогранной деятельности.

Впрочем, цель этих заметок не только в том, чтобы отдать должное работе Аэрофлота — о его достоинствах становится все более известно в Соединенных Штатах. Но если мы зададим другой, более широкий вопрос — всегда ли довольны пассажиры своими полетами в Россию — то придется сразу же умерить оптимизм. Прилетающие в Москву слишком часто выходят из залов Московского аэропорта «Шереметьево» разочарованными и огорченными. Причем большинство из них уверено, что настроение им испортил Аэрофлот, хотя на самом деле последний не имеет ни малейшего отношения к неурядицам, на которые они наталкиваются в Шереметьево.

Не многие знают, что АО «Аэрофлот» заканчивает свою деятельность приземлением самолета на летном поле и прощанием с пассажирами. Они покидают салон корабля и, пройдя необходимую процедуру в аэропорту, начинают наземную жизнь в России. И вот с того момента, когда, спустившись по трапу самолета, пассажир попадает в залы Шереметьева, он оказывается в сфере другого и совершенно независимого от Аэрофлота акционерного общества, носящего название АО «Аэропорт «Шемеретьево».

Скажем сразу, все, что встречает в Шереметьеве пассажира, даже отдаленно не напоминает его пребывания в воздухе. Тут просто не может быть никакого сравнения. Там в воздухе — четкость и порядок во всем, идеальное обслуживание, интеллигентность, вежливость. В Шереметьеве, сотрудники которого любят с гордостью повторять, что отныне никто, и в частности, Аэрофлот, им не указ, они-де независимое акционерное общество (и все решают так, как сочтут выгодным для своего АО) — так вот, вся жизнь Шереметьева, от начала до конца, идет по-другому. Правда, на первый взгляд, может показаться, что это нормальный бизнес, де хотят люди считать деньги, зарабатывать, получать прибыли. На самом деле, в той анархии и вопиющем неуважении к пассажиру, которые царят в Шереметьеве, нет ничего от настоящего, современного бизнеса.

Причем это неуважение, стремление на каждом шагу — правдами и неправдами, — выколотить из пассажира деньги, чтобы дать заработать каким-то подозрительным лицам, снующим по залам аэропорта, — этот дух Шере-

метьева вы можете наблюдать на каждом шагу. Простая вещь, для того, чтобы вывезти из Аэропорта вашу поклажу, вам нужна тележка. Обыкновенная тележка. Но тележек на месте никогда не бывает. Хотите вывезти чемоданы — пожалуйста, к вашим услугам специальный сервис. Кто его осуществляет — никому неизвестно, но если вы заплатите 50-60 тыс. рублей, ваши чемоданы погрузят и довезут их до выхода. Если не хотите тратиться и намерены получить тележку сами (как это происходит во всех аэропортах мира) — ждите очереди, пока это «средство перевозки» к вам не подвезут. Сколько ждать — никто не знает: может быть, полчаса, может быть час. Для недовольных всегда готов ответ: количество тележек в аэропорту лимитировано — так что помочь ничем не можем. Хотите жаловаться — опять же пожалуйста, но менеджера нет, звоните по телефону такому-то. Никто не отвечает, ну уж тут-то мы не при чем!

Даже, если вы дождетесь тележки, — это еще не значит, что вы ее получите. «Принимаем российскими рублями! Что, у вас только доллары? Пожалуйста, банк напротив! Банк закрыт? Значит на обеде! Ждите, и, вообще, банк это уже не наше дело!» Казалось бы, вся эта эпопея не стоит и выеденного яйца. Но это только до тех пор, пока вы, оказавшись с тремя-четырьмя тяжелыми чемоданами в руках, не начинаете растерянно смотреть по сторонам. Впрочем, как мы помним, выход есть — 50-60 тысяч рублей и вам в два счета помогут.

Вообще, приход рынка и капитализма в Россию в Шереметьевском аэропорту ощущается так, как нигде. Но в каком смысле? Как видим, рынок здесь не слишком цивилизованный. Правда, за деньги здесь вы можете достать все — и прежде всего то, что администрация аэропорта о б я з а н а предоставлять вам бесплатно. Мало ли что обязана! У нас капитализм! А это значит, что обычный, бесплатный сервис с той минуты, как вы оказываетесь в «Шереметьево», для вас перестает существовать. Еще одна простая вещь — курсирующие в Москву автобусы. Как их найти? Где получить информацию об их расписании? Куда они курсируют? Как и где получить номер в гостинице? Как и где найти представителей гостиниц? Эти и подобные им вопросы можно перечислять до бесконечности. На эти темы пишутся жалобы в инстанции, пишутся статьи в газетах, но воз и ныне там.

Суша — не воздух. К сожалению, на российской суше, по сравнению с воздухом, вас ждет совершенно иная

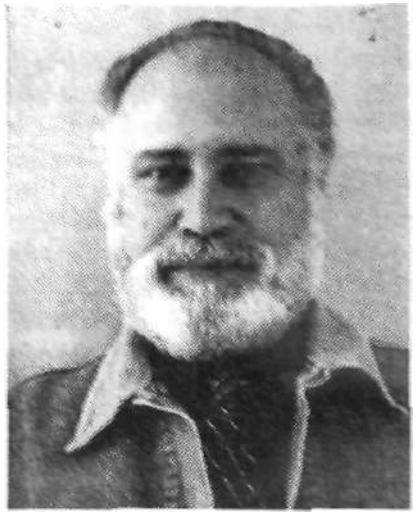
жизнь, и все начинается с Шереметьева. Впрочем, если у вас есть возможность платить. — притом, сколько запросят, многие из трудностей удастся избежать.

Попутно еще одна тема, опять же из области наземного сервиса (множество раз уже поднимаемая, но опять же без намеков на результаты). Имеются в виду шереметьевские такси. Для сравнения две цифры: стоимость полета из Нью-Йорка в Москву: 500-600 долларов, а стоимость поездки из Шереметьева в центр Москвы в вечернее время — 150-200 долларов. В три-четыре раза дороже, чем поездка мз Манхеттена до Кеннеди-азропорта. Кажется, жители России уже мирятся с зтммм гримасами жизни. А как иностранцы, которые привыкли» чтобы во всем, в том числе и в ценах на такси, была своя логика?

Или допустим, вы оказались в Шереметьево вечером или ночью, тут вам не избежать чудесного шереметьевского питания, свежести которого трудно довериться, зато опять же все по тройным ценам. Тройные цены — это, воооще, типичное для Шереметьева явление, оно — в киосках, в буфетах, в сделках с носильщиками, в оплатах погрузочно - разгрузочных работ.

Картинка, которую я нарисовал, будет неполная, если не коснуться общей обстановки в аэропорту. Тележку получить трудно, прилично перекусить невозможно, о современной службе информации можно только мечтать. Зато какие только здесь не совершаются сделки, особенно на пунктах обмена валюты — отсюда постоянно испаряются то американские доллары, то немецкие марки, то английские фунты. Но число валютных операций ничуть не снижается: на помощь пассажиру вновь приходит «частный» бизнес, правда курс обмена другой, для пассажира — грабительский. Но он может и не менять, оставаясь при своем интересе, или взять за 200 долларов такси и отправиться искать счастья в Москву. Капитализм есть капитализм, и выходов у пассажира предостаточно.

Интересная получаетсв картина: Аэрофлот может и дальше совершенствовать свою деятельность, он может стать лучшей авиакомпанией мира, привлекающей на свои самолеты все новых пассажиров, но их жизнь в аэропорту от этого и на йоту не станет лучше. А пассажир — живой человек, — часто не в состоянии разделить эти две жизии. В его сознании живет одна-единственная эпопея полета. которая так часто накладывает на него грустный отпечаток.



О ПРИРОДЕ, ДРЕВЕСНОЙ КОРЕ И СИЛЕ ИСКУССТВА

Скучное дело — описывать биографию художника. Тем болев художника-самоучки, никогда этой профессии не учившемуся Но, возможно, потому и интересна жизнь этого человека, лишний раз показывающая, сколь неисповедимы пути в искусство.

Итак, Пищанский Ефим Иосифович, родился в г. Киеве. н 1933 году... Окончил Львовский политехнический институт. .. Работал технологом на оборонном заводе... главным механиком на Львовской фирме «Радуга»... в 1974 году уехал в Израиль... Начал жизнь сначала: был токарем, контролером, инженером-технологом... в 1992 году уволили на досрочную пенсию, оставив с весьма малыми средствами существования. Любимые занятия, как он сам говорит, — литература, поэзия, музыка, живопись, скульптура, пение, садоводство, приготовление пищи...

Когда-нибудь я специально напишу об этом многогранном человеке, а пока не станем растекаться по древу, а остановимся на одном-единственном его увлечении. Впрочем, обозначить это увлечение не так-то просто. Воистину,

как шутят на Руси, наука умеет много гитик. Работы Ефима Пищанского можно было бы назвать скульптурами, если бы не его особый, обладающий уникальными изобразительными возможностями материал, его скульптурный язык, — никакая не бронза, не камень, не металлы, — а материал, естественный, являющийся воистину творением природы.

Итак, оказавшись у него в гостях, в его однокомнатной квартирке, в Иерусалиме, на краю поселка Неве-Яков, я увидел, как, используя обычную древесную кору, художник творит при ее помощи искусство, лепит человеческие характеры, отличающиеся особой, почти рембрандтовской пронзительностью. Попробуем вглядеться в эти глядящие на нас со стен лица: «Старик со свечами», «Старик в шляпе», «Старик с протянутой рукой»... И примем во внимание, что на страницах журнала перед нами лишь бледные тени оригиналов, в лучшем случае символы этого почти не встречаемого в нашем мире искусства. Первый мой вопрос, как и откуда пришла к нему эта идея — использовать в скульптуре необработанную древесную кору. Пищанский рассказывает не спеша, со множеством подробностей, начиная откуда-то со стороны.

«Живописью я занимался и раньше, успешно или нет, судить не мне, вот видите на стене картины: «Суета сует», «Женский портрет», «Автопортрет». Но — история с корой — это особый рассказ. Все, можно сказать, началось с собаки, а можно сказать — с чуда. Я человек настроения, в особом настроении пишу стихи, в особом — музыку и, как бывает с такими людьми, то переживаю подъемы, а иногда, напротив, — все вижу в черном свете. Откровенно говоря, в те дни я неважно себя чувствовал, не зная куда себя деть и вот в одну из бессонных ночей бродил вокруг дома, поднял с земли кусочек коры и, чтобы как-то занять себя, стал мастерить для сына лодку. И вдруг кора раскололась пополам, и в одной из половинок я увидел собачью голову. Я, знаете, ахнул, было впечатление, будто кто-то тончайшими инструментами обрабатывал эту фигурку. Я увидел собачьи клыки, скошенный набок язык, зрачки глаз, висячие уши. Вот это и было чудо, происшедшее со мной. Потом я поехал в лес, набрал коры, появились птицы, верблюды, крокодилы. Были периоды, когда я не выходил из комнаты по 18 часов, без перерыва... В 1982 году в Неве-Якове состоялась моя первая

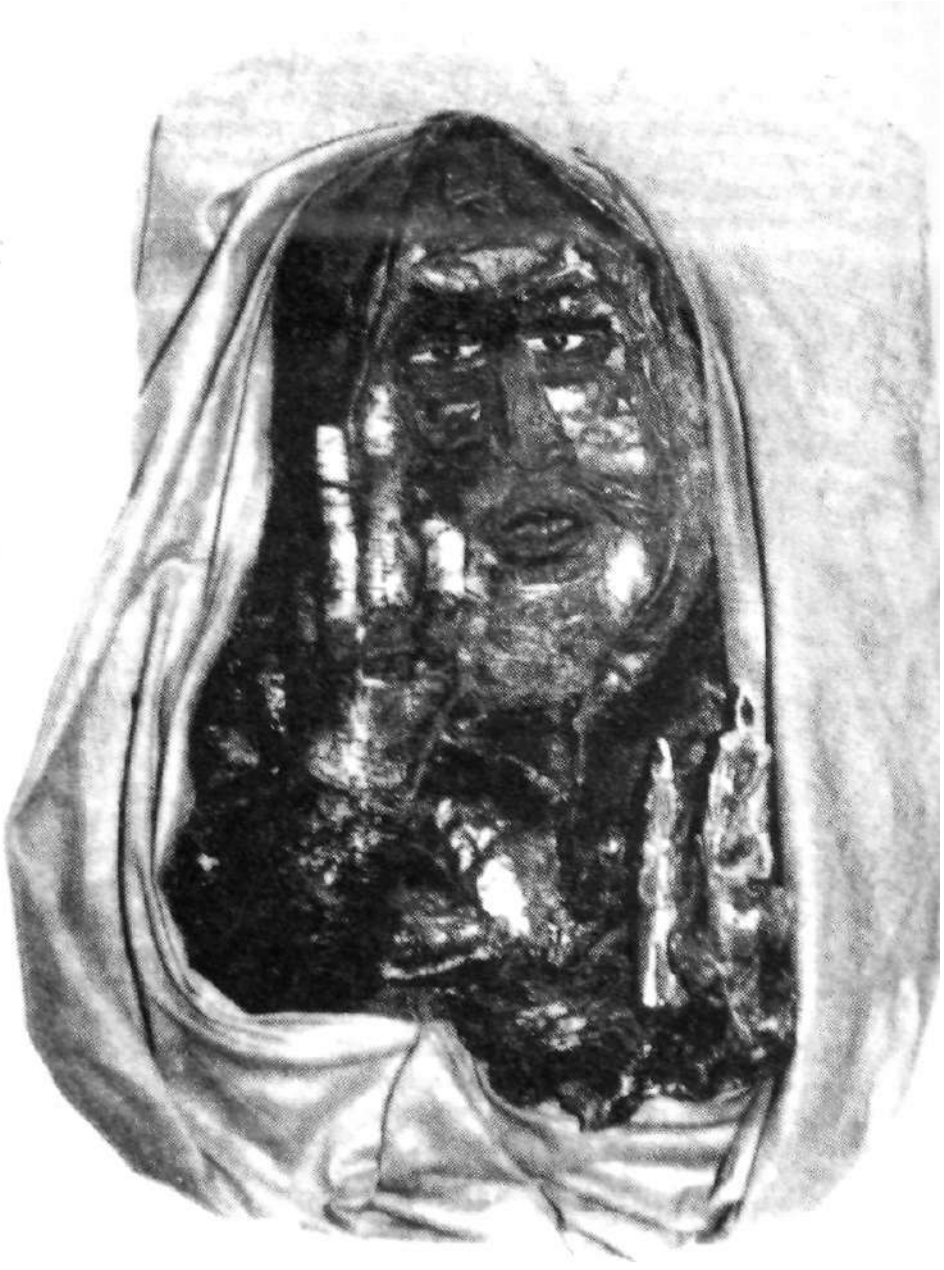
выставка, затем персональная выставка в Иерусалиме и экспозиция в Лос-Анджелесе. К тому времени я стал понимать, что на рынке искусств мои скульптуры что-то значат. Когда меня спросили в Лос-Анджелесе, сколько я за них хочу, я сказал: 5 тысяч долларов. Цифра эта галерейщиков не удивила, но они в один голос заявили, что не дадут мне и цента — пока у меня не будет имени. Один сказал, что я сам не понимаю, о чем говорю, — 5 тысяч! — завтра за каждую из этих работ будут давать по 150 тысяч. И он лично согласен «вложить в меня» 40 тысяч, но я должен представить как минимум 25 работ, а у меня их ие было, — как им объяснить, что каждая из моих скульптур требует год времени. Вот так, потоптавшись вокруг богатств, я ни с чем и уехал...»

Поразительно, что в своих работах Пищанский не использует ни инструментов, ни красок, никаких традиционных материалов. Глядя на его редкие по своей выразительности скульптуры, в это трудно поверить: вся лаборатория — кора и клей...

«Не так-то все просто, — продолжает мой собеседник, — мне необходим не один, а разные виды коры, — и привожу их вместо сувениров из всех моих поездок по миру. Несколько раз имел на границе неприятности, таможенники не понимают, для каких целей человек везет кору — или сумасшедший или наркоман, который под видом коры провозит наркотики...»

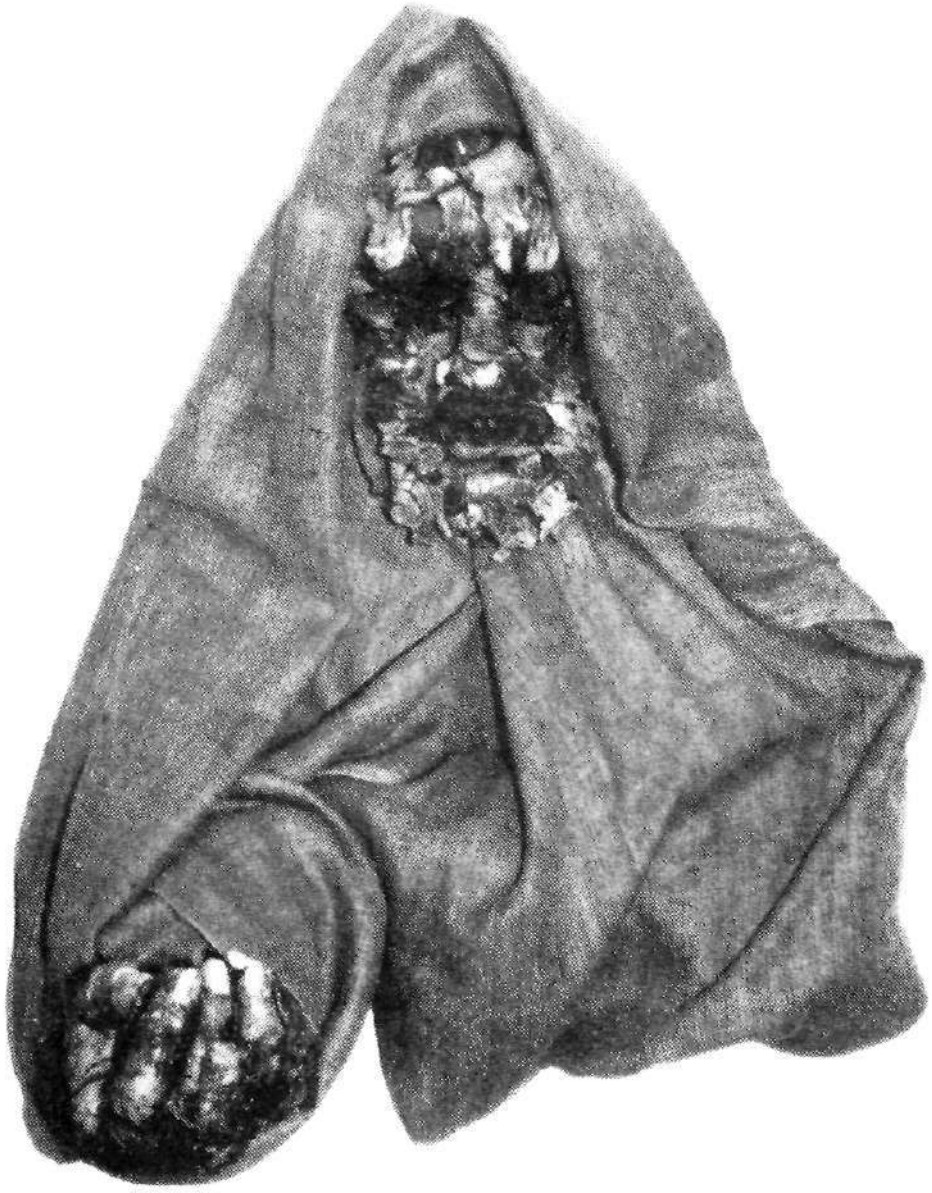
Какие-то скульптуры Пищанский все-таки продал, по каким-то баснословно низким ценам, ибо никакой он не бизнесмен, а прирожденный художник, возможно открывший в скульптуре новое направление. По логике вещей слава и признание должны были прийти сами собой. И мне бы хотелось закончить эссе рассказом о его новых галереях, персональных выставках. И о захватывающих дух новых работах. Но нет ни триумфов, ни денег — к тому же надо как-то жить и зарабатывать на хлеб насущный, вот он и живет в маленькой квартирке, в тихом уголке Иерусалима, а рядом с ним живут его скульптурные герои — творения художника и природы одновременно.

В. ПЕТРОВСКИЙ



Старик со свечами — «Молитва». Кора дерева.

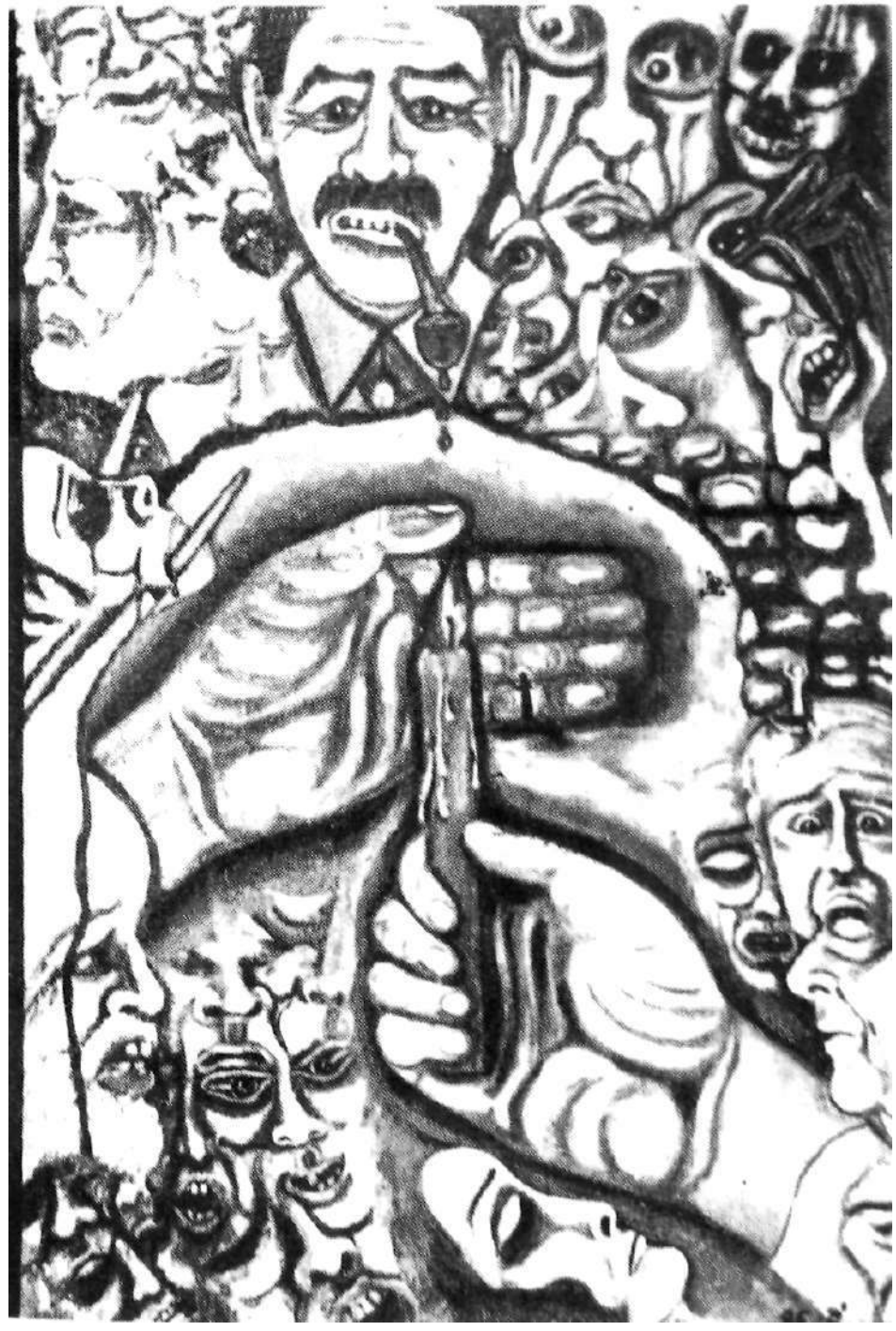
Старик в шляпе — «Балагула». Кора дерева.



Старик с протянутой рукой — «Портрет нищего». Кора дерева.

Женский потрет — «Модная шляпка». Кора дерева.

Автопортрет. Холст. Масло.



«Господи сохрани и помилуй». Холст. Масло.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ДИНА РУБИНА. Публикуется с 16 лет. Ее рассказы и повести появлялись на страницах журналов «Юность», «Огонек», «Новый мир», «Континент», «Обозреватель», «Дар», «Искусство кино», «Нимрод», а также в ряде литературных альманахов. С 1990 года живет в Иерусалиме. Автор пяти книг прозы. Лауреат литературной премии Израиля им. Арье Дульчин. Член международного ПЭН-клуба. Проза Рубиной переведена на английский, немецкий, французский, чешский, болгарский, польский, венгерский, эстонский, иврит.

ИРИНА ГРЭМ. По национальности — наполовину итальянка, наполовину русская. В раннем детстве потеряла отца, и ее русская мать в 20-х годах переселилась из Генуи в Харбин, а затем в Шанхай. Окончив экстерном школу, Ирина Грэм работала в русских газетах и вскоре вышла замуж за американца, инженера-химика, который во время второй мировой войны был заключен в японский концлагерь Чапей, где и она провела 19 месяцев. После смерти мужа переселилась в Америку, где сотрудничала в русских газетах и журналах. По предложению русского композитора Артура Лурье написала либретто для его оперы «Арап Петра Великого», а позже либретто (по-итальянски) для его оперы «Золотой осел». Переменив много служб, устроилась в Толстовский фонд, где возглавила отдел помощи старикам, нуждающимся и больным. В настоящее время работает редактором в издательстве «Руссика». Знает в совершенстве несколько европейских языков, автор многих рассказов, написала книгу, которую сама называет «смесью реальности и фантастики».

НАУМ БАСОВСКИЙ. Родился в 1937 году в Киеве. Окончил Киевский пединститут, работал учителем физики и математики в сельской школе на Украине. В 1962 г. переехал в Москву. Более четверти века работал в области технической акустики, окончил еще одно высшее учебное заведение — Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Автор более 30 научных статей и изобретений. Первая поэтическая публикация относится к 1977 году (журнал «Новый мир»). Печатался также в журналах «Нева», «Юность», «Студенческий меридиан», сборнике «День поэзии». В 1989 г. в Москве вышел сборник стихотворений и поэм «Письмо заказное». В Израиле — с февраля 1992 г. Печатался в журналах «Алеф» и «22». Участник Международного фестиваля поэзии в Иерусалиме (1993).

ЭЛЕОНОРА ИОФФЕ-КЕМППАЙНЕН. Родилась в 1949 году, в Гомеле, детство прошло на Кавказе, в Махачкале. С 1959 г. жила и училась в Ленинграде, в специальной музыкальной школе, по классу виолончели. В 1973 году окончила ленинградскую Консерваторию, работала в симфонических оркестрах в Ленинграде. С 1983 г. живет в Хельсинки, в Финляндии, преподает в муз. училище виолончель. Стихи писала с детства, но публиковать их начала недавно — в Финляндии, в русскоязычном журнале «Вестник», в Петрозаводске и Петербурге («Звезда»), В настоящий момент в Петербургском издательстве «Борей» готовится сборник ее стихов и переводов из финской поэзии.

ИВАН АХМЕТЬЕВ. Родился в Москве в 1950 г. Закончил физфак МГУ. В «системе» практически не работал. Многие годы работал в разных местах, включая работу сторожа. Занимается литературной работой, в последнее время много переводит. Много публикаций в периодике в России, включая журналы «Октябрь», «Арион», «Третий модернизм». Стихи Ахметьева переводили на английский, недавно опубликованы в Нью-Йоркском журнале «Синестетикс». В 1993 г. в Москве вышел сборник «Стихи и только стихи».

ДМИТРИЙ БЫКОВ. Родился в Москве в 1967 г. Обозреватель еженедельника «Собеседник» и журнала «Столица». Лауреат призов Союза журналистов России, Москвы и премии журнала «Огонек». Поэт, автор двух сборников стихов: «Декларация независимости» (1992) и «Послание к юноше» (1994). Член Союза писателей. Печатался в «Литературной газете», «Искусстве кино», «Огоньке», «Экране и сцене», «Синтаксисе». Основная тематика публикаций — проблемы культуры и морали, социальная проблематика.

ИОСИФ КОСИНСКИЙ родился в 1929 г. в Ленинграде, в семье морского офицера. В 1948 году окончил среднюю школу и поступил в университет. В апреле 1951 г. арестован МГБ, приговорен к 10 годам концлагеря. Заключение отбывал на стройке Волго-Балтийского канала в Вологодской обл. и на строительстве нефтекомбината в Башкирии. Освобожден по амнистии в период хрущевской «оттепели» (июль 1955). Эмигрировал в конце 1981; работал редактором в газете «Новое русское слово», перевел с английского ряд книг по заказам издательств «Время и мы», «Либерти», «Славик Госпел Пресс». Опубликовал более 400 статей, преимущественно в «Новом русском слове», а также в еженедельнике «Русская мысль» (Париж), журналах «Континент», «Грани».

ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ. Родился в 1918 году, в Вильне, в еврейской семье. С 1925 года живет в Москве, Учился в ИФЛИ. В октябре 1941 года добровольно ушел стрелком в народное ополчение. Был дважды ранен. В 1946 году исключен из партии за антипартийные заявления, а в 1949 году за то же самое арестован. В 1953 году вышел по «ворошиловской амнистии». Три года работал учителем в станице Шкуринской. После реабилитации вернулся в Москву, работал библиотекарем, писал без расчета на официальную прессу. Первая самиздатовская статья, получившая известность, — «Нравственный облик исторической личности» (1965), первая книга за рубежом — «Неопубликованное» (Мюнхен, «Посев», 1972), первая книга в России — «Открытость бездне. Встречи с Достоевским» (Москва, Совпис, 1990). В 1993 году были напечатаны лекции по вопросам философии истории, а также цикл лекций «Собирание себя». Важнейшая публикация «Из записок гадкого утенка» («Знамя», 1993).

РИЧАРД ХЭЗЛЕТТ. Инженер, философ родился в Кливленде, штат Огайо. Служил сержантом в морских войсках американской армии, затем окончил Оберлин колледж, получил мастерскую степень в области философской теологии и мастерскую степень бостонского университета в области этики и научной философии. Он — инженер-исследователь в компании Хэзлетт Стрип Кастинг корпорейшн (производство машин для непрерывной разливки металла), штат Вермонт. Имеет одиннадцать патентов США и много за рубежом в указанной области.

ВСЕАМЕРИКАНСКИЙ ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Вестник

САМЫЙ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ И АВТОРИТЕТНЫЙ ЖУРНАЛ!
«ВЕСТНИК» ВЫПИСЫВАЮТ В 47 ШТАТАХ США,
В 6 ПРОВИНЦИЯХ КАНАДЫ!
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА «ВЕСТНИК» СЕГОДНЯ!

Постоянные рубрики «Вестника»:

«Актуальный комментарий» А.Сиротина, «Вашингтонский калейдоскоп» С.Левченко, «Обмен политическими мнениями В.Енютина, «Американская политика» А. Лазарева, «Очерки по истории религий» В.Лебедева, "Бизнес с Россией» Р.Кашлинского, «Новости Голливуда» М.Шатерниковой, «Калейдоскоп» Г.Бурганского, «Автомобиль и мы» Л.Светлосанова, «Видеоклуб» А.Канторовича, «О шахматах с улыбкой» В.Каминского, «Советы юриста» М.Котлярского и А.Дранова, «Финансы» А.Зельцера.

В последних номерах «Вестника» вы найдете следующие материалы:

— интервью с Василием Аксеновым, Гарри Каспаровым, Григорием Померанцем, Вячеславом Пьецухом, Александром Яновым,

— рассказы Ю.Бердана, Э.Дрейцера, Л.Железняк, В.ЛеГезы, Н.Циписа,

— главы из книги В.Левина и Д.Мельцера «Черная книга с красными страницами» (Холокост глазами очевидцев),

— С.Вигучин «Дуэльный год Пушкина», Р.Винокур «Финикийцы», В.Гольденберг «Иерусалимские дворяне», Л.Дыхно «Ядерный террор», Б.Езерская «Чеховское трио», Л.Кафанова «Дети за отцов не в ответе?», В.Кламантис «Два на доллар или немного об эмиграции», В.Краснов «Свободный человек, стрелявший в несуществующие цели», К.Кожевникова «Только там я дышал полной грудью», В.Левин «Последняя пристань», М.Лемхин «Американский Чехов Генри Джеглома», В.Люлечник «Предки Ленина на Житомирщине и в Петербурге», А.Малиевский «Пророков нет в Отечестве моем..,», Е.Манин «Из истории обуви», А.Наумов «По следам жизни», К.Сапгир «Окаянное дело», С.Светлова «Утраченные памятники Петербурга», В.Снитковский «Россия глазами советника Ельцина», В.Ярмолинец «Безземельный крестьянин в поисках Рея Брэдбери»,

— стихи Бориса Кушнера, Эмили Дикинсон, Анатолия Наймана,

— кроссворд, гороскоп, шахматы, анекдоты и многое другое.

Стоимость подписки на год (26 выпусков) с США и Канаде — $48, на полгода — $25. В Европе, России, Израиле и Австралии на год — $69, на полгода — $36. С этим объявлением для жителей США на год — $35.95. Для оформления подписки и заказа бесплатных ознакомительных номеров пришлите свой адрес и телефон вместе с оплатой на адрес редакции «Вестника»: **VESTNIK, 6100 Park Heights Ave., Baltimore, MD 21215-3624, tel. (410) 358-0900, fax (410) 358-3867.** Принимаем основные кредитные карты. Подписка начинается через 4-6 недель после получения оплаты.

Лорен АЙЗЛИ

ВЗМАХ КРЫЛА: РАССКАЗЫ И ЭССЕ

Подбор, перевод с английского, предисловие и примечания Д. Н. Брещинского

(Москва: Издательство Московского университета, 1994)

•

Произведения Лорена Айзли (1907-1977), известного американского антрополога, натуралиста, эссеиста и поэта, получили самую высокую оценку разнообразнейших критиков:

• «Казалось бы, поэзия и наука несовместимы - как масло и воду, их невозможно смешать. Однако есть исключительные ученые, которым это вполне удается. Лорен Айзли один из них... Это Пруст, чудесным образом преобразившийся в антрополога-эволюциониста». ***Феодосий Добржанский, американский генетик***

• «Удивительная широта познаний, бесконечная способность удивляться и сострадательный интерес ко всему и вся во Вселенной».
«Филадельфия санди бюллетэн»

• «Вряд ли кто-либо сказал больше о столь необъятном предмете в такой сжатой форме». ***Джосеф Вуд Кратч («Сатердей ревью»)***

• «Он был одним из первых ученых, заявивших во весь голос, что человек должен вновь найти свое место в мироздании. Его слова создали новый тип литературы, основанной на объективных научных данных, и его предостережение помогло положить начало новому общественному движению. Как и пророки всемирных религий 2000 лет назад, он учит наше поколение вновь обрести космическое чутье, которое свойственно только человеку». ***Рэне Дубос («Смитсониян мэгэзин»)***

• «Произведения Лорена Айзли перевернули мою жизнь».
Рэй Брэдбери, американский фантаст

• «Когда мы привыкнем к Лорену Айзли, такому непохожему на все, что читали, то поймем, какое чудо открыл нам Дмитрий Брещинский, и скажем от души: спасибо!»
Юрий Нагибин («Лепта»)

• «Браво!» ***У. Х. Оден, английский поэт***

Сборник «Взмах крыла» можно приобрести через Издательство МГУ (тел.: |095| 939-33-23: факс: 203-66-70, в США - в книжном магазине «Victor Kamkin, Inc.» (тел: [301] 881-5973; факс: 881-1637)

ТАМАРА МАЙСКАЯ

«КОРАБЛЬ ЛЮБВИ»

Второй сборник произведений Тамары Майской. Первый «Погибшая в тылу», киносценарии и пьесы вышел в США в 1984 г. Рассказы и статьи Т. Майской регулярно печатаются в русскоязычной прессе США, а также в переводах на английском языке.

Книга состоит из трех частей.

1. БРАК БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ — рассказы, написанные автором еще в Советском Союзе подпольно.

> ***«Т. Майская изображает советскую жизнь правдиво, без прикрас, с глубоким пониманием того, что видела*** **и выстрадала» (А. Андреев «Новое русское слово»).**
>
> ***«Она приподнимает завесы над многими сторонами советского общества. Автор ставит в своих произведениях общечеловеческие проблемы»*** **(Майкл Эндрюз. д-р наук, проф. русского языка и литературы)**

2. АННУЛИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ — автор на основе личного опыта — преподавателя русского языка для иностранцев в СССР — показывает психологию советского человека, вынужденного вести двойную жизнь: думать одно, а вслух говорить другое.

«Аннулированное действие» — проза, написанная в современной исповедальной форме.

3. КОРАБЛЬ ЛЮБВИ — рассказы, написанные автором в США. Русский читатель-эмигрант найдет в них яркое описание своих переживаний: трудности первых лет жизни в чужой стране, заботы и радости... сбывшиеся и несбывшиеся мечты...

Выходит в издательстве «Время и мы».

Объем книги 321 стр. Цена 12 долларов.
Заказы и чеки посылайте по адресу:

Tamara Mayskaya
11501 Mayfield Rd., No. 306
Cleveland, OH 44106, USA

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД

СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ,

ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО. ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГАВЕКОВА, АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.

КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА. РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ, И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД - ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ - ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.

КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА

Цена книги - 15 долларов.
Заказы и чеки высылать по адресу:

"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel.: (201)592-6155

ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» - 1996

УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЙ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 59 долларов;
с целью экономической поддержки редакции — 69 долларов;
для библиотек — 86 долларов.

Цена в розничной продаже — 19 долларов.

Подписка оплачивается в американских долларах
чеками американских банков и иностранных банков,
имеющих отделения в США,
и высылаются по адресу «Time and We».

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, N J 07605, USA
TEL: (201) 592-6155

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия .....

Имя .....

Адрес .....

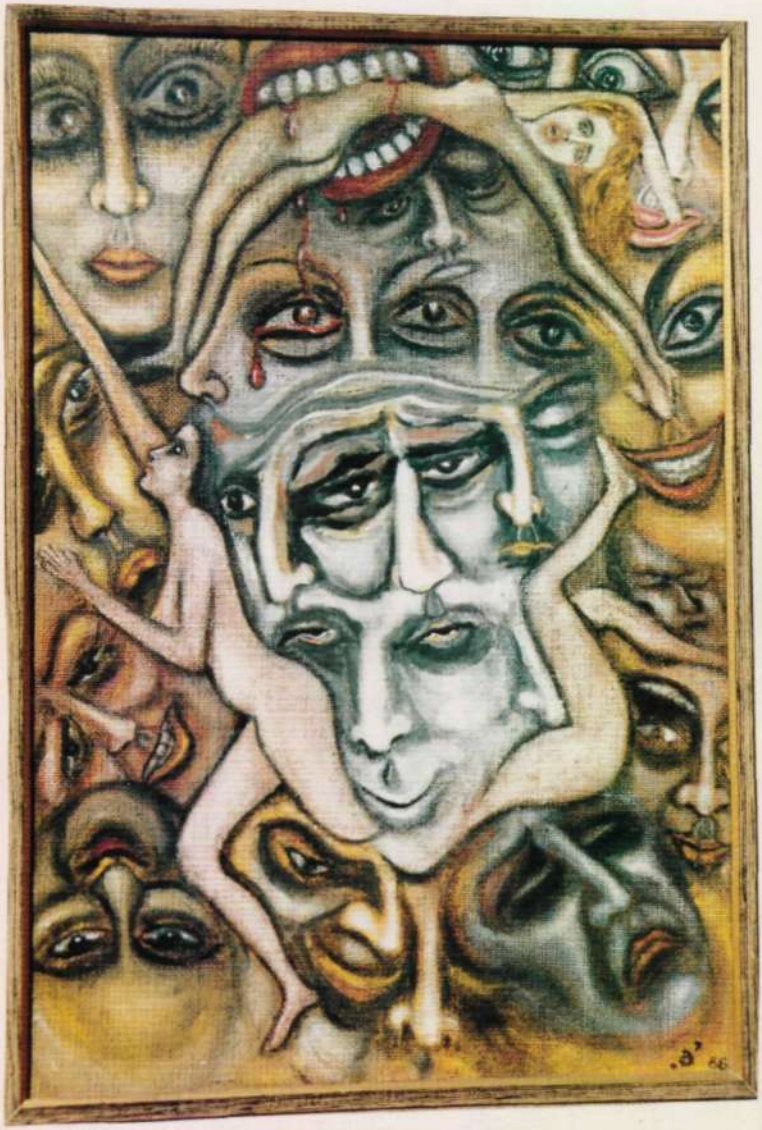
Подписной период

Прошу оформить подписку на журнал «Время и мы» на ..... год. Высылать о номера ..... Журнал высылать обычной (авиа) почтой по адреоу:

Подпись .....

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.
Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

MAIN OFFICE
409 Highwood Avenue, Leonia, NJ 07605, USA
Tel.: (201) 592-6155

OCR и вычитка — Давид Титиевский, октябрь 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

На первой странице обложки коллаж Вагрича Бахчаняна
На четвертой странице обложки Ефим Пищанский: «Суета сует». Холст. Масло.